

Русские источники
современной социальной
философии

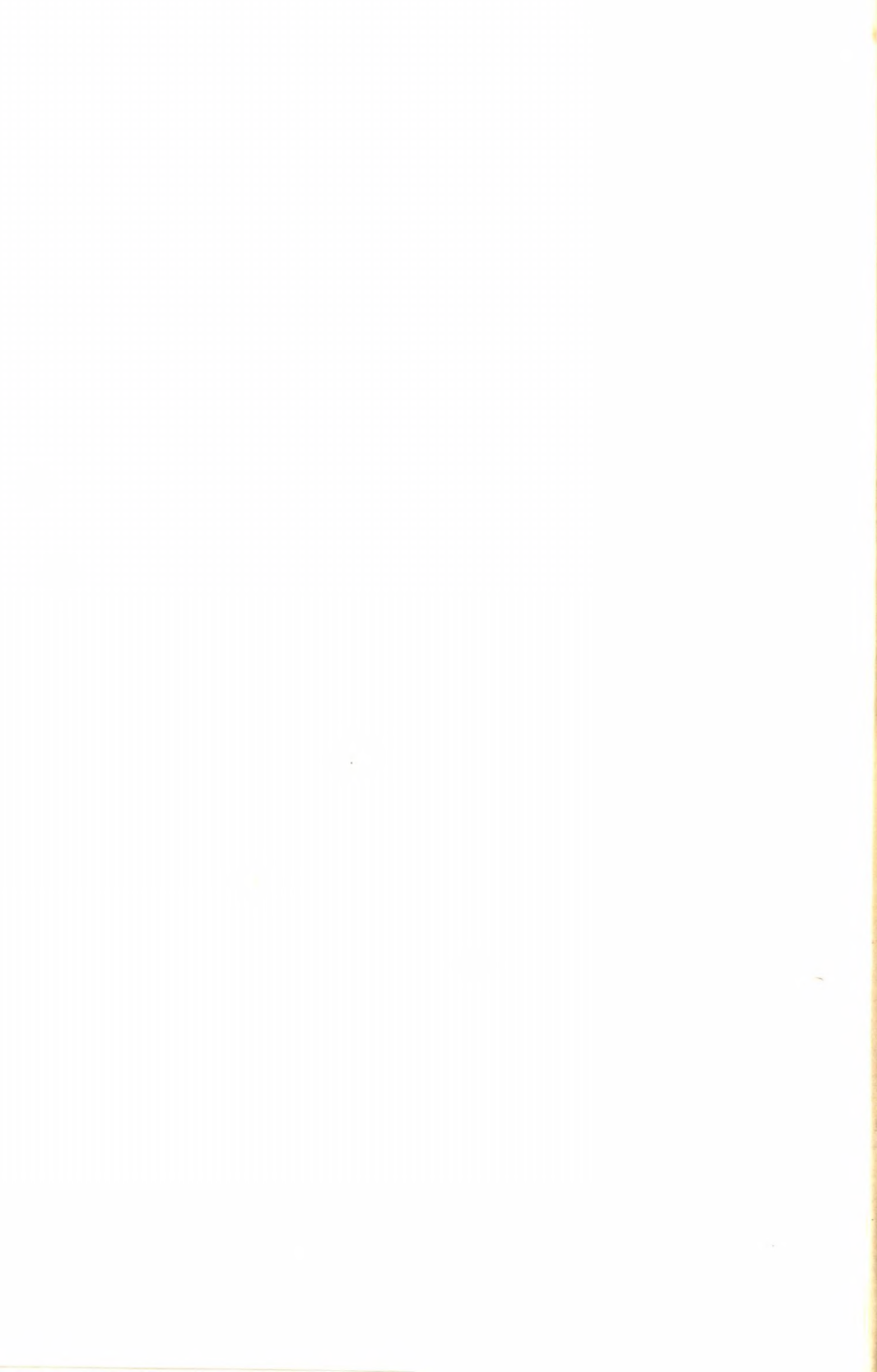


Интеллигенция. Власть. Народ.



НАУКА·





РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

Русские источники
современной социальной
философии

Интеллигенция. Власть. Народ.

АНТОЛОГИЯ



МОСКВА "НАУКА"

1993

ББК 87.3.
И73

*Федеральная целевая программа
книгоиздания России*

Редакторы-составители:

д-ра филос. наук Л.И. НОВИКОВА, И.Н. СИЗЕМСКАЯ

Рецензенты:

д-ра филос. наук А.С. ПАНАРИН, В.Ф. ПУСТАРНАКОВ,
канд. филос. наук Н.С. КОЗЛОВ

Научно-вспомогательная работа:

М.В. ГОРЕЛКИН, мл. науч. сотр. И.Б. РЯБУШКИНА

**И73 Интеллигенция. Власть. Народ: Антология. –М.: Наука,
1993.–336 с.
ISBN 5-02-008165-5**

Антология представляет собой комментированное издание статей русских философов и публицистов, объединенное общей для русской философии темой – "Интеллигенция – Власть – Народ". Сквозная проблема публикуемых работ – исторические судьбы и роль интеллигенции как выразительницы русского самосознания. Большая часть представленных авторов были участниками известного сборника "Вехи" и развернувшейся после его выхода дискуссии о смысле духовного творчества и истоках религиозного сознания, о личностных основаниях человеческой свободы, об отношении интеллигенции к государству и революции.

Для философов-специалистов, всех интересующихся историей философии.

И 0301030000-080
042(02)-93 4–93, I полугодие

ББК 87.3

ISBN 5-02-008165-5

© Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская,
составление, введение 1993
© Российская академия наук, 1993

Введение

(Русские источники современной социальной философии)

*Полнее сознавая прошедшее, мы уско-
ряем современное; глубже опускаясь в смысл
былого - раскрываем смысл будущего; глядя
назад - шагаем вперед...*

А.И.Герцен

Гласность приоткрыла сокровища потаенной русской философской мысли, и мы "вдруг" обнаружили, что рядом с материалистическим направлением русской философии, к которому, согласно официальной версии, относятся А.Н.Радищев, В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, существовало и развивалось не менее мощное и достаточно разветвленное идеалистическое направление, представленное А.С.Хомяковым, В.С.Соловьевым, К.Н.Леонтьевым. При этом само понятие "идеализм" утратило бранный идеологический смысл и обнаруживает богатое оттенками и переходами философское содержание. В этом новом свете и творчество первых предстало не в прямолинейной заданности, а как сложное движение мысли в поисках истины. Мы узнали также, что современниками русских философов-марксистов - Г.В.Плеханова, В.И.Ленина, А.В.Луначарского - были Л.М.Лопатин, Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский, братья Е. и С. Трубецкие, поставившие на идеалистической основе ряд фундаментальных философских проблем, что "ренегаты марксизма", Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, П.Б.Струве, Ф.А.Степун, будучи изгнанными Советской властью из России, сумели сохранить и развить духовный потенциал русской философской мысли и сделать его достоянием общеевропейской культуры.

Короче говоря, сегодня мы оказались перед сознанием необходимости идейной реабилитации забытой и репрессированной русской философской мысли и инкорпорации ее в состав современной отечественной и европейской философии. Это необходимо не только как покаяние и восстановление нравственной справедливости по отношению к нескольким поколениям русских философов, что важно само по себе, но прежде всего в целях восстановления научной полноты и реальных источников современной философской и общественной мысли, питающих ее свободное и потому продуктивное развитие. Это, наконец, необходимо сделать в целях восполнения духовной полноты самого марксистского направления философии, которое возникло и развивалось в диалоге-борьбе со своими оппонентами. Отсекая оппонентов, хуже того, превращая их в жупел для запугивания неопитов, марксизм неизбежно обрекает себя на философскую нищету.

Однако инкорпорация "выпавших" из философского обращения текстов связана с рядом трудностей. Прежде всего естественно воз-

никает вопрос, имеют ли они значение для современного развития философии и обществоведения или сохраняют лишь исторический интерес? Оговоримся, что и при втором допущении они заслуживают реабилитации и восстановления согласно логике истории философии и истории культуры. Но более правдоподобным представляется второе допущение, хотя и требующее тщательной проверки. Одно из противоречий, с которым сталкивается исследователь на этом пути, - укоренившееся скептическое, если не сказать "самоедское", отношение к русской философской традиции: самооговор, обвинение в "невежестве", в "вечном ученичестве", "провинциализме", "эклектизме", "нефилософичности" и пр.

"К русской философии нельзя пока предъявлять слишком больших требований, - читаем у Э.Радлова, - в ней пока еще нет ни своего Декарта, ни Бэкона, ни Канта. Есть лишь благие начинания под влиянием западной философии. Одни из них так и остались в сфере чужого влияния, другие, появившись под чужим влиянием, стремились выразить национальное мирозерцание, соответствующее духовным свойствам русского народа"¹.

Более отчетливо и концептуально эта позиция заявлена в книге Г.Г.Шпета "Очерк развития русской философии". Большое внимание в книге уделяется характеристике специфики русских условий развития философской мысли. Эту специфику автор усматривает в "организованном невежестве" со стороны правительства и церкви, укоренившихся в "невегласии"² образа жизни, подавляющем развитие свободной философской мысли. "*Невегласие* есть та почва, на которой произрастала русская философия. Не природная тупость русского в философии, ...не отсутствие живых творческих сил, как свидетельствует вся русская литература, не недостаток чутья, как доказывает все русское искусство, не неспособность к научному аскетизму и самопожертвованию, как раскрывает нам история русской науки, а исключительно невежество не позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию. Неудивительно, что на такой почве произрастала философия бледная, чахлая, хрупкая". Но, заключает Шпет, "удивительно, что она все-таки, несмотря ни на что, росла"³. К оценке же ее содержательной стороны Шпет подходит с позиций "чистой" философии, гносеологии по преимуществу. Признаки неразвитости русской философской мысли он видит в отсутствии или невыраженности интереса к гносеологическим проблемам, в ее привязанности к решению практических (утилитарных) проблем. "История русской философии как мысли, проникнутой духом утилитаризма, есть история донаучной философской мысли - история философии, которая не познала себя как философию свободную, не подчиненную, философию *чистую*, философию-знание, филосо-

¹Радлов Э. Очерк истории русской философии. Пг., 1920. С.9.

²"Невегласие", согласно В.И.Далю, - невежество, безмолвие, бескультурие.

³Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Соч. М., 1989. С.49.

фию как искусство. Это не значит, что в русской философии нет движения идеи. Оно было, но это значит, что восприятие идеи и ее движение в русской мысли не-чисто, до-научно, примитивно, не-софийно, не мастерское", - заключает Шпет⁴.

Негативно-скептическая оценка русской философской традиции не может быть "списана" на счет "белоземлианских козней". Она характерна и для ориентированного на Запад русского марксизма. Приняв за аксиому, что только философия марксизма - диалектический и исторический материализм - может быть определена как научная, и что ее источником являются немецкая классическая философия и французский утопический социализм, русский марксизм утратил серьезный интерес к отечественной философии как таковой. Исключение делалось лишь к идейно близкой марксизму социально-философской мысли революционеров-демократов, которые, по определению В.И.Ленина, "вплотную подошли к диалектическому материализму и остановились перед историческим материализмом"⁵. Все же остальное, отклоняющееся от этой магистральной линии, объявлялось ненаучным и социально чуждым, заслуживающим забвения. С достаточной откровенностью эта установка проявилась в публикуемой статье Л.Троцкого, возлагавшего ответственность за сложившуюся ситуацию на интеллигенцию: "Бедная страна - Россия, бедная история наша, если оглянуться назад. Социальную безличность, рабство духа, не поднявшегося над стадностью, славянофилы хотели увековечить как "кроткость" и смирение, лучшие цветы души славянской. Хозяйственную примитивность страны народники хотели сделать источником социальных чудес. Наконец, перед той же самой общественно-политической убогостью ползают на брюхе новоявленные субъективисты, когда историю превращают в апофеоз интеллигенции"⁶. Эти и подобные оценки русской философской мысли перешли позднее в официальную (энциклопедическую и вузовскую) философию.

Конечно, сегодня они кажутся анахронизмом, и о них можно было бы забыть. Однако отказ от бранных слов в адрес отдельных философов не означает преодоления сложившихся стереотипов мышления. Ведь речь идет не только о восстановлении доброго имени отдельных людей, а о реабилитации достоинства национальной школы философии, связанной общностью социально-культурной почвы, совокупностью вырастающих из нее приоритетных проблем, культурных традиций, обладающих имманентной логикой развития и стилем мышления. В этой связи уместно вспомнить полные глубокого смысла соображения С.Н.Трубецкого: "Философию следует изучать исторически, в связи с общей культурой; каждое отдельное учение должно быть понято в своем отноше-

⁴Там же.51.

⁵Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.21. С.256.

⁶Троцкий Л. Об интеллигенции//Литература и революция. 2-е изд., доп. М., 1924. С.285.

нии к другим учениям, ему современным, предшествующим и последующим, к умственным и нравственным течениям века, к общему мирозерцанию эпохи. Но за таким историческим изучением стоит вполне законный философский интерес, без которого само историческое знание было бы существенно не полным и не осмысленным, не объясняя нам самых глубоких разумных оснований отдельных учений и развертывая перед нами лишь пеструю вереницу разнообразных противоречивых и причудливых построений. Понять смысл их различий, оправдать философию в самих этих различиях - такова задача научного и философского изучения истории человеческой мысли"⁷.

К сожалению специальным предметом историко-философского знания русская философская мысль стала сравнительно поздно. И здесь ее, как отмечалось, преследовал комплекс неполноценности.

Итак, главные обвинения в адрес русской философии - это, во-первых, ее "утилитаризм", привязанность к решению утилитарных - социально-политических, культурно-просветительских, религиозно-этических проблем. И во-вторых, приоритет онтологических и социальных проблем перед гносеологией. Ссылки на оба "недостатка" имеют основание. Но возникает вопрос: правомерно ли видеть в этом примитивность русской философии? Не логичнее ли предположить, что перед русской философской мыслью, развивавшейся в иных условиях, вставали как приоритетные и иные, но не менее значимые проблемы, что она вышла на иной уровень исследования софийности, которому соответствует и иная логика познания? И вообще, является ли европейский путь развития философии единственным из возможных, и не обрекает ли подстраивание под него русскую философскую мысль на неизбежное эпитонство?

В обсуждении этих вопросов имеется и другая, подтверждающая оптимистическое предположение точка зрения, принадлежащая видному философу русского зарубежья В.В.Зеньковскому, обоснованная в фундаментальном исследовании "История русской философии". Обозначим общую концептуальную установку исследователя. Прежде всего - это решительное несогласие с утвердившимся под влиянием западной, в основном немецкой, философии мнением, сводящим философию к теории познания и соответственно оценивающим различные философские направления по мере представленности и разработанности в них гносеологии. Если строго придерживаться этого критерия, то из европейской философии выпадут Беме, Руссо, Кьеркегор, Ницше, а из русской философии не только Толстой и Достоевский, но и Чернышевский, и Федоров, и Розанов. Конечно, замечает Зеньковский, никто не станет отрицать первостепенного значения теории познания для самосознания и построения философской системы. Но *"у философии не один, а несколько корней"*, и все ее своеобразие именно этим и определяется.

⁷Трубецкой С. Чему учит история философии//Проблемы идеализма. М., 1902. С.232-233.

Философия есть там, где есть искание единства духовной жизни на путях ее рационализации. Разные формы опыта (и не только чувственного - внешнего психического, социального, но и нечувственного - морального, эстетического, религиозного) ставят перед нашей мыслью проблемы и требуют их разрешения на путях разума. Решения эти могут уже наличествовать в плане интуитивных прозрений, но философия, хотя и питается интуициями и движется ими, есть там и только там, где к раскрытию интуиции привлекаются силы разума"⁸.

Конечно, в трудах представителей русского зарубежья можно усмотреть и тенденциозность, и конкретные недостатки, и отдельные ошибочные суждения. Но их несомненное достоинство в том, что история русской философской и общественной мысли представлена в них в контексте духовной культуры России как имманентный процесс, что в них обозначены жизненные истоки ряда сквозных проблем, сохраняющих свою актуальность по сию пору. И главное, они позволяют восстановить преемство русской философской традиции, прерванное семидесятилетним господством официальной философской доктрины. Без восстановления философской традиции невозможно творческое развитие современной социальной философии, невозможно духовное возрождение нашего общества.

Нужно ли удивляться, что под напором гласности, способствовавшей реанимации исторической и философской памяти, официальный марксизм оказался неспособным осмыслить и оценить адекватно новую реальность и себя в этой реальности. Поэтому естественно, что в условиях вакуума новых идей начавшееся возвращение забытых имен и текстов имело громадный резонанс. Однако увлечение "реабилитированными текстами", граничащее с их сакрализацией, таит опасность скорого разочарования. Дело в том, что вновь открытая философская мысль берется фрагментарно, в полном пренебрежении к внутренней логике развития и его условиям. От нее ждут ответа на "наши" вопросы, забывая, что ответить на них можем и должны лишь мы сами, и никто другой - ни наши предшественники, ни наши зарубежные современники.

Но ответить на них можно, только опираясь на глубинную философскую традицию. Ведь большинство из социально-философских проблем, "вдруг" вставших перед нами, возникло не сегодня. С ними столкнулись наши предшественники. И их ответы, истинные или ложные, так или иначе отложились в составе самих проблем, придав им новую конфигурацию. Так что прийти к их решению невозможно, не пройдя основные ступени всего пути.

В обобщенной форме своеобразие и достоинство русской философии стремится раскрыть С.Л.Франк в емкой статье "Сущность и ведущие мотивы русской философии". Конечно, замечает он, явно полемизируя со Шпетом, и в России существовала и суще-

⁸Зеньковский В.В. История русской философии//Соч.: В 2 т. Париж, 1948-1950. Т.1. С.5.

ствуется философия как университетская систематизированная дисциплина в формах, аналогичных западным. При желании можно написать ее историю. Но "в этом случае русская философия предстанет в одном ряду с философией Голландии, Испании или Швеции, короче, других неклассических стран в данной области духовного творчества"⁹. При таком подходе она действительно соответствует весьма сдержанным оценкам ее сторонниками системно-гносеологического подхода и не представляет большого интереса. Только в последнем десятилетии XIX в. появляется серьезное самостоятельное исследование Л.Лопатина "Положительные задачи философии", отвечающее самым взыскательным критериям данного направления. Однако не оно определяет своеобразие русской философской мысли, замечает философ.

В отличие от классической западной философии, сложившейся на базе критики схоластического наследия, реинтерпретации античных текстов и университетских курсов и уже в силу этих причин (хотя и не только этих) обретшей дискурсивно-системный характер, русская философская мысль формировалась в кружках и полупериферических обществах на базе "толстых" общественно-политических журналов "по поводу" актуальных событий русской и общеевропейской социально-культурной жизни. Поэтому многие из ее сугубо мировоззренческих идей высказывались в форме интуитивных прозрений в художественных произведениях (Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тютчев, Толстой, Достоевский), в журнальной публицистике (статьи Белинского в "Современнике", Киреевского в "Европейце", К.Аксакова в "Московитянин", Герцена в "Полярной звезде" и "Колоколе", Михайловского в "Русском богатстве", Бердяева в "Пути")¹⁰, в переписке, имеющей заведомо публичный характер (письма "С того берега", "Концы и начала", "К старому товарищу" Герцена, "Исторические письма" Лаврова, "Письма с Востока" Леонтьева). В результате разработка идей принимала форму диалога, рассчитанного на живое участие и понимание публики. Большинство из этих рассеянных "в миру" идей были собраны и обобщены позднее - друзьями и духовными душеприказчиками авторов. Лишь очень немногие из них сумели сами обобщить и систематизировать свои философские изыскания. Начало этому положил Вл.Соловьев. Однако и творчество последнего не может быть понято вне учета огромного наследия, разбросанного в журнальных, газетных статьях, написанных "по поводу" публичных лекций, или статей, заказанных энциклопедическими словарями, наконец, философской поэзии мыслителя.

Русская философская мысль имеет цельный характер не только в силу связывающих ее общих принципов, но и наличия обуслов-

⁹Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Филос. науки. 1990. №5. С.83.

¹⁰Эта традиция перекочевала и в зарубежье. И здесь на чужбине русская философская мысль группируется вокруг определенных журналов: "Путь", "Звенья", "Новый град", "Новый журнал" и также "грешит" публицистичностью.

ленных ими общих проблем. К числу таких устойчивых сквозных проблем может быть отнесена и выделенная нами проблема - "Интеллигенция - Власть - Народ", фиксирующая идею субъекта истории, взятого в трех его ипостасях.

Родословная русской интеллигенции, по общему признанию, восходит к эпохе Петра Великого, заложившего своими радикальными реформами программу модернизации России по европейским образцам, востребовавшую для ее реализации нового "образованного класса"¹¹ людей, который и стал первым отрядом русской служилой интеллигенции. Ее задачи мыслились Петром как сугубо утилитарные - военно-технические и управленческие. Для решения этих задач и воспроизводства "образованного класса" потребовалась секуляризация просвещения, самой духовности, если угодно, ее утилизация. Этот процесс изначально носил противоречивый, двойственный характер. С одной стороны, секуляризация просвещения способствовала приобщению русской служилой интеллигенции к европейской образованности. С другой, вследствие форсированно-волевого решения этой задачи, произошел ее отрыв от традиционной народной культуры. Обозначился раскол на две культуры: государственно-универсалистскую и православно-народную.

По меткому замечанию Федотова, Петр I оставил после себя три линии преемников: проходимцев и беспринципных авантюристов, типа Меншикова и Орловых, на целые десятилетия заполнивших авансцену русской жизни, государственных мужей, строителей империи, типа Ордин-Нащекина, Татищева, Суворова, Сперанского, и просветителей-западников от Ломоносова до Пушкина. К этому следует добавить четвертый тип интеллигенции - диссидентов и тираноборцев, берущих начало от Новикова и Радищева и прокладывающих дорогу декабристам и Герцену. На пересечении этих линий и формировалась русская интеллигенция, ставшая "единственным и неповторимым явлением истории"¹².

Философская рефлексия на тему "Интеллигенция - Власть - Народ" относится к 50-м годам XIX в. Потребность в обращении к этой проблеме созрела в атмосфере затяжной реакции в связи с разгромом декабризма, на почве либерализации дворянства и отхода его от государственной (государевой) службы, когда наиболее свободомыслящие и социально активные молодые люди дворянского сословия, готовые служить Отечеству, но не желающие "прислуживаться", оказались "лишними людьми". Этому способ-

¹¹Согласно закрепившейся версии, термин "интеллигенция" ввел в русский литературный язык в 1886 г. П.Д.Боборыкин, придав ему позитивно-ценностный смысл. С этим смыслом термин вошел в европейские языки. См.: *Боборыкин П.Д. Русская интеллигенция//Русская мысль. 1904. №12.* Термин "образованный класс" используется как более нейтральный, подлежащий последующему определению.

¹²См.: *Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции//О России и русской философской культуре. М., 1990. С.404.*

ствовала вольная публицистика, сумевшая пробудить общественное мнение и сознание вины дворянского сословия перед народом, ценной закрепощения и угнетения которого обеспечивалась его вольность и просвещенность. В этой или иной форме проблема обсуждалась в различных философских кружках и полулегальных обществах, в которых молодые люди дворянского сословия пополняли свое образование в штудиях европейской и социальной мысли и в жарких спорах о судьбах России. Так появился новый тип русской интеллигенции - "кающиеся дворяне".

Как самостоятельная социально-философская проблема, специфичная для России, она была поставлена Герценом и получила концептуальную проработку у Лаврова. Дополнительным стимулом тому послужило острое восприятие и критическое осмысление кризиса европейского просвещения, вырождавшегося после поражения революции 1848 г. в мещанство, что ставило европейский путь развития цивилизации под сомнение. В этих условиях со всей остротой встал вопрос о назначении русского "образованного класса", о его призвании в связи с судьбами народа и перспективами развития России.

Дальнейшее развитие этой проблемы осуществлялось уже на почве народнического движения, в которое наряду с "кающимися дворянами" влился большой отряд "критически мыслящих личностей" из разночинцев. Они трансформировали идею служения народу в задачу борьбы за его политическую свободу против тирании власти. Стратегия и тактика этой борьбы наложили печать "кружковщины" не только на ее организационные формы, но и на саму идеологию "героев и толпы", теоретическое обоснование которой народники находили в сочинениях Н.К.Михайловского. С этого времени проблема "Интеллигенция - Власть - Народ" становится едва ли не центральной в социально-философской мысли России. В ее проработке намечаются различные подходы, различные даже в определении исходного понятия "интеллигенция", обозначаются исторические этапы (ступени) ее развития, меняются оценки и самооценки ее роли в исторических судьбах России.

Проблема "Интеллигенция - Власть - Народ" волновала не только революционно-демократическую интеллигенцию, но и представителей ее консервативного крыла, позиция которого нашла отражение в статье К.Н.Леонтьева "Как надо понимать сближение с народом?". Развивая славянофильскую традицию, он выдвигает идею о сближении европеизированной и потому утратившей почву интеллигенции с сохранившим свою преданность православию и связанным с ним обычаями народом путем подражания ему при сохранении сословных перегородок. Однако, несмотря на заверения представителей этого направления в своей "народности" и "почвенности", они так же, как и "кружковая", т.е. революционно-демократическая, интеллигенция, страдали "отщепенством", что подтверждается и призывом Леонтьева к "подражанию народу".

Позднее вокруг данной проблемы сложилась своя философско-

историческая литература. Первую попытку представить проблему в историческом аспекте предпринял принадлежащий к старшему поколению народничества Иванов-Разумник в двухтомном труде "История русской общественной мысли"¹³. Согласно декларации, сделанной автором во введении, история общественной мысли рассматривается им как история интеллигенции. Под этим углом зрения в книге развернута духовная драма идей, начиная от поединка А.Н.Радищева с "просвещенной Фелицей" до внутренней драмы Д.С.Мережковского, распознавшего в социальном зле торжество мещанства - хамство. После Иванова-Разумника любое обращение к данной проблеме, как правило, включает ретроспекцию. К ней обращаются Бердяев, Милуков, Шпет, Федотов, Солженицын¹⁴. Своеобразной философской рефлексией, "сведением счетов со своим прошлым опытом" стал для его авторов сборник "Вехи"¹⁵.

Книга Иванова-Разумника открывается предисловием, в котором интеллигенция определяется как внеклассовая, внесловная, преемственная группа, характеризующаяся творчеством новых идеалов и форм и их претворением в жизнь, т.е. в современной терминологии как субъект духовного производства и инновационного социального действия. Общим идеалом, связывающим эту группу, является самоосуществление личности (или индивидуализм, в терминологии автора) как высшей цели и абсолютной ценности общественного прогресса. Но достижение этой цели осуществимо лишь через борьбу с мещанством. Отталкиваясь от герценовской оценки мещанства, Иванов-Разумник определяет его как ноуменально-этическую категорию, характеризующую все классы, все слои общества - их инерционно-консервативный момент. Мещанство есть синоним застоя, самодовольства, пошлости. Воплощением и оплотом мещанства является государство. В нем сосредоточена власть над людьми, бесчеловечность, жестокость, лицемерие, холопство, направленные против народа. Когда мещанство овладевает массами, общество гибнет, поэтому борьба против мещанства неизбежно становится борьбой против государства, а борьба критически мыслящих личностей за индивидуализм осуществима через борьбу за освобождение народа. Так идея индивидуализма переходит в идею русского социализма и анархизма.

Книга Иванова-Разумника вызвала резкую критику со стороны марксистов. Ее начал Г.В.Плеханов, обвинивший автора в игнорировании классового подхода, что предопределило "совершенно ничтожное", по мнению критика, значение его труда. Заодно Плеханов

¹³См.: *Иванов-Разумник. История русской общественной мысли* // Соч.: В 2 т. СПб., 1906.

¹⁴*Милуков П.И. Интеллигенция и историческая традиция* // *Интеллигенция в России*. М., 1910; *Шпет Г.Г. Очерки развития русской философии*. Пг., 1922; *Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции* // *Версты*. Париж, 1926. №2. *Бердяев Н.А. Русская идея*. Париж, 1946; *Солженицын А.И. Образованщина* // *Публицистика: статьи и речи*. Париж, 1981.

¹⁵*Вехи*: Сб. статей о русской интеллигенции. М., 1909.

осудил и всех "интеллигентов", "которые, оставаясь внеклассовой и внесословной группой, не умеют или не имеют возможности слиться с передовым классом своего времени, не умеют стать его идеологами и опереться в своей работе для лучшего будущего на железный рычаг классовой борьбы"¹⁶.

Книгу Иванова-Разумника критиковали за схематизм, за отсутствие философской глубины, за односторонность в анализе общественных идей отдельных мыслителей - она дает для этого основание. Но при всех субъективных издержках книги необходимо отметить ее достоинства.

Она была написана в период острого идеологического кризиса народничества, симптомы которого назревали уже в конце 80-х годов. Народничество как идеология изживало себя. Ему на смену шел марксизм, который, ориентируясь на капиталистический путь развития России, решительно порвал с традициями и идеалами народничества, уповавшими на крестьянскую общину, на особый путь развития России, на аскетический героизм интеллигенции, способной повести ее по этому пути. Но эти идеалы не утратили своего обаяния, особенно среди либеральной и земской интеллигенции. "Историей общественной мысли России" Иванова-Разумника был подведен итог опыта самосознания русской интеллигенции целого исторического периода, охватывающего революционно-демократический и народнический этапы ее развития. Без осмысления этого опыта невозможно понять смену идейной ориентации русской интеллигенции на рубеже XIX-XX вв., ее размежевание, обозначившееся в противостоянии марксизма, сгруппировавшееся вокруг "Искры" и "Зари", и либерализма, заявившего о смене идейной ориентации в сборнике "Вехи". В этом несомненное историческое значение книги. Плеханов, видевший в народнической интеллигенции своего идейного противника, не смог оценить этого. Но есть и другое, придающее книге Иванова-Разумника непреходящую ценность. Это именно то, против чего выступал Плеханов: отстаивание, с опорой на огромный фактический материал, идеи транссоциальной и трансисторической сущности интеллигенции, ее духовной миссии и преэминентности, хотя эта идея и была "хорошо упакована" в народнические одежды.

Полемика марксистов против народников завершилась, как известно, падением народнической идеологии. В ходе этой борьбы понес урон и марксизм. От него отошла группа интеллигенции, объединившаяся на позициях философского идеализма. Началом этого поворота стала консолидация либеральной интеллигенции, или "неоидеалистов", вокруг сборника "Проблемы идеализма". Соглашаясь с народниками относительно универсальной исторической миссии интеллигенции, неоидеалисты настаивали на необходимости ее освобождения от полуутилитарных программ и обяза-

¹⁶Плеханов Г.В. Идеология мещанства нашего времени // Избр. философ. произв.: В 5 т. М., 1958. Т.5. С.535.

тельств, ограничивающих свободу духа и приземляющих ценности. Только нравственная и духовная свобода интеллигенции позволит ей выполнить свою миссию. Раскрывая замысел сборника, П.И.Новгородцев в предисловии писал: "Современный поворот к философии не есть плод одной теоретической любознательности: не одни отвлеченные интересы мысли, а прежде всего сложные вопросы жизни, глубокие потребности нравственного сознания выдвигают проблему о должном, о нравственном идеале... Мы ищем абсолютных заповедей и принципов - в этом именно и состоит сущность нравственных исканий"¹⁷. Отсюда же и обращение неоидеалистов к религии.

Начавшееся движение новой интеллигенции, философской рефлексией которого стал сборник "Проблемы идеализма", имело широкий размах. Оно вошло в историю русской культуры под знаком ренессанса. Н.А.Бердяев, один из инициаторов этого движения, так характеризовал его: "Наш ренессанс имел несколько истоков и относился к разным сторонам культуры. Но по всем линиям нужно было преодолеть материализм, позитивизм, утилитаризм, от которых не могла освободиться левонастроенная (имеется в виду народническая, - Авт.) интеллигенция. Это было вместе с тем возвратом к творческим вершинам духовной культуры XIX в. Но беда была в том, - сетует Бердяев, - что люди ренессанса в пылу борьбы, из естественной реакции против устаревшего мирозерцания, часто недостаточно оценивали ту социальную правду, которая была в левой интеллигенции и которая оставалась в силе"¹⁸.

Следует отметить, что публикация самого сборника прошла малозаметно. Это объясняется рядом причин. Прежде всего сборник был направлен в первую очередь против идеологии народничества, которая, как мы отмечали, была уже на излете, и критика ее вызвала не столько интерес, сколько ностальгию. Это сознавали и неоидеалисты, стараясь сохранить мосты. Так, П.Б.Струве видит основную ошибку Михайловского в том, что он метафизические проблемы выражал в понятиях положительной науки и надеялся их разрешить такими средствами. "В лице философствующего г.Михайловского оказались два существа, не познавшие себя и не размежевавшиеся между собой, а потому друг другу только мешавшие. Положительная наука у него извращалась бессознательно метафизикой, а метафизическую мысль тяготило, связывало и обеспложивало ее подчинение положительной науке". Как бы то ни было, заключает Струве, "г.Михайловский займет в истории русской философской мысли место рядом с П.Л.Лавровым, как блестящий выразитель первой смутной, почти бессознательной реакции неустрашимой "метафизической потребности" против позитивизма и притом - реакции, вышедшей из недр самого же позити-

¹⁷Проблемы идеализма. М., 1902. С.18.

¹⁸Бердяев Н.А. Русская идея//О России и русской философской культуре. М., 1990. С.238-239.

Сложнее складывались отношения новых идеалистов с марксистами. Многие из участников сборника еще вчера исповедовали его. Поэтому в книге они вынуждены были оправдывать свое "отступничество". Так, "вчерашний марксист" С.Н.Булгаков, отмечая огромное эмоциональное влияние учения Маркса и Энгельса, причины его видит в религиозности, но религиозности не подлинной, а мнимой, основанной на теодицее науки. Развитие рабочего движения неизбежно ведет к десакрализации учения и угрожает понизить его "до полной духовной буржуазности, лишить его души, несмотря на все практические победы... Нельзя возродить раз подорванную веру. Но можно и должно создать новую веру, найти новый источник нравственного энтузиазма. И этот источник следует видеть в возвышающей философии идеализма, вечном слиянии абсолюта, религиозном проникновении его велениями"²⁰. Однако религиозные искания, к которым обратились многие авторы статей, не выходили за пределы модного богоискательства. Напомним, что им были увлечены и многие марксисты, не порвавшие с учением. Наконец, следует отметить, что книга носила в целом академический характер²¹, поэтому ее выход в свет остался внутриакадемическим событием. Однако он способствовал не только размежеванию, но и консолидации сил либеральной интеллигенции. Их окончательная поляризация произошла с выходом сборника "Вехи", который в отличие от "Проблем идеализма" имел открыто публицистический характер. "Вехи" претендовали на смену народнической и, шире, леворадикальной идеологической парадигмы на неоиdealизм. И хотя общественный резонанс, вызванный "Вехами", был громадным, этого не произошло. Естественно возникает вопрос: почему?

"Вехи" вышли в 1909 г. О чем этот сборник? Ответить на этот вопрос, кажется, нетрудно: о русской интеллигенции, как предупреждает его подзаголовок, а точнее - об отношении русской интеллигенции к власти, к народу и о ее роли в революции. Но только ли об этом? Вспомним авторов "Вех" - Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, П.Б.Кистяковский, А.С.Изгоев, М.О.Гершензон. Большая часть из них, а если быть точным, первые пять, по призванию философы, люди, снискавшие себе признание именно в качестве таковых и остававшиеся таковыми при обсуждении любых вопросов - экономических, юридических, религиозных, политических. И дело не в философской культуре этих людей, не в их широкой эрудиции, оригинальности и самобытности мышления (хотя, конечно, и в этом), а дело в их способности к философскому осознанию действительности, в способности находить мировоззренческое содержание в любом из обсуждаемых вопросов. Уже поэтому проблема

¹⁹П.Г. К характеристике нашего философского развития // Проблемы идеализма. С.82.

²⁰Булгаков С.Н. Основные проблемы теории прогресса // Там же. С.46.

²¹Сборник "Проблемы идеализма" вышел под грифом Московского психологического общества с репрезентацией его председателя Л.Лопатина.

интеллигенции не могла не предстать философской, а ее рассмотрение вышло за рамки непосредственной задачи критики интеллигентского мирозерцания и умонастроения. Сама критика мыслилась в контексте выяснения отношения интеллигенции к философии, которое традиционно занимало свое место среди основных черт интеллигентского сознания.

Русской интеллигенции была свойственна философская направленность мысли, связанная с потребностью в философском обосновании своих социальных устремлений и настроений. Русская интеллигенция, отмечал Н.А.Бердяев, всегда "умудрялась даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер... Черта эта отразилась в нашей публицистике, которая учила смыслу жизни и была не столько конкретной и практической, сколько отвлеченной и философской даже в рассмотрении проблем экономических"²². Вот почему начатый в "Вехах" разговор об интеллигенции выходил за рамки политического спора (об отношении к революции). Спустя три года после выхода "Вех" П.Б.Струве, еще раз разъясняя концептуальные позиции авторов, подчеркивал, что основное в "Вехах" основное и шире всякой политики". Заметим, что это сказано человеком, отнюдь не далеким от политики. В определенной мере это можно сказать и обо всех авторах "Вех", большинство из которых были активными членами кадетской партии. Однако партийная принадлежность авторов никак не демонстрировалась ими в статьях²³. То, что общественное мнение восприняло прежде всего политическую сторону дела, было в известной мере трагедией сборника, ибо политический спор был существенной, но "все же производной от более основной... задачи - пересмотра самих духовных основ господствующего мирозерцания"²⁴. Иными словами, разработка и утверждение нового мировоззрения, т.е. духовно-реформаторская, а не политическая, была главной задачей "Вех". Сборник актуализировал извечные философские вопросы - об исторической необходимости и человеческой свободе, о насилии и его роли в общественной жизни, о личности и общественности как условии и границе ее самореализации, о религиозных основах культуры. Само поражение революции 1905 г., ставшее непосредственным поводом спора, предлагалось рассматривать как проблему культурно-философскую. "Вехи" выступили против тех, кто подменил тезис об объективности исторического процесса субъективными пророчествами о скорейшем наступлении социализма и возможности фантастического скачка "из царства необходимости в царство свободы". П.Б.Струве писал: "Суть дела не в том, что рево-

²²См.: Вехи. С.4.

²³Не случайно полемика не поляризовала споривших по партийной принадлежности, и критику в свой адрес они услышали и от кадетов ("Интеллигенция в России". СПб., 1910), и от либералов ("В защиту интеллигенции". М., 1909), и от эсеров "Вехи" как знамение времени М., 1910), и от большевиков ("Из истории новейшей русской литературы". М., 1910).

²⁴См.: Франк С.Л. Биография П.Б.Струве. Нью-Йорк, 1956. С.84.

люцию делали плохо, а в том, что ее вообще *делали*"²⁵.

Отстаивая целесообразность широких социальных реформ, не противоречащих объективному ходу исторического процесса, авторы "Вех", несмотря на мотивационные различия, определившие их расхождение в отношении к революции, сходились в одном - в интерпретации ее как нарушения естественного хода исторического процесса. В этом суть социально-философской концепции сборника, в основе которой лежит понимание культуры как творческой реализации вонне внутренних духовных ценностей, а человеческой свободы как духовного творчества, признание примата духовной жизни человека над социальными формами в том смысле, что "при всей связи между обоими началами исходной точкой всякого развития и совершенствования является всегда новый элемент *личного сознания*, а не мертвая сила учреждений"²⁶.

Все авторы исходят из признания самоценности внутренней жизни личности как творческой силы человеческого бытия, из признания того, что именно она, а не самодовлеющее начало политического порядка является основанием для всякого общественного строительства. Именно этот тезис определил социально-философскую парадигму, в которой движется мысль всех авторов "Вех", он же определил суть упрека, брошенного интеллигенции: культивируя общественность, стремясь к улучшению ее форм, она упустила из виду личность как таковую, момент творчества и созидания, чем был нанесен непоправимый вред культуре как бесконечному процессу "самовоспитания" и объективации человеческого духа, ибо *богатство культуры опирается на богатство личности*.

Критика интеллигенции, таким образом, была "помещена" в определенный философский контекст, в соответствии с которым за понятием интеллигенции еще раз был закреплён определенный категориальный статус и содержание. Во-первых, интеллигенция рассматривалась как элемент социальной структуры, т.е. как определенная общественная группа - внеклассовая и внесловная, что отделяло ее от различных религиозных и политических общественных групп. Во-вторых, она мыслилась в качестве носителя определенного типа сознания, характеризующегося открытой и активной направленностью в защиту интересов народа; образно говоря, интеллигенция представляла как "орган народного сознания". Обе эти характеристики связывались с тем, чем интеллигенция была на протяжении всей своей истории, а именно - частью культуры общества, т.е. "среды, данной историей для работы мысли" (Лавров). Интеллектуальное творчество расценивалось как необходимая, но не-

²⁵Подчеркивая, что смысл его утверждения связан именно с понятием "делание", П.Б.Струве писал, что для него оно выражает неоправданное вмешательство в исторический процесс с целью его ускорения при этом специфическим способом - "революционным взвинчиванием рабочего класса", провоцирующим государство на террор. (См.: *Струве П.Б. - Patriotica: Сб. статей за 1905-1910 гг.* СПб., 1911. С.240-241).

²⁶Франк С.Л. Культура и религия // Русская мысль. 1909. №7. С.147.

достаточная "составляющая" интеллигентского сознания: не только неприятие социального зла, но активное служение народу, прогрессу, высшим критерием которого мыслилось нравственное и духовное развитие личности - вот что составляло его сущностную характеристику. Иными словами, интеллигенция - это не просто (и даже не обязательно) образованная часть общества: в первую очередь это - *критически мыслящая* его часть, противостоящая по направленности своих мыслей и действий мещанству.

Это обстоятельство, объясняет особую восприимчивость русской интеллигенцией идеи социализма как наиболее адекватной устремлениям к справедливости и социальному равенству²⁷. Можно считать, что социалистические идеи в XIX в. составляли одну из ее отличительных черт. Более того, как были склонны считать авторы "Вех", до рецепции социализма в России русская интеллигенция не существовала - был лишь образованный класс, характеризовавшийся разными в нем направлениями.

В начале века интеллигенцию составляла группа людей, напоминавшая, по словам Н.А.Бердяева (и в этой оценке к нему присоединялись многие), "монашеский орден или религиозную секту", пополнявшуюся из разных социальных групп и классов, основной фигурой которой стал революционер, пришедший на смену разночинцу. И неважно, что число интеллигентов на практике следовавших этим путем, было незначительно, важно, что святость революционного знамени признавали все. Лавров и Михайловский были "вытеснены" Плехановым, а чуть позже Богданов и Луначарский стали "интеллигентскими философами". Это имело свои последствия: с одной стороны, русская интеллигенция приобрела "европейское одеяние" - поклонение крестьянству было заменено поклонением пролетариату, хотя из-под нового одеяния выглядывал порой старый народнический наряд; с другой стороны, марксизм приобрел черты русской "интеллигентской кружковщины". Сводя счеты с идеологией народничества, русский марксизм, воспринял от него, как писал в полемической статье А.Н.Потресов, организационные формы деятельности, с присущими ей отщепенством и кружковщиной, что с необходимостью повлекло идейную изоляцию²⁸. Социал-демократизм, за который ратовал Потресов, был вытеснен большевизмом. Итоги этого процесса станут очевидны гораздо позже. Их "с того берега" подведут Ф.А.Степун и А.И.Солженицын²⁹.

Принятие идеологии "кружковщины" придало миросозерцанию и действиям интеллигенции четко выраженный политический ха-

²⁷Хотя, конечно, были и другие причины, объясняющие "тяготение" русской интеллигенции к социализму, связанные с особенностями как хозяйственной истории России, так и ее национальной культуры.

²⁸См.: Потресов (Старовер) А.Н. Этюды о русской интеллигенции. СПб., 1906.

²⁹См.: Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции//Мосты. 1959. №3; Солженицын А.И. Образованщина//Публицистика: статьи и речи. Париж, 1981.

рактёр. Против такой интеллигенции и были направлены "Вехи". И хотя, как справедливо отмечали их оппоненты, среди авторов сборника не было единства в определении "границы" исходного понятия и исторических истоков самого феномена, в целом их критика была направлена именно против "кружковой интеллигенции". (Заметим, кстати, что определение исходного понятия и не входило в их задачу, поскольку цель была иная - дать характеристику интеллигентского *миросозерцания*, каким оно оформилось к началу XX в.)

Обличению подверглась прежде всего склонность "кружковой интеллигенции" оценивать философские учения по критериям политическим и утилитарным, ее неспособность к рассмотрению философских систем по существу, т.е. с точки зрения их безотносительной ценности: обличению подверглась ее духовная скованность и подчинение политическому деспотизму и давлению. И хотя эти черты связаны со "здоровой" потребностью в миросозерцании, которое, соединяя теорию с практикой, смогло бы стать "руководством к революционному действию", фактически они имели своей основой "эгоистическое" стремление получить философскую "санкцию" на свои общественные настроения. "Интеллигенцию не интересует вопрос - истинна или ложна, например, теория знания Маха, - писал Н.А.Бердяев, - ее интересует, послужит ли она благу и интересам пролетариата; ее интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату. Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам"³⁰. Те философские системы, которые не могли быть приспособлены к целям революционной борьбы, просто не включались в орбиту собственного интереса интеллигенции. (Так произошло с Вл.Соловьевым, С.Трубецким, идеи которых, чуждые народничеству и марксизму, просто "не ложились" на канву социалистических учений.) Стержнем всех социально-философских построений стал диктат политического требования социального уравнивания в распределении. *"Любовь к уравнительной справедливости, общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине"*³¹.

Не меньшим нападкам авторы "Вех" подвергли отщепенство русской интеллигенции от народа, от его быта и образа жизни. В последнем состояла трагедия русской интеллигенции, которая, не имея своих "личных интересов", с одной стороны, "растворяла себя в служении общему делу", с другой стороны, никогда не могла при-

³⁰См.: Вехи. С.6.

³¹См.: Вехи. С.8.

близиться к народу настолько, чтобы он посчитал ее "своей": "кружковый" характер не только мировоззрения, но и всей жизнедеятельности, ориентированной на борьбу с "внешними формами жизни", отдалял ее не только от сословий и классов, но и от народа. Ситуация усугублялась безразличием интеллигенции к категории национальности, как выражающей систему духовных ценностей. "Для традиционного интеллигентского сознания существовала ценность добра, справедливости, блага народа, братства народа, но не существовало ценности национальности... национальность представлялась не самоценностью, а чем-то подчиненным другим отвлеченным ценностям и благам"³². Все это вместе порождало своеобразное социальное положение интеллигенции, которое можно назвать между "молотом" и "наковальней", и которое постоянно генерировало внутреннее напряжение, разрешавшееся время от времени в интеллигентском покаянии, в принятии на себя вины за все беды народа, в готовности на жертвы, мученичество и подвижничество. Обратной стороной этой склонности стала искренняя вера, что именно интеллигенция спасет Россию. Вера в возможность стать спасителем русского народа, жившая в интеллигентской душе, была "общим масштабом в суждениях, критерием для жизненных оценок"³³. Пришло время, считали авторы "Вех", изменить этот критерий, когда общепризнанным является только один путь "хорошей жизни" - жить для народа. Необходимо, чтобы каждый сам определял смысл и направление своей жизни и чувствовал себя ответственным за все, что он делает и чего не делает. Следование этому принципу и соединит интеллигенцию с народом, а народ с интеллигенцией.

Достойной критики, по мнению "веховцев", являлась и другая черта интеллигентского сознания - нигилистический морализм, связанный с неприятием универсальных норм и абсолютных ценностей, в основе которого лежит пафос служения земным нуждам народа, идее социальной справедливости. Нигилизм ("жизнь в расколе с окружающей действительностью"), с одной стороны, породил "раскольничью" мораль с ее идейной нетерпимостью и фанатизмом, с другой стороны, подчинял нравственные нормы интересам политики, борьбы, целью которой объявлялось достижение справедливого распределения. Этот нигилистический морализм породил свой тип интеллигента, названный не без сарказма С.Л.Франком "воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия"³⁴. "Нигилистическая религия земного благополучия" вытеснила "правду-истину" "правдой-справедливостью"; от истины потребовали стать "орудием общественного переворота": "да сгинет истина, если от ее гибели народу будет лучше жить, если она стоит на пути заветного клича

³²Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1989. С.49.

³³См.: Вехи. С. 42.

³⁴См.: Вехи. С.204.

"Долой самодержавие"³⁵. Истина раздвоилась на "полезную" и "вредную", философия - на "пролетарскую" и "буржуазную". А "правдоискательство" завершилось построением системы, в соответствии с которой человек стал мыслиться свободным лишь при условии освобождения от политического и экономического гнета - от "внешних форм" рабства; духовное же творчество (основание внутренней свободы) было отодвинуто на "периферию" общественных ценностей.

В философских построениях интеллигенции не осталось места ни для свободы, ни для личности, поскольку и свобода, и личность (ее жизнь) были подчинены целям политических преобразований (революционным действиям), короче говоря - идеям социального радикализма, в рамках которого истина обречена на вечное раздвоение на "правду-истину" и "правду-справедливость". Преодолеть это раздвоение, считали авторы "Вех", возможно только через "смирение" перед истиной, иными словами, через признание ее самоценности. Но это, в свою очередь, требовало освобождения от диктата политики, от диктата классового подхода в духовном творчестве, в какой бы форме оно ни осуществлялось - в форме естественнонаучного познания, философских изысканий, литературного творчества, или поисков социального идеала. Бескорыстное стремление к свободному интеллектуальному творчеству - вот, то, что вернет русской интеллигенции внутреннюю свободу, а ее мирозерцанию научную ценность. То почтение и даже идолопоклонство, с которым русская интеллигенция относилась к позитивному знанию, опять же понимая под наукой особый материалистический догмат, а под научностью - особую веру-догмат, изобличающую самодержавие и ложь буржуазного мира, должны уступить место подлинному научному творчеству ("научному духу"), который сам по себе не прогрессивен и не реакционен, поскольку "заинтересован" лишь в одном - в достижении объективного научного знания, свободного от всяких предвзятостей, сколь бы "прогрессивными" они ни были с точки зрения классовой психологии и интересов революционного дела.

Другой стороной отщепенства (от государства и от народа), считали авторы "Вех", является атеизм русской интеллигенции как особое отношение к религии вообще и к русскому православию в частности. Атеизм - это то, что объединяло все ее группы, чем насквозь была пропитана вся интеллигентская культура. Исторически русский образованный класс развивался как атеистический (правда, не всегда и не для всех атеизм был результатом усиленной работы ума, порой он имел изрядную долю фанатизма и сектантского максимализма). Атеизм, став воинствующим, не принимал ни религии (церкви), ни религиозного сознания в любом из его проявлений (в том числе и в виде академической религиозной философии). Это неприятие религии авторы "Вех" рассматривали

³⁵См.: Вехи. С. 8.

как показатель кризиса интеллигентского сознания, предлагая пересмотреть его философские основы и покаяться. В религии (Бердяев - в "религиозной философии", Булгаков - в "христианском подвижничестве", Франк - в "религиозном гуманизме") виделось спасение интеллигенции, путь к преодолению отщепенства от народа.

Но призыв покаяться не встретил поддержки, хотя успех сборника, ставшего на некоторое время настольной книгой для многих, был необыкновенным. За период меньше года вышло пять изданий "Вех"; за первые полгода после выхода первого издания на сборник отреагировало 70 газет и журналов, всего же за 1909-1910 г. было более 200 откликов³⁶. Более того, авторам пришлось выслушать много нелестных слов в свой адрес. Не сомневаясь в искренности "Семи смиренных", интеллигенция в своей массе не приняла сборник. Призыв к покаянию "повис в воздухе", предостережения потонули в потоке резкой критики, а порой и просто брани. Почему так произошло?

Первая причина, думается, связана с тем, что в развернувшейся полемике акцент был сделан на политической стороне спора, чему, конечно, было свое объяснение: в ситуации, переживаемой страной после поражения революции 1905-1907 гг. политические пристрастия неизбежно задавали тон любой дискуссии, а уж тем более спору вокруг проблемы "Интеллигенция - Власть - Народ"; гуманистические, общечеловеческие оценки с необходимостью вытеснялись классовыми, ибо, как показывает опыт, избежать этого никому еще не удавалось: революционная ситуация рождает революционное, максималистское сознание, преодоление крайностей которого, как бы к тому ни стремились даже его субъекты, возможно лишь с преодолением самой революционной ситуации. В вину авторам сборника вменялся (и не без основания) пересмотр, а по оценке левых оппонентов, просто предательство революционных традиций русской интеллигенции, восходящих к Радищеву. Какое обвинение может быть сильнее этого в период кризиса революционного движения, с судьбой которого интеллигенция всегда связывала свою собственную судьбу? Подобные обвинения очень мешали услышать доводы в защиту сборника (хотя они тоже были) и понять, что хотели сказать его авторы.

Отношение к мировоззренческим вопросам "Вех" радикальной частью интеллигенции было квалифицировано как "веховство", как идеология "контрреволюционного русского буржуазно-помещичьего либерализма" (Ленин). Позже это наложило "вето" на весь круг поднятых в сборнике вопросов, на сам сборник, на полемику вокруг него и на самих авторов: на многие десятилетия имена Бердяева, Булгакова, Кистяковского, Струве, Франка в числе многих других

³⁶Представление о масштабе реакции общественного сознания на сборник дает помещенная в 5-м издании "Вех" библиография, составленная по откликам, имевшим место в журналах, газетах, сборниках.

были забыты в стране, а одновременно, что особенно печально, была забыта и стоявшая за ними философская система, исходившая из признания самоценности человеческой личности и ее внутренней свободы³⁷. Между тем только в контексте этой философской концепции понятна данная авторами критика интеллигенции, сформулированное отношение к революции, сама идея "вех" как необходимых нравственных и философских ориентиров на пути к справедливому обществу, пренебрежение которыми обесценивает и сам этот путь, и его конечную цель. Только в данном контексте понятен тот универсальный характер "Вех" и философский смысл содержащейся в них критики, который вынужден был признать даже Ленин, согласившийся, что сборник представляет собой "целую энциклопедию по вопросам философии, религии, политики, публицистики".

Конечно, "Вехи" и весь спор вокруг них имели политическое содержание. Говоря об отношении к революции, авторы "Вех" не только выражали настроения и идеи своего времени, но и подразумевали *конкретного политического оппонента*, а именно - большевиков³⁸. В "Вехах", по признанию С.Л.Франка, содержалась резкая критика революционно-максималистских стремлений русской радикальной интеллигенции, в вину которой ставилась сектантская нетерпимость. Прежде всего спор шел с большевиками - с их интерпретацией революции, с их пониманием интеллигенции и ее роли в развитии общества. Однако полемика "веховцев" с большевиками - это самостоятельный и большой вопрос, мы не будем останавливаться на нем, поскольку имеем другую задачу³⁹. Отметим,

³⁷Это привело к исключению проблемы интеллигенции из философского рассмотрения и утверждению в качестве единственной *идеологической* парадигмы ее осмысления: "кто не с нами (не с революцией) - тот против нас".

³⁸Об этом со всей определенностью писал в 1921 г. Н.В.Устрялов, делая попытку новой смены вех в оценке революции с учетом политической ситуации в России: "Вехи" изобразили всех русских интеллигентов как большевиков, и русская интеллигенция обиделась на них за это" (Смена вех. Прага, 1921. С.19).

³⁹Считаем, однако, целесообразным дать следующую библиографическую справку по данному вопросу. Большевики, отстаивавшие в споре о революции и интеллигенции наиболее максималистские позиции, в 1911 г. ответили выходом сборника "Из истории новейшей русской литературы", который состоял из 4 статей авторов-большевиков: П.Орловского, В.Фриче, В.Базарова, В.Шулятикова. У В.Фриче, помимо статьи в сборнике, в 1910 г. вышла книга "От Чернышевского к "Вехам" - в защиту разночинцев и Чернышевского. Наиболее бескомпромиссное отношение к "Вехам", расставив политические акценты, выразил В.И.Ленин. Первым его выступлением против сборника был публичный реферат, прочитанный в ноябре 1909 г. в Париже, - "Идеология контрреволюционного либерализма"; с этих же идеологических позиций велась и дальнейшая полемика (статьи "О "Вехах", "Еще одно уничтожение социализма", "Веховцы и национализм", "Наши упразднители", "Еще один поход на демократию"). В.И.Лениным был вынесен окончательный "приговор" "Вехам": энциклопедия либерального ренегатства. О ленинской критике "Вех" см.: Мейлах Б. Ленин и проблемы русской литературы. М., 1947; Карякин Ю. Рецензия на книгу С.Франка "Биография П.Б.Струве" // История СССР. 1957. №3; Карякин Ю., Плимак Е. Веховство // Философская энциклопедия. М., 1960. К критике В.И.Ленина присоеди-

что непримиримость позиций - философских, идейных, политических - подтвердила последующая революционная практика, и она еще раз была констатирована в вышедшем позже сборнике "Из глубины", ставшем продолжением разговора, начатого в 1909 г.⁴⁰ Связь этих двух сборников очевидна, различия обусловлены лишь тем, что в первом проблема интеллигенции рассматривается в свете уроков революции 1905 г. (ее поражения), во втором - в свете революции 1917 г. (ее победы). В "Предисловии издателя" отмечается: "Сборник "Вехи", вышедший в 1909 г., был призывом и предостережением. Это предостережение, несмотря на всю вызванную им, подчас весьма яростную, реакцию и полемику, явилось на самом деле лишь робким предчувствием той моральной и политической катастрофы, которая грозно обозначилась еще в 1905-1907 гг. и разразилась в 1917 году. Историк отметит, что русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению, не сознавая великой опасности, надвигающейся на культуру и государство"⁴¹.

Не вняло оно потому, что была *вторая причина*, объясняющая неприятие сборника основной частью интеллигенции. Выше мы постарались показать, что основания спора были философские, что в "Вехах" была сделана попытка выявить культурно-гуманистический смысл общественно-политического движения России, и с этих именно позиций оценить судьбу русской революции и роль в ней русской интеллигенции: вслед за сборником "Проблемы идеализма" "Вехи" призывали к пересмотру философских основ интеллигентского мировоззрения, по сути дела они завершили этот переход, поставив "последнюю точку": в качестве основания мировоззрения предлагался *идеализм*.

Одновременно этическому релятивизму были противопоставлены поиски абсолютных нравственных принципов, в которых виделись гарантии от всех видов рабства: мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства и перестанем во всем винить внешние силы. Можно сказать, что протест против "безусловного примата общественных форм", идея "первенства личной духовной жизни над внешними формами общежития" легли в основание философской конструкции "Вех" и обозначенного ими перехода к новому мирозерцанию, за которым

нился Л.Б.Каменев (см. сборник автора "Между двумя революциями" (М., 1923), включивший написанные ранее статьи "На действительной службе" и "О "Вехах)". В обсуждении проблемы участвовали Л.Д.Троцкий (позже его статьи вошли в сборник "Литература и революция". М., 1924.) и А.В.Луначарский, статьи которого были объединены в 1923 г. в сборник "Об интеллигенции".

⁴⁰Из глубины. Сборник статей о русской революции. Был подготовлен по инициативе П.Б.Струве и С.Л.Франка во второй половине 1918 г., вышел небольшим тиражом в 1921 г., в продажу не попал; в 1967 г. в Париже вышел вторым изданием со вступительными статьями Н.Полторацкого и Н.Струве. Из 10 авторов сборника пятеро участвовали в "Вехах": Бердяев, Булгаков, Изгоев, Струве, Франк.

⁴¹Из глубины. Париж, 1967. С.25.

уже просматривались не только Герцен и Чернышевский, но и Вл.Соловьев.

Вот эти-то философские идеи интеллигенция в своей массе и не приняла: ее "кружковая часть", ядро которой к тому времени составляли левые радикалы, не приняла в силу того, что исповедовала марксизм; русский образованный класс не принял новой философской парадигмы в силу своей стихийной приверженности к материализму (в первую очередь к атеизму и здравому смыслу); не последнюю роль сыграла и вера в политическую программу марксизма, ориентированную на установление справедливого общества и устранение социального неравенства; университетская научная общественность не прореагировала в должной мере на попытки в защиту ее философских позиций, в силу ее непростого отношения с кружковой интеллигенцией, из которой вышли авторы "Вех". Повторяем, русская интеллигенция в своей широкой массе была *не готова к предлагаемой смене вех* - ни философских, ни нравственных, ни политических. И в этом была главная причина неприятия сборника.

Названные причины, на наш взгляд, помогают понять сегодняшний "бум" вокруг сборника. Конечно же "Вехи" - это история, (история духовных исканий русской интеллигенции), но одновременно это, бесспорно, и *современность*. Сегодня мы снова на той же исторической "развилке", и перед нами стоят те же проблемы: духовное оздоровление общества, утверждение конституционного демократизма, обеспечение прав личности и гарантий ее внутренней свободы, выявление культурно-гуманистического смысла революционных действий масс. Ныне, как и 80 лет назад, интеллигенция начинает осознать, что ее мировоззрение, до этого основывавшееся на марксизме, нуждается в смене философских парадигм. Правда, интеллигенция ныне другая и другой тип сознания характеризует ее ядро. Как и следовало ожидать, "кружковая интеллигенция" с победой пролетарской революции и утверждением марксистской идеологии в качестве господствующей и единственной практически перестала существовать (в ней отпала необходимость), образованный же класс заметно изменился. (Есть большой соблазн согласиться с солженицынским определением его как "образованщины".) И тем не менее нельзя не видеть, что сегодня мы на пороге возрождения духовных и нравственных традиций русской интеллигенции.

Итак, проблема, "Интеллигенция - Власть - Народ", бывшая для русской философии традиционно сквозной и коррелирующей с "извечными философскими вопросами" - о свободе и необходимости, личности и обществе, революции и исторической необходимости, духовном и "бытийном" - остается ключевой и сегодня. Адекватно понять и выявить смысл и внутреннюю "напряженность" этой темы, ее сегодняшнее звучание мы не сможем без учета интеллектуальной традиции, которая связана с историей русской общественной мысли. Восстановление, принятие этой традиции не

только соединяет нас с отторгнутой когда-то самобытной культурой русской интеллигенции, возвращает нам ее духовные и нравственные ценности, но и помогает лучше понять самих себя, сделать тот выбор, перед которым нас поставило время. Нельзя не согласиться с предвидением Ф.А.Степуна: "старая" русская интеллигенция должна воскреснуть, но воскреснуть в новом облике. Не только России, но и всем европейским странам нужна элита людей, бескорыстно пекущаяся о страданиях униженных и оскорбленных, которых еще очень много в мире, строящая свою жизнь на исповедании правды, готовая на лишения и жертвы. Вот черты старой интеллигенции, которые должны вернуться в русскую жизнь"⁴².

Л.И.Новикова,
И.Н.Сиземская

⁴²Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции// Мосты. 1959. №3. С.188.

Концы и начала

Предисловие

Когда, год тому назад, я писал "Концы и начала", я не думал их так круто заключить. Мне хотелось в двух-трех последующих письмах ближе означить "*начала*"; "*концы*" казались мне сами по себе яснее. Сделать этого я не мог. Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга - они принялись за свои комментарии и за свои выводы¹. Трагедия продолжает расти перед нашими глазами и все больше и больше становится из частного столкновения введением в мировую борьбу. Пролог ее окончился, завязка сложилась хорошо; все перепугалось: ни людей, ни партий узнать нельзя... Поневоле приходит в голову образ дантовских единопорцев², в котором члены бойцов не только переплелись друг с другом, но, по какой-то метаморфозе, последовательно превращаются друг в друга.

Все юношеское, восторженное, от молитвы перед распятием - до безрассудной отваги, от женщины, одевшейся в черное, - до тайны, хранимой целым народом, - все давно увядшее в старом мире, от митры и рыцарского меча - до фригийской шапки, явилось еще раз во всем поэтическом блеске своем в восставшей Польше, как будто для того, чтобы украсить молодыми цветами *старцев цивилизации*, медленнодвигающихся на борьбу, которой они боятся...

С другой стороны, *начала* едва пробиваются сквозь дым сожженных сел и городов... Здесь происходит совершенно обратное явление... все отжившее *старого мира* поднялось на защиту петербургской империи и отстаивает ее неправоe стяжание всеми оружиями, оставленными в наследство дикими веками военной расправы и растленным временем дипломатических обманов, от пыток и убийства пленных - до ложных амнистий и поддельных адресов, от татарского изгнания целой части населения - до журнальных статей и филигранной риторики горчаковских пот³.

Сотрясение последнего времени взболтало тихий омут наш. Многое, хранившееся в молчании, под гробовой доской прошлого гнета, вышло наружу и обличило всю порчу организма. Только теперь становится возможным измерить *толщину*, которую растлило петербургское императорство, германизируя нас полтора века. Немецкая лимфа назрела в грубой крови, здоровый организм дал ей свежую силу и, зараженный ею, не утратил ни одного собственного порока... Бесчеловечное, узкое безобразие немецкого рейтера и мелкая, подлая фигура немецкого бюралиста давно срослись у нас с широкими, монгольскими скулами, с звериной безраскаянной жестокостью восточного раба и византийского евнуха. Но мы не привыкли видеть эту сводную личность вне казарм и канцелярий; она не так резко выступала вне службы: малограмотная, она не только

мало писала, но и мало читала; теперь наш минотавр всплыл не в дворцах и застенках, а в обществе, в литературе, в университете...

Мы думали, что наша литература так благородна, что наши профессора как *апостолы*, мы ошиблись в них, и как это больно; нас это возмущает, как всякое зрелище нравственного падения. Нельзя не протестовать против ужасных дел и ужасных слов, нельзя не отойти от беснующихся сил, от бесчеловечной бойни и еще больше бесчеловечных рукоплесканий. Может, нам придется вовсе сложить руки, умереть в своем *a parte** прежде, чем этот чад *образованной* России пройдет... Но зерна, лежащего в земле, эта буря не вырвет и не затронет, а, пожалуй, еще укрепит его. Восходящей силе все помогает - преступления и добродетели; она одна может пройти по крови, не замаравшись, и сказать свирепым бойцам: "Я вас не знаю, - вы мне работали, но ведь вы работали *не для меня*".

Посмотрите на дикого сатрапа в Литве⁴: он душил польский элемент, а синие пятна выйдут у петербургской империи, он гонит с места, отталкивает польское дворянство - а побежит русское.

Дворники, они не знают, кому метут, кому расчищают путь, так, как римская волчица не знала, *кого* она кормит и *что* вскармливает. По их кровавой дороге пройдет тоже если не Ромул, то Рем, обиженный в прошедшем: ему-то и расчищают дорогу и царь и сатрапы.

Но пока он явится - еще много прольется крови, еще случится страшное столкновение двух миров. - Зачем она польется? - Конечно, зачем? Да что же делать, что люди не умеют? События несутся быстро, а мозг вырабатывается медленно. Под влиянием темных влечений, фантастических образов, народы идут как спросонья - рядом неразрешимых антиномий, дерутся между собой и доходят, ничего не уяснив себе, через полторы тысячи лет после страшного разгрома римского мира - до времен Германика и Алариха, переложенных на правы XIX века.

1 августа 1863 г.

Письмо первое

Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве, в тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого знойного лета. Тебя не страшит, что дни уменьшаются, вершины гор белеют и дует иногда струя воздуха, зловеющая и холодная; ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колено, дикого разлива рек, голой земли, выступающей из-под снега, да и вообще нашего упования на будущий урожай, от которого мы отделены бурями и градом, ливнями, засухами и всем тяжелым трудом, которого мы еще не сделали... Что же, с богом, расстанемся, как добрые попутчики, в любви и совете.

* Отдалении (итал.). - Ред.

...Тебе остается небольшая упряжка, ты приехал - вот светлый дом, светлая река, и сад, и досуг, и книги в руки. А я, как старая почтовая кляча, затянувшаяся в гоньбе, - из хомута в хомут, пока грохнусь где-нибудь между двумя станциями.

Будь уверен, что я вполне понимаю и твой страх, смешанный с отвращением перед неустойчивым ненаезженной жизни, и твою привязанность к выработавшимся формам гражданственности, и притом к таким, которые *могут быть* лучше - но которых нет лучше.

Мы вообще, люди европейской, городской цивилизации, можем жить только по-готовому. Городская жизнь нас приучает с малолетства к скрытому, закулисному замирению и уравниванию нестройных сил. Сбиваясь случайно с рельсов, на которые она нас вводит с дня рождения и осторожно двигает, мы теряемся, как кабинетный ученый, привыкший к музеям и гербариям, к зверям в шкафу, теряется, поставленный лицом к лицу со следами геологического переворота или с густым населением средиземной волны.

Мне случилось видеть двух, трех отчаянных ненавистников Европы, возвращавшихся из-за океана. Они поехали туда до того оскорбленные реакцией после 1848, до того озлобленные против всего европейского, что едва останавливались в Нью-Йорке, торопясь в Канзас, в Калифорнию. Года через три, четыре они снова явились в родные кафе и пивные лавочки старой Европы, готовые на все уступки - лишь бы не видеть девственных лесов Америки, ее непочатой почвы, лишь бы не быть tête-à-tête с природой, не встречать ни диких зверей, ни змей с гремушками, ни людей с револьверами. Не надобно думать, впрочем, что их просто испугала опасность, материальная нужда, необходимость работы, - и здесь мрут с голода, не работая, и здесь работают по 16 часов в сутки, а опасность полиции и шпионства на старом континенте превышает опасность зверей и револьверов. Их испугала, утомила пуще всего нечеловеческая природа, отсутствие того благоустроенного порядка, того администрации обеспеченного покоя, того художественного и эпикурейского комфорта, которые обуславливаются долгой жизнью на одном месте, берегутся сильными полицейскими плотинами, покоятся на невежестве масс и защищаются церковью, судом и казармами. За эту чечевичную похлебку, *хорошо сервированную*, мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему и *отрицательно* поддерживаем порядок, в сущности нам противный.

Во Франции мы видели другой пример: беллетристы, жившие в риторике, художники, жившие в искусстве для искусства и для денег, были вне себя от беспокойства, причиненного Февральской революцией. У нас есть знакомый учитель пеня, который от 1848 года переселился из Парижа в Лондон, в отечество горловых болезней, бронхитов, астмов и разговора сквозь зубы, - только чтобы не слышать набата и действительного хора масс.

В теперешней России соединены обе причины, заставлявшие

людей бежать из Парижа и из Арканзаса. В Америке пугала пуще всего *голая* природа, дикая природа, у которой сотворение мира на листах не обсохло и которую мы так горячо любим в картинах и поэмах (человек с револьвером, наивно убивающий ближнего, относится так же к пампам, как и наивный тигр с своими зубами в вершок величины). Во Франции - природа ничего, прибрана и выметена, тигры не ходят, а виноград растет; но зато в 1848 там снова разнуздались страсти и снова покачнулись основы благочиния. У нас, при непочатой природе, люди и учреждения, образование и варварство, прошедшее, умершее века тому назад, и будущее, которое через века народится, - все в брожении и разложении, валится и строится, везде пыль столбом, стропилы и вехи. Действительно, если к нашим девственным путям сообщения прибавить мужественные пути наживы чиновников, к нашей глинистой грязи - грязь помещичьей жизни, к нашим зимним выюгам - Зимний дворец, - а тут генералитет, кабинет, буфет, Филарет, "жандармский авангард цивилизации" из немцев и арьергард с топорами за кушаком, с стихийной мощью и стихийной неразвитостью, - то, сказать откровенно, надобно иметь сильную *зазнобу* или *сильное помешательство*, чтоб по доброй воле ринуться в этот водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырезающимися из-за тумана, который постоянно не могут победить.

Зазноба и помешательство - своего рода таланты и по воле не приходят. Одного тянет непреодолимо в водоворот, другого он отталкивает брызгами и шумом. Штука, собственно, в том, что иному сон милее отца и матери, а другому сповидание. Что лучше? Я не знаю; в сущности, и то и другое, пожалуй, сведется на *один бред*.

Но в эти философские рассуждения мы с тобой не пустимся: они же обыкновенно, тем или другим путем, приводят к неприятному заключению, что, валяясь себе на перине или беспокоясь в беличьем колесе, полезный результат этого будет один и тот же, чисто агрономический. Всякая жизнь, как поет студентская песня, начинается с "*Juvenes dum sumus*" и оканчивается: "*Nos habebit huius!*"*. Останавливаться на этих печальных приведениях всего на свете к нулю не следует - ты же назовешь эдак *нигилистом*, а нынче это крепкое слово, заменившее гегелистов, байронистов и пр.

Живой о живом и думает. Вопрос между нами даже не в том, имеет ли право человек удалиться в спокойную среду, отойти в сторону, как древний философ перед безумием пазарейским, перед наплывом варваров. Об этом не может быть спору. Мне хочется только уяснить себе, в самом ли деле вековые обитатели, упроченные и обросшие западным мохом, так покойны и удобны, а главное так прочны, как были, и, с другой стороны, нет ли, в самом деле, каких-нибудь чар в наших сповиданиях под снежную выюгу, под троечные бубенчики, и нет ли основания этим чарам?

*"Пока мы молоды"... "Нас примет земля!" (лат.). - Ред.

Было время, ты защищал *идеи* западного мира, и делал хорошо; жаль только, что это было совершенно не нужно⁵. Идеи Запада, т.е. наука, составляла давным-давно всеми признанный майорат человечества. Наука совершенно свободна от меридиана, от экватора, она, как гетевский "Диван", - *западно-восточная*⁶.

Теперь ты хочешь права майората перенести и на самые формы западной жизни, и находишь, что исторически выработанный быт европейских бельэтажей один соответствует эстетическим потребностям развития человека, что *он* только и дает необходимые условия умственной и художественной жизни, что искусство на Западе родилось, выросло, ему принадлежит и что, наконец, другого искусства нет совсем. Остановимся на этом сначала.

Пожалуйста, не подумай, что с точки зрения сурового цивизма и аскетической демагогии я стану возражать на то место, которое ты даешь искусству в жизни. Я с тобой согласен в этом. Искусство - *c'est autant de pris**, оно, вместе с зарницами личного счастья, - единственное, несомненное благо наше; во всем остальном мы работаем или толчем воду для человечества, для родины, для известности, для детей, для денег, и притом разрешаем бесконечную задачу, - в искусстве мы наслаждаемся, в нем цель достигнута, это тоже *концы*.

Итак, отдав Диане Эфесской что Диане принадлежит, я тебя спрошу, о чем ты, собственно, говоришь - о настоящем или прошедшем? О том ли, что искусство развилось на Западе, что Дант и Бонарроти, Шекспир и Рембрандт, Моцарт и Гёте были по месту рождения и по мнениям *западниками*? Но об этом никто не спорит. Или ты хочешь сказать о том, что долгая историческая жизнь приготовила и лучшую арену для искусства и красивейшую раму для него, что хранилищницы в Европе пышнее, чем где-нибудь, галереи и школы богаче, учеников больше, учителя даровитее, театры лучше обставлены и пр., - и это так (или почти так, потому что с тех пор как Большая Опера возвратилась к первобытному состоянию бродячих из города в город комедиантов, одна великая опера и есть *überall und nirgends***). Вся Америка не имеет такого Campo Santo?, как Пиза, но все же Campo Santo - кладбище, к тому же довольно естественно, что там, где было больше кораллов, там и коралловых рифов больше... Но где же во всем этом новое искусство, творческое, живое, где художественный элемент в самой жизни? Вызывать постоянно усопших, повторять Бетховена, играть "Федру" и "Аталию" очень хорошо, но ничего не говорит в пользу творчества. В скучнейшие времена Византии на литературных вечерах читали Гомера, декламировали Софокла; в Риме берегли статуи Фидиаса и собирали лучшие изваяния накануне Генсерихов и Аларихов. Где же новое искусство, где художественная инициатива? Разве в будущей музыке Вагнера?

* Это уже кое-что (франц.). - Ред.

** Везде и нигде (нем.). - Ред.

Искусство не брезгливо, оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму - сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем. От дикой, грозной фантазии ада и страшного суда до фламандской таверны с своим отвернувшимся мужиком, от Фауста до Фобласа, от Requiem'a до "Камаринской" - все подлежит искусству... Но и искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец; искусство, чтоб скрыть свою немоготу, издевается над ним, делает карикатуры. Этот камень преткновения - *мещанство*... Художник, который превосходно набрасывает человека совершенно голого, покрытого лохмотьями или до того совершенно одетого, что ничего не видеть, кроме железа или монашеской рясы, останавливается в отчаянии перед *мещанином во фраке*. Отсюда посягательство Роберту Пилю набросить римскую тогу⁸; с какого-нибудь банкира снять сертук, галстук и отогнуть ему рубашку, так что если б он после смерти сам увидел свой бюст, то перед своей женой покраснел бы до ушей... Робер Макер, Приюдом - великие карикатуры, иногда гениально верные, верные до трагического у Диккенса, но карикатуры; далее Гогарта этот род идти не может. Ван-Дик и Рембрандт мещанства - "Пунш" и "Шаривари", это его портретная галерея и лобное место. Это фамильные *фасты* и позорный столб.

Дело в том, что весь характер мещанства, с своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения.

Чинный - это настоящее слово. У мещанства, как у Молчалина, два таланта, и те же самые: "умеренность и аккуратность". Жизнь среднего состояния полна мелких недостатков и мелких достоинств; она воздержана, часто скупа, бежит крайности, излишнего. Сад превращается в огород, крытая соломой изба - в небольшой уездный домик с разрисованными щитами на ставнях, но в котором всякий день пьют чай и всякий день едят мясо. Это *огромный шаг вперед*, но вовсе не артистический. Искусство легче сживается с нищетой и роскошью, чем с довольством, в котором видны белые нитки, чем с удобством, составляющим цель; если на то пошло, оно ближе с куртизанкой, продающей себя, чем с правдивой женщиной, продающей втридорога чужой труд, вырванный у голода. Искусству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина *должен быть* таков; искусство чувствует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает - шарманщика прогонят, захотят послушать - дадут грош, и квит... Искусство, которое по преимуще-

ству изящная соразмерность, не может выносить аршина, самодовольная в своей ограниченной посредственности жизнь запятнана в его глазах самым страшным пятном в мире - *вульгарностью*.

Но это нисколько не мешает всему *образованному* миру идти в мещанство, и авангард его уже пришел. Мещанство - идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна. Это та "курица во щаж", о которой мечтал Генрих IV⁹. Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работник для тяжелой работы, да это в самом деле гавань спасения - *havre de grâce!*

Прогнанный с земли, которую обрабатывал века для барина, потомок разбитого в бою селянина, осужденный на вечную каторгу, голод, бездомный поденщик, батрак, родящийся нищим и нищим умирающий, только делаясь собственником, хозяином, буржуа, оттирает пот и без ужаса смотрит на детей; его сын не будет отдан в пожизненную кабалу из-за хлеба, его дочь не обречена ни фабрик, ни публичному дому. Как же ему не рваться в мещане? Идеал *хозяина-лавочника* - этих рыцарей, этих попов среднего состояния - носится светлым образом перед глазами поденщика до тех пор, пока его заскорузлые и усталые руки не опустятся на надломленную грудь и он не взглянет на жизнь с тем ирландским покоем отчаяния, которое исключает всякую мечту, всякое ожидание, кроме мечты о целом полуштофе виски в следующее воскресенье.

Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности, - демократизация аристократии, аристократизация демократии; в этой среде Альмавива равен Фигаро: снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по невозможности удержаться. Американские Штаты представляют одно среднее состояние, у которого нет ничего внизу и нет ничего сверху, а мещанские права остались. Немецкий крестьянин - *мещанин* хлебопашества, работник всех стран - *будущий* мещанин. Италия, самая поэтическая страна в Европе, не могла удержаться и тотчас покинула своего фанатического любовника Маццини, изменила своему мужу-геркулесу - Гарибальди, лишь только гениальный мещанин Кавур, толстенький, в очках, предложил ей взять ее на содержание.

С мещанством стираются личности, но стертые люди сытее; платье дюжинные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стирается красота породы, но растет ее благосостояние. Античный бедняк из Транстевере употребляется на черную работу гунявым лавочником *via del Corso*. Толпа гуляющих в праздничный день в Елисейских Полях, Кенсингтон-Гардене, собирающихся в церквах, театрах наводит уныние пошлыми лицами, тупыми выражениями - но для гуляющих в Елисейских Полях, для слушающих проповеди Лакордера или песни Левассора до этого дела нет, они даже этого не замечают. Но что для них очень важно и заметно - это то, что отцы и старшие братья их не в состоянии

были идти ни на гулянье, ни в театр, а они могут; что те иногда ездили на козлах карет, а они сами ездят, и очень часто, в фиакрах.

Во имя *этого* мещанство победит, и должно победить. Нельзя сказать голодному: "Тебе больше к лицу голод, не ищи пищи". Господство мещанства - ответ на *освобождение без земли*, на открепление людей и прикрепление почвы малому числу избранных¹⁰. Заработавшая себе копейку толпа одолела и по-своему жуирует и владеет миром. В сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах ей никакой необходимости. Наука не может не натолкнуться на ближайшие открытия. Фотография, эта шарманка живописи, заменяет артиста; хорошо, если явится художник с творчеством, но вопиющей нужды и в нем нет. Красота, талант - вовсе не нормальны; это исключение, роскошь природы, высший предел или результат больших усилий целых поколений. Стать лошадей Дерби, голос Марио - редкости. Но хорошая квартира и обед - необходимость. В самой природе, можно сказать, бездна мещанского; она очень часто останавливается на середине наполовину - видно, дальше идти духу не хватает. Кто тебе сказал, что у Европы хватит?

Европа провела дурные четверть часа - мещанство чуть не лишилось плодов долгой жизни, долгих усилий, труда. Внутри человеческой совести поднялся какой-то неопределенный, но страшный протест. Мещане вспомнили войны свои за права, вспомнили героические времена и библейские предания. Авель, Рем, Фома Мюнстер были еще раз усмирены, и на их могилах еще долго будет расти трава в предупреждение того, как карает самодержавное мещанство. Все с тех пор пришло в свой порядок; он кажется прочен, он рационален из своих начал, он силен ростом, - но артистического смысла, но художественной струны в нем не было, он их и не ищет; он слишком практичен; он согласен с Екатериной II, что серьезному человеку не идет хорошо играть на фортепьянах, - императрица тоже смотрела на мужчин с *практической* точки зрения. Для цветов его гряды слишком унавожены; для его гряд цветы слишком бесполезны; если он иногда растит их, то это на продажу.

Весной 1850 года я искал в Париже квартиру; тогда я уже настолько обжился в Европе, что мне опротивела теснота и давка цивилизации, которая сначала очень правится нам, русским; я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел уже на беспрестанно движущуюся, кишащую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух, - а поэтому я и квартиру искал не на юру и сколько-нибудь не похожую на уютно пошлые и убийственно однообразные квартиры в три спальни, *à trois chambres à coucher de maître**.

Мне кто-то указал флигель большого старого дома по ту сторону Сены, в самом С.-Жерменском предместье, или около. Я

*Три прекрасно обставленные спальни (франц.). - Ред.

пошел туда. Старуха, жена дворника, взяла ключи и повела меня *двором*. Дом и флигель стояли за оградой; внутри двора, за домом, зеленели какие-то деревья. Флигель был неубран, запущен, вероятно, в нем много лет никто не жил. Полустаринная мебель времени Первой империи, с римской прямолинейностью и почернелой позолотой. Флигель этот был не велик, не богат, но расположение комнат, мебель - все указывало на *иное* понятие об удобствах жизни. Возле небольшой гостиной была еще крошечная, совершенно в стороне, близ спальни - кабинет с шкапами для книг и большим письменным столом. Я походил по комнатам, и мне показалось, что я после долгого скитанья снова встретил человеческое жилье, *un chez-soi** не нумер, не людское стойло.

Это замечание можно распространить на все - на театры, на гулянья, на трактиры, на книги, на картины, на платье; все степенью понизилось и страшно возросло числом. Толпа, о которой я говорил, - лучшее доказательство успеха, силы, роста, она прорывает все плотины, наполняет все и льется через край. Она всем довольствуется, и всего ей мало. Лондон тесен, Париж узок. Сто прицепленных вагонов недостаточны, сорок театров - места нет; для того, чтоб лондонская публика могла видеть *пьесу*, надобно ее давать кряду три месяца.

- Отчего у вас так плохи сигары? - спросил я одного из первых лондонских торговцев.

- Трудно доставать, да и хлопотать не стоит, знатоков мало, а богатых знатоков еще меньше.

- Как не стоит? Вы берете 8 пенсов за сигару.

- Это у нас почти никакого расчета не делает. Ну, вы и еще десять человек будут покупать у меня, много ли барыша? Я в день сигар по 2 и по 3 пенса больше продам, чем тех в год. Я их совсем не буду выписывать.

Вот человек, постигнувший дух современности. Вся торговля, особенно английская, основана теперь на количестве и дешевизне, а вовсе не на качестве, как думают старожилы, покупавшие с уважением тульские перочинные ножики, на которых была английская фирма. Все получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее ни эстетической отделки, ни личного вкуса. Возле, за углом, везде дожидается стотысячеголовая гидра, готовая без разбора все слушать, все смотреть, всячески одеться, всем наестся, - это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (*conglomerated mediocrity*) Ст.Милля, которая все покупает и потому всем владеет, - толпа без невежества, но и без образования, для нее искусство кричит, машет руками, лжет, экзальтирует** или с отчаяния отворачивается от людей и рисует звериные драмы и портреты скота, как Лансир и Роза Бонер.

Видел ли ты в Европе за последние пятнадцать лет актера, -

* Свой угол (франц.). - Ред.

** Преувеличивает (франц. exagerer). - Ред.

одного актера, который бы не был гаер, паяц сентиментальности или паяц шаржа? Назови его!

Эпохе, которой последнее выражение в звуках Верди, на роду могло быть написано много хорошего, но наверное не художественное призвание. Ей совершенно по плечу ее создание - *cafés chantants*, амфибия между полпивной и бульварным театром. Я ничего не имею против *cafés chantants*, но не могу же я им дать серьезное артистическое значение; они удовлетворяют общему "костюмеру", как говорят англичане, общему потребителю, давальцу, стоголавой гидре мещанства - чего же больше?

Выход из этого положения далек. За большинством, теперь господствующим, стоит *еще большее* большинство кандидатов на него, для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства - единственная цель стремлений, их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского преобладания, до крайности доведенного права собственности, не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие. Забегавшие вперед живут в крошечных кругах вроде светских монастырей, не занимаясь тем, что делают миряне за стеной.

Было это и прежде, но и размеры и сознание были меньше, к тому же прежде были идеалы, верования, слова, от которых билось и простое сердце бедного гражданина, и сердце надменного рыцаря; у них были общие святыни, перед которыми, как перед дарами, склонялись все. Где тот псалом, который могут в наше время с верой и увлечением петь во всех этажах дома от подвала до мансарды, где наша "*Gottes feste Burg*"¹¹ или "*Марсельеза*"?

Когда Иванов¹² был в Лондоне, он с отчаянием говорил о том, что ищет новый религиозный тип и нигде не находит его в окружающем мире. Чистый артист, боявшийся, как клятвопреступления, солгать кистью, прозревавший больше фантазией, чем анализом, он требовал, чтобы мы ему указали, где те живописные черты, в которых просвечивает новое искупление. Мы ему их не указали. "*Может, укажет Мадзини*", - думал он.

Мадзини ему указал бы на "*единство Италии*", может, на Гарибальди в 1861 году как на *предтечу* - на этого *великого последнего*.

Иванов умер, стучась, - так дверь и не отверзлась ему. Isle of Wight, 10 июня 1862.

Письмо второе

Кстати к Мадзини. Несколько месяцев тому назад появился первый том полного собрания его сочинений. Вместо предисловия или своих записок Мадзини связал статьи, писанные им в разные времена, рядом пополнений; в этих пояснительных страницах бездна самого живого интереса. Поэма его монашеского жития, посвященного *одному* богу и *одному* служению, раскрывается сама собою в разбросанных отметках - без намерения, может, больше,

чем он хотел.

Энтузиаст, фанатик, с кровью лигура в жилах, Маццини отроком безвозвратно отдается великому делу освобождения Италии - и этому делу остается верен и ныне, и присно, и во веки веков, *ога е sempre**, как говорит его девиз: тут его юность, любовь, семья, вера, долг. Муж единой жены, он ей не изменил, и, седой, исхудалый, больной, он удерживает смерть, он не хочет умереть прежде, чем Рим не будет столицей единой Италии и лев св.Марка не разорвет на лоскутки развевающуюся над ним черно-желтую тряпку¹³.

Свидетельство такого человека, и притом гонителя скептицизма, социализма, материализма, - человека, жившего всеми сердцбиениями европейской жизни в продолжение сорока лет, чрезвычайно важно.

После первых *пансионских* увлечений всякой революционной карьеры, после поэзии заговоров, таинственных формул, свиданий ночью, кляत्व на необагренных кинжалах молодого человека берет раздумье.

Как ни увлекает южную, романскую душу обстановка и ритуал, серьезный и аскетический Маццини скоро разглядывает, что в карбонаризме гораздо больше приемов, обрядов, чем дела, больше сборов и приготовлений, чем пути. Давно догадались и мы, что политическая литургия священнослужителей конспираций, как и церковная литургия, - одно драматическое представление; сколько бы чувств и искренности ни вносили иногда священники в *службу*, все же агнец закалается в хлебе и истекает вином. Маццини это заметил тридцать пять лет тому назад.

Дойдя до этого, молодому карбонару было трудно остановиться. Вглядываясь в недавние события рухнувшей империи, свидетель монархических реставраций, революции, конституционных попыток и республиканских неудач, Маццини пришел к заключению, что у современной европейской жизни нет, как он выразился, "никакой инициативы", что консерваторская идея и идея революционная имеют только отрицательное значение: одна ломает - не зная, для чего, другая хранит - не зная, для чего; что во всем, что делается (а делалась тогда революция тридцатого года), нет ничего чинополагающего новый порядок дел.

В этих словах будущего соперника папы есть звуки погребального колокола, в который ударял друг папы, Местр.

Пустота, которую ощущал Маццини, понятна.

Прилив революционного моря поднимался торжественно в 1789 и, не мучимый никакими сомнениями, затоплял старую весь; но когда все было покрыто его волнами и на минуту всплывшие головы без туловища (и в том числе одна в короне), митры без головы и шляпы с плюмажем пошли на дно, тогда впервые почувствовался какой-то страшный *простор отсутствия*. Освобожденные силы разъедали друг друга, потом устали и остановились - им

*Теперь и всегда (итал.). - Ред.

нечего было делать, они ждали события дня, как поденщики ждут работы. Постоянные войска эти во время мира кипели боевой энергией, но не было боя, а главное - не было ясной цели. А если цели нет, все может быть целью: Наполеон их уверил, что он - цель, что война - цель, и отлил больше человеческой кровью, чем напор волн революционных прилил идей.

Маццини понял это, и прежде чем произвести окончательный приговор, он посмотрел за политические стены. Там ему встретился колоссальный эгоизм Гёте, его покойное безучастие, его любознательность естествоиспытателя в делах человеческих; там ему встретился глобющий себя колоссальный эгоизм Байрона.

Поэзия презрения возле поэзии созерцания; плач, смех, гордое бегство и отвращение от современного мира - возле гордого довольства в нем. Герои Байрона поражают Маццини; он ищет, откуда ведут свое начало эти странные отшельники, без религии и монастыря, сосредоточенные на себе, ненужные, несчастные, без дела, без родины, без интересов, эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которых не умеют принести, готовые презирать себя в качестве людей. И снова Маццини наталкивается на ту же причину. У байроновских героев недостает объективного идеала, веры; мечта поэта, отвернувшись от бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризм психических явлений, на *внутрь вошедшие* порывы деятельности, на больные нервы, на те духовные пропасти, где сумасшествие и ум, порок и добродетель теряют свои пределы и становятся привидениями, угрызениями совести и вместе с тем болезненным упоением.

Успокоиться на этом *свидетельстве болезни* деятельный дух Маццини не мог. Ему во что бы то ни стало хотелось сыскать слово новой эры, инициативу - он и сыскал их.

Теперь рычаг в его руках. Он повернет мир, он пересоздаст Европу, заменит гроб колыбелью, разрушителей сделает зодчими, разрешит противоречие общества и лица, свободы и авторитета, даст сердцу веру, не отнимая у разума - разум... Что же, ты думаешь, это *magnum ignotum*?* - *Единство и освобождение Италии с древним Римом в центре*.

Тут, само собою разумеется, нет места ни разбору, ни критике. Не оттого ли, что Маццини предвидел новое откровение, новое искупление мира в итальянском *risorgimento***, он не предвидел одного - именно Кавура? Кавура он должен был ненавидеть больше, чем Антонелли. Кавур был прозаическим переводом его поэмы, он выполнил одну будничную часть мацциниевской программы, за Римом и Венецией *à la longue**** дело не станет. Кавур - это итальянская Марфа, мешающая хозяйственными дрызгами единой мечте итальянской Марии. И в то время, когда Мария с умилением

* Великое неизвестное (лат.). - Ред.

** Возрождение (итал.). - Ред.

*** В конце концов (франц.). - Ред.

видела искупление мира в освобождающейся Италии, Марфа кроила для Италии бельгийский костюм¹⁴, и страна, довольная, что конституция не жмет ее, пошла себе по торной западной колее, по большому торговому тракту, а по нему не доедешь ни до какого пересоздания мира, *не пустившись в опасный брод*.

Фанатик Маццини ошибался; колоссальность его ошибки сделала возможным соизмеримого Кавура и единую Италию. Для нас, впрочем, вовсе не важно, как он разрешил вопрос; для нас важно то, что западный человек, как только становится на свои ноги и освобождается от готовых формул, как только начинает вглядываться в современное состояние Европы, - чувствует неловкость, чувствует, что что-то *не туда идет*, что развитие *дало в сторону*. Обмануть это чувство заменю недостающего начала началом национальности - легко могут революционеры и консерваторы, особенно если, по счастью, их родина будет покорена. Но что же дальше? Что делать, восстановивши независимость своего парода? Или что делать, когда она и без того независима?

Маццини, сознавая какую-то *пустоту* демократической мысли, указывает на освобождение Италии от *"тедесков"*. Ст.Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает, с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад меццанской мелкоты без инициативы, без понимания, но в Англии нет ни австрийского ига, ни папы, ни неаполитанского Бурбона. Тут что делать?

...Я предчувствую гнев наших крепостных людей, приписанных к научным фабрикам и схоластическим заводам; я вижу, как они белым днем яростно смотрят на меня своими ночными глазами филина и говорят: "Что он за вздор несет? Как будто история может дать в сторону, как будто она не движается по своим законам, как планеты, которые никогда не дают в сторону и не срываются с орбит?"

На последнее можно сказать, что всякое бывает и нет причины, чтоб иной раз планета и не сорвалась. У Сатурна кольцо уцелело и вертится с ним; у Юпитера оно лопнуло, и из него сделались бусы; у Земли одна луна как бельмо на глазу. Но вместо обсерватории стоит взглянуть в любую больницу, чтоб видеть, как живые организмы *дают в сторону*, развиваются в своем отклонении и доводят его до относительного совершенства, искажая, а иногда и убивая весь организм. Шаткое равновесие всего живого колеблется и до некоторой степени уступает уклонениям: но еще шаг в ту же сторону - и худо стянутый узел, связующий их, развязан, и освобожденные элементы идут в другие сочетания...

Разумеется, что общие законы остаются те же, но в частных приложениях они могут разниться до совершенно противоположных явлений. Повинуясь одному и тому же закону, пух летает, а свинец падает.

При отсутствии плана и срока, аршина и часов - развитие в природе, в истории не то что *не может* отклониться, но *должно*

беспреданно отклоняться, следуя всякому влиянию и в силу своей беспечной страдательности, происходящей от отсутствия определенных целей. В отдельном организме иногда отклонение дает себя знать болью, и тут часто боль является слишком поздним предостережением. Сложные, сводные организмы сбиваются с своих диагоналей и уносятся по скатам, вовсе не замечая ни дороги, ни опасности, благодаря смене поколений. Возможность остановить отклонившееся, удержать забежавшее или нагнать его очень мала и мало желается, желание предполагало бы всякий раз сознание и цель.

Сознание, с своей стороны, очень далеко от практического приложения. Боль не лечит, а вызывает лечение. Патология может быть хороша, а терапия скверная; можно вовсе не знать медицины и ясно видеть болезнь. Требование лекарства от человека, указывающего на какое-нибудь зло, чрезвычайно опрометчиво. Христиане, плакавшие о грехах мира сего, социалисты, раскрывшие раны быта общественного, и мы, *недовольные, неблагодарные* дети цивилизации, мы вовсе не врачи - мы *боль*; что выйдет из нашего кряхтения и стога, мы не знаем - но *боль заявлена*.

Перед нами цивилизация, последовательно развившаяся на безземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностью. То, что ей пророчил Сизис, то и случилось: среднее состояние сделалось *всем* - на условии владеть *чем-нибудь*. Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет - все же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством.

Под словом "уродства", "болезни" мы обыкновенно разумеем что-то неестественное, противозаконное, не отдавая себе отчета, что уродство и болезнь *естественнее* нормального состояния, представляющего алгебраическую формулу организма, отвлечение, обобщение, идеал, собранный из разных частных исключением случайностей. Отклонение и уродство *подзаконны* тому же закону, как и организмы; в ту минуту, когда бы они освободились от него, организм бы умер. Но, сверх общей подзаконности, они еще состоят на особых правах, имеют свои частные законы, последствия которых опять-таки мы имеем право выводить, без всяких ортопедических возможностей поправлять. Видя, что у жирафа передняя часть развития *односторонно*, мы могли догадаться, что это развитие сделано на счет задней части и что в силу этого в его организме непременно будет ряд недостатков, соответствующих его одностороннему развитию, но которые для него естественны и относительно нормальны.

Переднюю часть европейского камелеопардала составляет мещанство - об этом можно бы было спорить, если б дело не было так очевидно; но однажды согласившись в этом, нельзя не видеть всех последствий такого господства лавки и промышленности. Ясно, что кормчий этого мира будет купец и что он поставит на всех его проявлениях свою торговую марку. Против него равно будет несостоятельна нелепость родовой аристократии и несчастье родového пролетариата. Правительство должно умереть с голоду или

сделаться его приказчиком; у него на пристяжке пойдут его товарищи по непроизводительности, опекуны несовершеннолетнего рода человеческого - адвокаты, судьи, потариусы и пр. Вместе с его господством разовьется понижение всего нравственного быта, и Ст.Милль, например, вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия делается *Китаем*¹⁵, мы к этому прибавим: и не одна Англия.

Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придёт, как, и вынесет ли его старое тело или нет? Этого я не знаю, да и Ст.Милль не знает. Опыт нас проучил; осторожнее Маццини, мы смиренно держимся точки зрения *прозектора*. Лекарств не знаем, да и в хирургию мало верим.

Мне же особенно посчастливилось, - место в анатомическом театре досталось славное и возле самой клиники; не стоило смотреть в атлас, ни ходить на лекции парламентской терапии и метафизической патологии; болезнь, смерть и разложение совершались перед глазами.

Агония Июльской монархии, тиф папства, преждевременное рождение республики и ее смерть, за февральскими сумерками Июньские дни, вся Европа в припадке лунатизма, сорвавшаяся с крыши Пантеона в полицейскую лужу! И потом десять лет в обширнейшем музее патологической анатомии - на лондонской выставке образцов всех прогрессивных партий в Европе, рядом с туземными образцами всех консерватизмов со времен иудейских первосвященников до шотландских пуритан.

Десять лет!

Был досуг всмотреться в эту жизнь, в то, что делалось вокруг; но мое мнение не изменилось с тех пор, как в сорок восьмом году я осмелился, еще с некоторым ужасом, разобрать на лбу этих людей цицероновское "vixerunt!"*.

С каждым годом я бьюсь более и более об непонимание здешних людей, об их равнодушие ко всем интересам, ко всем истинам, об легкомысленную ветреность их старого ума, об невозможность растолковать им, что рутина не есть безапелляционный критерий и привычка - не доказательство. Иногда я приостанавливаюсь, мне кажется, что худшее время прошло, я стараюсь быть непоследовательным: мне кажется, например, будто сгнетенное слово во Франции вырастает в мысль... я жду, надеюсь... бывает же иногда и исключение... будто что-то брезжит... нет, ничего!

И этого никто не чувствует... на тебя смотрят с какой-то жалостью, как на поврежденного... мне только случилось встречать старых стариков, как-то очень грустно качавших седой головой.

Этим старикам было, видимо, неловко с своими *чужими*, т.е. с

* Отжили (лат.). - Ред.

сыновьями и внучатами...

...Да, caro mio*, есть еще в здешней жизни великий тип для поэта; - тип вовсе непочатый... Тот художник, который здесь всмотрится в *дедов* и *внучат*, в *отцов* и *детей* и безбоязненно, беспощадно воплотит их в черную, страшную поэму, - тот будет надгробный лауреат этого мира.

Тип этот - тип Дон-Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан, - он не раз наводил на меня ужас и тоску¹⁶.

Ты подумай об нем, и у тебя волос станет дыбом.

Isle of Wight, 20 июля 1862.

Письмо пятое

"...В первые времена моей юности меня поразили один французский роман, "Arminius", которого я впоследствии не встречал; может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал, и я помню главные черты его до сих пор.

Все мы, больше или меньше, знаем встречу и столкновение двух исторических миров в первые века: одного - классического, образованного, но растленного и отжившего, другого - дикого, как зверь лесной, но полного непочатых сил и хаотических стремлений, - только знаем мы по большей части одну официальную, *газетную* сторону их столкновения, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не частные судьбы; не драмы, в которых без шума ломались жизни и гибли в личных столкновениях, кровь заменялась горькими слезами, опустошенные города - разрушенными семьями и забытыми могилами.

Автор "Arminius'a" попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого - из истории в гроб. Всемирная история тут граничит со сплетнями и потому становится ближе к нам, доступнее, соизмеримее.

Не приходило мне тогда в мысль, что я сам попаду в такое же столкновение, что и в моей жизни развернется, со всей губящей силой своей, подобное столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колес истории..

В нашем отношении к европейцам, при всем несходстве, которое я очень хорошо знаю, есть сходные черты с отношением германцев к римлянам. Несмотря на нашу наружность, мы все же варвары. Наша цивилизация накожна, разврат груб, из-под пудры колет щетина, из-под белил пробивается загар. У нас бездна лукавства диких и уклончивости рабов. Мы готовы дать оплеуху без разбора и

* Дорогой мой (итал.). - Ред.

повалиться в ноги без вины, но... но я упорно повторяю - мы отстали в разъедающей, наследственно зараженной тонкости западного растления.

У нас умственное развитие служит (по крайней мере служило до сих пор*) чистилищем и порукой. Исключения чрезвычайно редки. Образование у нас кладет предел, за который много гнусного не ходит, на этом основании во все николаевское время правительство не могло составить ни тайной полиции, ни полицейской литературы вроде французских.

На Западе это не так. И вот почему русские мечтатели, вырвавшись на волю, отдаются в руки всякому человеку, касающемуся с сочувствием святынь их, понимающему их заповедные мысли, - забывая, что для него эти святыни давно перешли в обычную фразу, в форму, что большей частью он их повторяет, пожалуй, и добросовестно, но в том роде, в котором поп, думая вовсе о другом, благославляет встречного. Мы забываем, сколько других стихий напутано в сложной, усталой, болезненно пробившейся душе западного человека; сколько он уже истощен, изношен завистью, нуждой, тщеславием, самолюбием и в какой страшный эпикуреизм высшего, болезненно-нервного порядка перегнулись перенесенные им унижение, нищета и горячечный бой соревнования.

Мы все это узнаем, когда удар нанесен; нас это ошеломляет. Мы чувствуем себя одураченными и хотим отомстить. Глядя на это, иногда мне кажется, что много прольется крови из-за столкновения этих двух разных развитий..."

Строки эти были написаны несколько лет тому назад¹⁷.

Я и теперь того же мнения, несмотря на то, что русские пользуются в Европе репутацией самых развратных людей. Это происходит от бесцеремонности нашего поведения и от помещичьих ухваток. Мы уверили весь свет в нашей порочности, так, как англичане его уверили в своих семейных добродетелях. На самом деле ни то, ни другое - не очень глубоко. Русские за границей не только беспорядочно живут, но хвастаются своими дикими и распущенными привычками. По несчастью встречаясь, при самом переезде границы, с неловкой и подобострастной родиной кельнеров и гофратов, русские, как вообще недовоспитанные люди, перестают стесняться, распускаются еще больше и в этом задорном состоянии приезжают в Париж и Лондон. Мне случалось много раз замечать, как русские бросаются в глаза совершенными мелочами, а потом поддерживают первое впечатление какой-то вызывающей *pargue***, с которой они (великие мастера покорности и вытяжки дома!) не хотят покориться принятым обычаям. Русского узнают в больших отелях, потому что он кричит в общей зале, хохочет во все горло и непременно протестует, что нельзя курить в столовой. Вся эта заносчивость официанта, вышедшего за ворота господского дома, по-

* Все это писано в 1855 году!

** Развязность (франц.). - Ред.

казывает гораздо больше недозрелости, непривычки к воле, чем глубокой испорченности; с этой нравственной "сыростью" неразрывно хвостовство. Нам хочется, как четырнадцатилетним мальчикам, не только напиться, но и показать всему свету: "Вот, мол, как я налился". А весь свет рассуждает иначе: он, глядя на *то*, что русские обнажают, думает, качая головой, — что же после этого скрыто у них? А там — ничего, как в ранце солдатском на параде, только вид, что туго набито.

Долгая цивилизация, перепедающая поколения и поколения, получает особый букет, который *разом* не возьмешь, в этом судьба людей схожа с судьбою рейнвейна. Выработанной пристойностью особенно увлекаться нечего, хотя ходить по ней, как по выметенной дорожке, гораздо приятнее. Мы, нельзя не признаться, дурно выметены — и грязи много, и жестких камней довольно.

Дрессура наша в образование свежа в памяти: она делалась через пень колоду, в том роде, как крестьянина, взятого во двор, стригут в немца и заставляют *служить*. Отрекаясь по высочайшему повелению от всего склада жизни народной, дворянство упорно сохранило все дурные ее стороны: бросая за борт вместе с предассудками строгий чин и строй народного быта, оно осталось при всех грубо барских привычках и при всем татарском неуважении к себе и к другим. Тесная обычная нравственность прежнего времени не заменилась ни аристократическим понятием чести, ни гражданским понятием доблести, самобытности; оно заменилось гораздо проще немецкой казарменной дисциплиной *во фрунте*, подлым уничтожением, подобострастным клиентизмом в *канцелярии* и ничем *вне службы*.

Вне службы дворянин превращался из битого денщика в бьющего Петра I; в деревне ему было полное раздолье, тут сам он становился капралом, императором, вельможей и отцом вотчины. Из этой жизни волка и просветителя вместе вышли все колоссальные уродства — от Бироновых заплечных мастеров и Потемкиных большого размера до Биронов-палачей и Потемкиных в микрометрическом сокращении; от Измайлова, секущего исправников, до Ноздрева с оборванной бакенбардой; от Аракчеева всея России до батальонных и ротных Аракчеевых, *заколачивающих* в гроб солдата; от взяточников первых трех классов до голодной стаи пернатых, *записывающих* бедных мужиков в могилу, — со всеми неистощимыми вариациями пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников. В их числе там-сям изредка попадался помещик, сделавшийся иностранцем для того, чтоб остаться человеком, или "прекрасная душа" Манилов, горлица-дворянин, воркующий в господском доме близ исправительной конюшни.

Казалось бы, что могло зародиться, вырасти, окрепнуть путного на этих грядках между Аракчеевыми и Маниловыми? Что воспитаться этими матерями, брившими лбы, резавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными перед всеми

высшими, дикими тиранами со всем низшим? А именно между ними развились люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Оно им пошло впрок! Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия. Но кто же их-то душу выжиг огнем очищения, что за *непочатая сила* отреклась в них-то самих от *своей* грязи, от наносного гноя и сделала их мучениками будущего?..

Она была в них - для меня этого довольно теперь, я помечаю это и возвращаюсь к тому, что сказал: кабацкая оргия нашего разврата имеет характер какого-то неустоявшегося, неуравновесившегося брожения и беснований; это горячка опьянения, захватившая целое сословие, сорвавшееся с пути, без серьезного плана и цели, - но она не имеет еще той в глубь уходящей, той из глубины поднимающейся, тонкой, нервной, *умной*, роковой безнравственности, которыми разлагаются, страдают, умирают образованные слои западной жизни.

Но как же это случилось? Что за нравственный самум подул на образованный мир?.. Все прогресс да прогресс, свободные учреждения, железные дороги, реформы, телеграфы?..

Много хорошего делается, много хорошего накапливается, а самум-то дует себе да дует, какими-то *memento mori**, постоянно усиливаясь и сметая перед собой все, что на пути. Сердиться за это так же нечего, как сердиться на белок за то, что они линяют, на море за то, что после прилива (и, как на смех, в самую лучшую минуту его) начинается отлив. К этому колебанию, к этому ритму всего сущего, к этой смене дня ночью пора привыкнуть.

Эпоха *линянья*, в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога, - там трещина, тут трещина, но *en gros*** она держится крепко и приросла глубоко. Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх - неизвестно (...)

1862 г.

* Помни-о смерти (лат.). - Ред.

** В общем (франц.). - Ред.

Исторические письма

Письмо пятое

Действие личностей

Последние два письма мои приводят в конце к одному и тому же результату. Обществу угрожает опасность застоя, если оно заглушит в себе критически мыслящие личности. Его цивилизации грозит гибель, если эта цивилизация, какова бы она ни была, сделается исключительным достоянием небольшого меньшинства. Следовательно, как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без них он, безусловно, невозможен; без их стремления распространить его он крайне непрочен. Так как эти личности полагают обыкновенно себя вправе считаться развитыми и так как за *их-то* именно развитие и заплачена та страшная цена, о которой говорено в последнем письме¹, то нравственная обязанность расплачиваться за прогресс лежит на них же. Эта уплата, как мы видели, заключается в посильном распространении удобств жизни, умственного и нравственного развития на большинство, во внесении научного понимания и справедливости в общественные формы.

Поговорим же об этих личностях, единственных орудиях человеческого прогресса. Каков бы он ни был, он зависит от них. Он не вырастет из земли, как вырастают сорные травы. Он не размножится от плавающих в воздухе зародышей, как инфузории в гниющей жидкости. Он не окажется внезапно в человечестве результатом мистических идей, о которых так много толковали тому назад лет сорок, а многие и теперь еще толкуют. Его семя есть действительно идея, но не мистически присутствующая в человечестве; она зарождается в мозгу личности, там развивается, потом переходит из этого мозга в мозги других личностей, разрастается качественно в увеличении умственного и нравственного достоинства этих личностей, количественно в увеличении их числа и становится общественной силою, когда эти личности сознают свое единомыслие и решатся на единодушное действие; она торжествует, когда такие личности, ею проникнутые, внесли ее в общественные формы.

Если личность, говорящая о своей любви к прогрессу, не хочет критически пораздумать об условиях его осуществления, то она, в сущности, прогресса никогда не желала, да и не была даже никогда в состоянии искренно желать его. Если личность, сознающая условия прогресса, ждет сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса. самое гадкое препятствие на пути к нему. Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожестве людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а *вы* сами, зрячие среди слепых,

здоровые среди больных, что *вы* сделали, чтобы содействовать прогрессу?

При этом вопросе большинство их ссылается на слабость сил, недостаток таланта, малый круг действия, враждебные обстоятельства, враждебную среду, враждебных людей и т.д. "Какие мы деятели! - говорят они. - И учили нас не доучили, и статейку журнальную написать не сумеем, и пророческим красноречием господь обидел, и место по службе ничтожное, а то и никакого нет, и капитала дедушка не оставил, а заработаешь лишь настолько, чтобы сидеть впроголодь. Вот если бы то и другое - капитал, да место большое, да талант, то мы бы себя показали".

Я не говорю о тех, которые всю жизнь бьются из-за куска хлеба. В прошлом письме я упомянул о них, и на них не падает ни одного обвинения. Если прогресс прошел над их головами, не дав им даже развития, то они лишь жертвы его. Если их коснулось умственное развитие, если сознание лучшего зажгло в них ненависть ко лжи и злу, но обстоятельства задавили в них всякое проявление этого сознания и ограничили их жизнь заботой о насущном хлебе; если при этом они все-таки сохранили человеческое достоинство, то они своим примером, своим существованием остаются самыми энергическими деятелями прогресса. Перед этими незаметными героями человечества, не совершившими ни одного яркого дела, по историческому значению ничтожны величайшие исторические деятели. Если бы первых не было, то последние никогда не могли бы осуществить ни одного своего начинания. Между тем как заметные герои борются и часто даже гибнут в борьбе за лучшее, в это время, несмотря на неблагоприятные условия, незаметные герои поддерживают в обществе традицию человеческого достоинства, сознание лучшего, и, когда одному на сто из великих деятелей удастся провести в жизнь свои идеи, он вдруг видит около себя группу крепких людей, закаленных работою, непоколебимых в своих убеждениях, радостно протягивающих ему свои руки. Из этих-то незаметных героев создается во всякую великую историческую минуту почва для преобразований. Они хранят в себе всю возможность будущего. В том обществе, где не было бы их, прекратился бы разом всякий исторический прогресс. Дальнейшая жизнь такого общества ничем не отличалась бы в нравственном отношении от жизни других общественных животных.

Но эти энергические деятели заключают лишь *возможность* прогресса. Его осуществление никогда не принадлежит и не может принадлежать им по очень простой причине: каждый из них, принявшийся за осуществление прогресса, умер бы с голода или пожертвовал бы своим человеческим достоинством, исчезнув, в обоих случаях, из ряда прогрессивных деятелей. Осуществление прогресса принадлежит тем, которые избавились от самой гнетущей заботы о насущном хлебе, но из этих последних *всякий* критически мыслящий может осуществлять прогресс в человечестве.

Да, всякий. Не говорите, пожалуйста, о недостатке таланта и

знания. Для этого не нужно ни особенного таланта, ни обширного знания. Если вашего таланта и знания хватило на то, чтобы критически отнестись к существующему, сознать потребность прогресса, то вашего таланта и знания достаточно, чтобы эту критику, это знание воплотить в жизнь. Только не упускайте ни одного случая, где жизнь предоставляет действительно для этого возможность. Положим, ваша деятельность мелочна; но из неизмеримо малых частиц состоят все вещества; из бесконечно малых толчков составляются самые громадные силы. Количество пользы, полученной от вашей деятельности, ни вы и никто другой оценить не в состоянии: оно зависит от тысячи различных обстоятельств, от многочисленных совпадений, предвидеть которые невозможно. Прекраснейшие намерения приводили к отвратительным результатам, как маловажное, с первого взгляда, действие разрасталось в неисчислимые последствия. Но мы можем с некоторою вероятностью ожидать, что, придавая целому ряду действий одно и то же направление, мы получим лишь немногие результаты, прямо противоположные данному направлению, хотя некоторые действия совпадут с удобными условиями для того, чтобы оказались заметные результаты в этом самом направлении. Может быть, мы не увидим этих результатов, но они непременно *будут*, если мы сделали все от нас зависящее. Земледелец, обработавший почву и посеявший семена, знает, что многие семена погибнут, что он никогда не оградит нивы от поправы, от неурожая, от ночного хищника, но и после неурожая он несет на поле снова горсть семян, ожидая будущей жатвы. Если каждый человек, критически мыслящий, будет постоянно активно стремиться к лучшему, то, как ни был бы ничтожен круг его деятельности, как бы ни была мелка сфера его жизни, он будет влиятельным двигателем прогресса и оплатит свою долю той страшной цены, которую стоило его развитие.

Но точно ли есть мелочные и важные сферы деятельности? В каких это сферах люди имеют право на монополию прогрессивности? Уж не литераторы ли? Не художники ли? Не ученые ли?

Посмотрите на этого литератора-прогрессиста, который так великолепно пишет о благе общества и еще искуснее эксплуатирует своих братьев или в своем лице отдает идеи, которым, по-видимому, служит, на поругание противникам. А я еще не говорю о разных "мрачных сонмищах", для которых литература есть орудие самого отвратительного принижения мысли, принижения человеческого достоинства, орудие застоя и общественного развращения.

Посмотрите на этого художника-прогрессиста, который воспевает свободу слова, хотя он вовсе не прочь участвовать в цензурных учреждениях, и который вне своей студии никогда не подумал, чем отличается скверное дело от хорошего. А я не упоминаю о всех тех - им же имя легион, - которые по скромной лесенке стихотворного, музыкального, живописного, скульптурного, архитектурного творчества только и лезли, что к пенсиям, орденам, высоким чинам и огромным домам.

Посмотрите на этого прогрессивного профессора, который готов из своей эрудиции, смотря по обстоятельствам, делать арсенал для какого угодно направления. А еще сколько бездушных аргументирующих и экспериментирующих человеческих приборов, которые, следя всю жизнь за процессами химического замещения и разложения, за разрастанием клеточек и сокращением мышц, за склонениями и спряжениями греческих терминов, за перебоем звуков в санскрите и зенде, за отличительными признаками утвари времен Александра Невского и Ивана Грозного, никогда не подумали, что их ум и знание есть сила, оплаченная страданиями поколений, сила, за которую надо же заплатить и им; что эта сила налагает на них обязанность и что аргументирование и экспериментирование могут низвести человека на один уровень с пауком, точно так же как могут повести ученого на высшую точку человеческого достоинства, доступную в его время.

Ни литература, ни искусство, ни наука не спасают от безнравственного индифферентизма. Они не заключают и не обуславливают сами по себе прогресса. Они доставляют лишь для него орудия. Они накапливают для него силы. Но лишь тот литератор, художник или ученый действительно служит прогрессу, который сделал все, что мог, для приложения сил, им приобретенных, к распространению и укреплению цивилизации своего времени; кто боролся со злом, воплощал свои художественные идеалы, научные истины, философские идеи, публицистические стремления в произведения, жившие полной жизнью его времени, и в действия, строго соответственные количеству его сил. Кто же сделал менее, кто из-за личного расчета остановился на полудороге, кто из-за красивой головки вакханки, из-за интересных наблюдений над инфузориями, из-за самолюбивого спора с литературным соперником забыл об огромном количестве зла и невежества, против которого следует бороться, тот может быть чем угодно: изящным художником, замечательным ученым, блестящим публицистом, но он сам себя вычеркнул из ряда сознательных деятелей исторического прогресса. По нравственному значению, как человек, он стоит ниже бесталанного писателя, всю жизнь неумоимо твердящего столь же бесталанным читателям старые истины о борьбе со злом и невежеством; ниже полужайки-учителя, с жаром вколачивающего полупонятые знания в умы неразвитых мальчиков. Эти сделали все, что умели, что могли; с них и требовать более нечего. Если из сотен читателей один-два найдутся поталантливее, повпечатлительнее и применят в жизни те истины, которые они узнали от писателя, то прогресс был. Если жар учителя зажег хотя в небольшом числе учеников жажду поразмыслить, поработать самому, жажду знания и труда, то прогресс опять был. Я уже не говорю, как неизмеримо ниже - при всей их художественной талантливости, при всей их учености, при всей их публицистической знаменитости - стоят упомянутые господа сравнительно с теми совершенно незаметными деятелями

прогресса, о которых сказано выше и которые хранят в себе всю возможность прогресса для будущего.

Мне скажут, что я несправедлив в отношении как к искусству, так и к науке. Прекрасное произведение, даже не осмысленное художником, есть все-таки увеличение развивающего капитала человечества; не говоря о другом действии искусства, лишь путем прекрасного человек большею частью переходит из мира пошлости в область истины и справедливости. Оно возбуждает внимание, увеличивает впечатлительность и, следовательно, есть уже само по себе орудие прогресса независимо от мысли, одушевлявшей художника. Точно так же всякий новый факт знания, как бы он ни был мелок и ничтожен для современных жизненных вопросов, есть увеличение капитала человеческой мысли. Лишь классифицируя и изучая все существа природы как они суть на самом деле, человек получает возможность классифицировать и изучать их по отношению к человеческому благу, по их полезности и вредности для большинства. Сегодня энтомолог порадует, что в его коллекции прибавились два-три незамеченных прежде жучка, а через несколько времени, посмотрев, изучение одного из этих жучков даст технику новое средство для удешевления полезного продукта, следовательно, отчасти и для увеличения удобств жизни большинства. А затем другой из этих жучков стал исходной точкой размышлений ученого о законах развития животных форм и функций - законах, по которым развивалось и человечество из своего зоологического состояния, вынося фатально из него в свою историю много печальных переживаний; законах, которые указывают человеку, что, лишь борясь за свое развитие, он, рядом с неизбежным зоологическим элементом своего существа, может выработать в себе и другой элемент, позволивший ему быть деятелем прогресса. Сегодня лингвист с восторгом отметил особенности спряжения глаголов древнего языка; завтра эта особенность свяжет несколько языков, до тех пор разрозненных; послезавтра эта связь уяснит ряд мифов доисторического периода; а там, смотришь, оказалась возможность проследить влияние этих мифов на учения христианских церквей, понятнее стал меньшинству строй мысли большинства и, следовательно, стало удобнее найти средства для развивающей прогрессивной деятельности. Искусство и наука в их произведениях суть орудия прогресса независимо от настроения и стремления художника и ученого, даже против их желания. Лишь бы произведение искусства было в самом деле художественно, лишь бы открытие ученого было в самом деле научно - они уже принадлежат прогрессу.

Я и не думал говорить, что искусство и наука не суть *орудия* прогресса, что художественное произведение и научное открытие как *факты* не служат прогрессу. Но бесспорно, и металлы, хранящиеся в почве, и шелк, вырабатываемый шелковичным червем, суть тоже орудия прогресса, факты для него. Художник, имеющий в виду только искусство и никогда не подумавший о человеческом его влиянии, может представлять огромную эстетическую силу. Его

произведение прекрасно; его влияние может быть огромно и даже весьма полезно. Но его сила, по нравственному достоинству, не выше той, конечно, громадной силы, которая разбросала по земле самородки меди, заключила в болота и озера железо, а относительно пользы металлов для человеческой цивилизации никто спорить не станет. Эстетическая сила сама по себе - сила вовсе не нравственная. Нравственную, цивилизационную, прогрессивную силу она становится, независимо от художника, лишь в мозгу того, кто, вдохновившись прекрасным произведением, подвинулся на благо; в том, кто сделался лучше, впечатлительнее, развитее, энергичнее, деятельнее под влиянием впечатления, полученного от произведения художника; как металл сделался цивилизационною силою лишь в мозгу того, кто придумал из него первое полезное орудие. Художник как художник стоит в уровень со всяким могучим физическим или органическим процессом, не имеющим никакого человеческого значения. И звук, и кровообращение служат источником мысли, желания добра, решимости на дело, но они не суть ни мысль, ни добро, ни решимость. Чтобы художник *сам* был цивилизационною силою, для этого он должен *сам* вложить в свои произведения человечность; он должен выработать в себе источник прогресса и решимость его осуществить; должен приступить к работе, проникнутый прогрессивною мыслию; и тогда, в процессе творчества, не насилуя себя, он будет сознательным историческим деятелем, потому что сквозь преследуемый им идеал красоты будет и для него всегда сиять требование истины и справедливости. Он не забудет о борьбе против зла, которая обязательна для каждого, а для него тем более, чем более естественной силы в нем заключается.

То же можно сказать об ученом. Накопление знаний, само по себе, несколько не имеет более высокого нравственного значения, чем накопление воска в улье. Но воск становится орудием цивилизации в руках пчеловода, в руках техника. Они очень благодарны пчелам, очень нежат их и сознают, что без пчел воска бы не было. Но все-таки пчелы не люди; нравственными деятелями цивилизации пчел назвать нельзя, и выделение ими воска по внутренней потребности есть лишь *материал* прогресса. Энтомолог, собирающий жуков, и лингвист, отмечающий спряжения, если они это делают только из внутреннего удовольствия созерцать коллекцию жуков или знать, что глагол спрягается так-то, несколько не ниже - но зато и не выше - пчелы, выделяющей свой комочек воска. Если этот комочек попадает в руки техника, который обратит его в восковой пластырь, или в руки химика, который откроет при помощи его новый обобщающий закон, комочек будет материалом цивилизации; если он бесполезно растает на солнце, то работа пчелы пропала даром для прогресса. Но в обоих случаях пчела ни при чем; она удовлетворила своей потребности, переработала пищу в комочек воска, внесла этот комочек в свою постройку, как следует животному, и потом полетела за новою пищею. Подобно тому и факт знания становится орудием цивилизации лишь двумя путями. Во-первых, в

мозгу того, кто его употребит в технике или в обобщенной мысли, во-вторых, в мозгу того самого, кто вырабатывает факт науки, но не из удовольствия созерцать его как новый комочек воска, а с заранее обдуманною целью, как материал, имеющий в виду определенное техническое применение или определенное научное и философское обобщение. Наука и искусство суть могущественные орудия прогресса, но я уже сказал в начале этого письма, что прогресс осуществляется лишь в личностях, лишь личности могут быть его двигателями; а в этом отношении художник и ученый как личности могут не только не быть могучими деятелями прогресса, но могут совершенно стать вне прогрессивного движения, несмотря на свой талант и знание, наравне с бессознательным металлом или с животным, от которого никто нравственности и не требует. Другие, *настоящие*, люди, может быть, менее талантливые и менее ученые, могут придать человеческое значение материалу, накопленному великими художниками и великими тружениками, но они придадут человеческое значение этим трудам *своим* пониманием. Они внесут эти труды в прогресс истории.

Я нарочно остановился на науке и искусстве как на самых могучих элементах цивилизации, чтобы указать, что и эти сферы сами по себе не составляют прогрессивного процесса; что ни талант, ни знание не делают еще, сами по себе, человека двигателем прогресса; что с меньшим талантом и знанием в этом отношении можно сделать более, если сделаешь все, что можешь. Да, повторяю, всякий человек, критически мыслящий и решающийся воплотить свою мысль в жизнь, может быть деятелем прогресса.

Письмо шестое

Культура и мысль

Положим, что личность, критически мыслящая, сознала себя как возможного и обязательного деятеля для прогресса человечества. Спрашивается, как она обязана поступать во имя своего сознания, чтобы сделаться действительным органом прогресса?

Конечно, прежде всего она должна отнестись критически к себе: к своему знанию, к своим силам. Поприще, на котором ей недостает знания, надо изучить или оставить в стороне. Дела, для которого у нее недостает сил, лучше не трогать, пока не наберешь достаточно сил для его совершения. Не то, чтобы целая сфера деятельности была, таким образом, закрыта для кого-нибудь; но надо, чтобы человек, обращаясь к этой сфере, ясно поставил и решил вопрос: *что именно* могу я сделать в этой сфере с моими знаниями и при моих силах? Только решив этот вопрос, можно разумно ставить себе и жизненную задачу.

Но, приступая к ней, личность имеет перед собою несколько учений, как будто противоположных между собою, и читатель, знакомый с известным взглядом Луи Блана на индивидуализм и обще-

ственность, или братство, может быть, видя большое значение, придаваемое мною личности в истории, заподозрил автора этих писем в склонности к индивидуализму в том именно смысле этого слова, который придан ему знаменитым когда-то французским социалистом. Я не долго останавлиюсь на этом вопросе, потому что считаю его более вопросом о словах, чем о деле.

Луи Блан говорит ("Histoire de la révolution française", 1847; I, 9-10)², что "индивидуализм рассматривает человека как находящегося вне общества,... дает ему преувеличенное чувство его прав, не указывая ему его обязанностей, предоставляет его его собственным силам и вместо всякого правительства провозглашает *laissez faire**". Ниже он говорит, что индивидуализм "ведет к притеснению путем анархии". Для "*братства*" мы находим у Луи Блана более громких фраз, чем определенных понятий, но в стремлении, приписанном этому принципу, "организовать в будущем общество - дело человека - по образу человеческого тела - дела божия", видно, что личность, при господстве начала братства считается Бланом столь же подчиненным элементом общества, как отдельный бессознательный орган тела подчинен сознательному человеческому Я. Индивидуализм, как его понимает Луи Блан, был стремлением *подчинить* общее благо личным эгоистическим интересам единиц, так же как общественность, с его точки зрения, склоняется к *поглощению* личности, в ее особенности, интересами общества. Но личность лишь тогда подчиняет интересы общества своим собственным интересам, когда смотрит на общество и на себя как на два начала, *одинаково реальные* и соперничающие в своих интересах. Точно так же поглощение личности обществом может иметь место лишь при представлении, что общество может достигать своих целей не в личностях, а в чем-то *ином*. Но и то и другое - призрак³. Общество вне личностей не включает ничего реального. Ясно понятые интересы личности требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов; общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях. Поэтому истинная общественная теория требует не *подчинения* общественного элемента личному и не *поглощения* личности обществом, а *слития* общественных и частных интересов. Личность должна развить в себе понимание *общественных* интересов, которые суть и *ее* интересы; она должна направить свою деятельность на внесение истины и справедливости в общественные формы, потому что это есть не какое-либо отвлеченное стремление, а самый близкий эгоистический *ее* интерес. Индивидуализм на этой ступени становится осуществлением общего блага помощью личных стремлений, но общее благо и не может иначе осуществиться. *Общественность* становится реализированием личных целей в общественной жизни, но они и не могут быть реализованы в какой-либо другой среде.

Итак, жизненная задача личности, если это критически мысля-

* Позволять действовать, позволять идти своим ходом (франц.). - Ред.

щая личность, не противопоставляет ее интересов интересам общества. Но пожалуй, можно подумать, что эти две половины условий прогресса могут быть выполнены каждая отдельно. Развитие личности и воплощение ею в общественные формы истины и справедливости могут быть обособлены мысленно, и возникает задача, которую различные мыслители решали различно. Возникают вопросы: должен ли человек преимущественно работать над собою, ставя своей целью личное совершенство независимо от общественных форм, его окружающих, и участвуя в общественной жизни лишь настолько, насколько ее формы вполне соответствуют его требованиям? или он должен направить свою деятельность преимущественно на выработку из данных общественных форм возможно лучших результатов для настоящего и будущего, хотя бы формы, в которых ему приходится действовать, были крайне неудовлетворительны, деятельность его - весьма незначительна?

Оба решения, принятые в своей исключительности, приводят к искажению личности и ее деятельности. Создавая свои нравственные идеалы, личность никогда не может взять в соображение всех исторических условий жизни общества в его целостности и в его разнообразии; поэтому идеалы личности всегда будут и должны быть далеко выше исторической действительности; следовательно, личность имела бы в большей части случаев повод удалиться от общественной деятельности. Чем она развитее и совершеннее, тем скорее ей пришлось бы это сделать и смотреть сложа руки, с бесполезною иронией, как дела идут своим порядком, т.е. как их направляют личности с более слабым нравственным развитием. Такое самосовершенствование равнялось бы общественному индифферентизму. Впрочем, оно было бы и противоречиво в самом себе. Личность, способная пройти индифферентно мимо общественного зла, когда она *могла*, хотя бы частью, помочь ему, не способна развить в себе ничего более, кроме *кажущейся* силы мысли, схоластического и вполне бесполезного набора громких правил или мистического самовозвышения в отчуждении от всего реального. К тому же если среда, в которой живет рассматриваемая личность, позволила развиться ей до критического отношения ко всему окружающему, то среда эта еще не безусловно дурна; в ней может развиться и другой, и третий, лишь бы им представились те же условия, т.е. лишь бы устранить в этой среде наиболее стеснительные, удушающие формы. Лучшее в ней возможно, и, если личность не видит этого, значит, она недостаточно развила *сама себя*, а только *кажется* себе развитою.

Но, вполне принаравливаясь к данным общественным формам, легко незаметно перейти к полному подчинению себя этим формам. Довольствуясь все меньшим и меньшим результатом своей деятельности, можно наконец удовольствоваться и отсутствием всякого результата. Тогда общественный деятель сходит на весьма незавидную ступень белки, бегающей в колесе, или трибуна, произносящего пламенную речь в пустой комнате. Откинув в сторону тре-

бование личного достоинства, состоящего в том, чтобы в своей деятельности не спускаться ниже данного уровня, личность не только отказывается от самосовершенствования; она отказывается и от способности оценить, приносит ли она обществу пользу или вред; живет ли она в нем как производитель или как паразит.

Оба высказанные выше требования нераздельно связаны одно с другим. Личность не может иначе развиваться всесторонне, как на критике реального. Критика реального мира, природы, указывает человеку безусловные пределы собственной и чужой деятельности, неизбежные законы, против которых вооружаться нелепо. Критика реального прошлого, истории, позволяет ему оценить неизбежную почву, на которой он стоит вместе со всеми другими своими современниками, почву, допускающую переработку, но при условии: взять самую почву в соображение такую, *какова она есть*. Критика реального общества научает человека отличать людей с самостоятельным стремлением к прогрессу от людей, живущих чужою мыслью, и от сторонников реакции, научает отличать главное зло от второстепенного, сегодняшний вопрос от вопроса, который можно оставить до завтра. Критика реального Я позволяет человеку взвесить свои силы и определить свою деятельность без самоунижения и без высокомерия. Но все эти формы критики суть не что иное, как развитие собственной личности. В то же время они невозможны или призрачны, если личность не принимает самого живого участия в общественных вопросах и страданиях, если ее критика не есть лишь преддверие к полезной деятельности.

С другой стороны, общественная деятельность имеет человеческий смысл лишь при саморазвитии, при постоянной проверке самого себя, своих сил, своих знаний, своих убеждений, своего умения и своей решимости отстаивать эти убеждения. На деятельности упражняются и растут силы; опыт жизни и ее задачи увеличивают знания; в борьбе крепнет убеждение и способность отстаивать его. Сознание своего участия в общественном деле есть уже начало возвышающее, вызывающее развитие. Как личность может нормально развиваться только во взаимодействии с общественной жизнью, так полезная общественная деятельность может иметь место лишь при саморазвитии личностей, в ней участвующих.

Это самое устанавливает предел, за который личность, не роняя своего достоинства, не может перейти в своем участии в общественной жизни. Там, где есть еще возможность оживления, поднятия уровня общественных интересов; там, где есть еще надежда внести человечность в механизм жизни, разбудить мысль, укрепить убеждение, возбудить ненависть и отвращение к обыденному злу, — там личность может и обязана встать в ряды деятелей общественного прогресса. Но если она признала, что около нее пошлость сплела ткань, которую одинокая личность прорвать не в силах; если человеку необходимо содействие других для дела, а эти другие живут паразитами на теле общества, несколько не думая об его требова-

ниях; если многописание, формализм и низкопоклонничество задавили в чиновничестве всякую мысль о государственной пользе; если на учениях и парадах из-за верного темпа и ровного фронта военный совсем забыл, что он человек и гражданин; если общественное собрание глухо ко всему вне личной вражды, личных связей и муравьиных интересов; если зло растет в обществе, а трусость и подлость закрывают перед ним глаза или рабски аплодируют ему, - тогда разумному, сознательному, но бессильному деятелю остается отойти от этого омута в сторону... когда может. Его силы недостаточны, чтобы остановить общественное зло даже в малейшей его доле, [но] он по крайней мере не приложит их к продолжению и усилению зла. Среди общественного отупения он присоединится к тем незаметным хранителям традиции прогресса, о которых я говорил в предыдущем письме. Может быть, придет минута, когда его участие в общественной жизни будет *возможно*. Если же она не придет, то он передаст другому поколению традицию истины и справедливости, которая для него осталась лишь в области сознания, которую воплотить в жизнь он не мог или не умел. В этом случае уже и то составляет некоторую заслугу, что он не преклонился перед всеобщим злом, не сделался его орудием. Другой, с лучшим пониманием, с большею энергией, с большими силами, сумел бы, может быть, и тут быть положительным деятелем, сумел бы бороться и, если не победить, то хоть показать другим примеры борьбы. Не у всех равные силы. Развившись в данную эпоху, при данных условиях, иногда и те люди составляют исключение, которые умеют *устраниться* от общего зла, отнестись к нему критически и выгородиться из него в своей частной жизни.

Но как только возможность действовать явилась, как только есть элементы борьбы и жизни в обществе, устранить себя от этой борьбы не имеет права человек развитой. Как ни противно среди грязных луж отыскивать дорогу, ее отыскивать все-таки надо. Как ни утомительно толкаться между сотнями полулюдей, чтобы найти в сотне одного-двух доступных пробуждению к жизни, искать все-таки приходится. Можно наперед предвидеть, что неудач будет много. Даже и те люди которые *кажутся* доступными свежей мысли, в большинстве случаев поддадутся трусости или мелочным побуждениям, побегут за жирной подачкой или пожертвуют делом из-за громкого слова. Многие отстанут; многие разбегутся; еще большее число оставит знамя из-за личных ссор, иногда в самом пылу боя. Проповедники передовых идей и неумолимой борьбы за них, увидев эти идеи на деле, в их резкой реальной обстановке, испугаются того самого, что было так красиво, мягко и безобидно на листе бумаги, отрекутся от своего прошлого, от своих прежних единомышленников и последователей и обратятся в карикатурных уединенных ворчунов, в бледные и трусливые ничтожества. Будут и прямые наглые изменники своему прошлому из-за личных интересов. Самые шансы борьбы будут изменяться, и, когда, по-видимому, ряды защитников прогресса будут всего гуще и неодолинее, может оказаться вдруг, что это призрак, что достаточно раздавить

двух-трех передовых деятелей, чтобы псевдо-рыцари прогресса спрятались по углам, изменили знамени или отреклись от него. Все это, конечно, очень противно и возмутительно, но, если бы борцам прогресса приходилось только торжествовать, их дело было бы чересчур легко. Все-таки для успеха борьбы необходимо действовать в той среде, которая дана каждому историческим процессом в настоящем. Вооружаться приходится тем оружием, которое удобнее именно в этой среде и для *того* именно сорта битвы, который предстоит в настоящем. Отойти в сторону имеет право лишь тот, кто знает себя бессильным. Тот же, кто чувствует или воображает, что у него есть силы, не имеет нравственного права тратить их на мелкий, частный круг деятельности, когда есть какая-либо возможность расширить этот круг. Развитой человек по мере расширения своего развития должен оплатить и более значительную цену, израсходованную человечеством на это развитие; поэтому на нем лежит нравственная обязанность избрать столь широкий круг общественной деятельности, какой только ему доступен.

Отсюда рождается необходимость уяснить себе: какие элементы в сложном строе общества представляют *почву* действия и какие - *орудия* деятельности? где более или менее блестящая, но сама по себе мертвая форма и где живая сила?

Потребности обуславливают процессы мира органического, развитие растительности, размножение животных. Они составляют один из важнейших вопросов физиологии, психологии человека и социологии. Они составляют и неизбежную точку исхода для объяснения всякого исторического явления. Всюду, где есть действие воли, существует в основе действия потребность; поэтому все элементы исторических явлений сводятся на различные потребности личностей. Потребности суть факты, общие для масс, но разнообразие физиологических и психологических особенностей в особях имеет следствием разнообразие влечений, вызываемых потребностями. Здесь уже можно указать различие двух классов потребностей.

Одни из них, общие всем живым существам, вызывают бессознательную или весьма малосознательную рефлективную деятельность, элементарную технику приспособления к среде, развивают разнообразные инстинкты животного мира, а в человеческом обществе вызывают все те действия, которые мы называем *привычками*; все, что в жизни человека принадлежит преданию; все, что он делает механически, вовсе не рассуждая или рассуждая очень мало, почему он делает *так*, а не иначе, и на что он мог бы дать лишь такое объяснение: "я к этому привык" или "это так делается; это всегда так делалось; это принято" и т.п. Я сказал уже, что эта группа физиологических и привычных потребностей сближает все классы животного мира, не представляет никакого различия для человека сравнительно с другими позвоночными или с беспозвоночными животными и даже в последнем подцарстве представляет самые поразительные примеры своего проявления, именно в обществах муравьев, пчел и других близких к ним существ. Эти потребности со-

ставляют самый прочный, если можно так выразиться, самый натуралистический элемент в жизни общества. Они дают те неизменные экономические и статистические законы, то взаимное определение физических условий страны и ее цивилизации, которые лежат в основе человеческой истории. Они вызывают первую технику, следовательно, и первые знания; под их влиянием происходит первое сближение людей, как и других животных. Общественная жизнь, истекающая из этого источника, есть уже жизнь *культурная*, и человек, немыслимый без потребностей, тем самым немыслим без какой-либо культуры. Наравне с некоторыми другими своими собратьями из мира насекомых и позвоночных он принадлежит к животным культурным.

С первыми индивидуализированными влечениями вступает в органический мир вторая группа потребностей, более сложных, более разнообразных и менее общих. Она наблюдается в сколько-нибудь определенной форме лишь в высших классах позвоночных (у птиц и млекопитающих), вырабатывается вполне и здесь лишь в некоторых семействах, родах, видах существ, высказывается в *выборе* по-видимому произвольном, в разнообразных аффектах привязанности и отвращения, аффектах, которые невозможно свести на общую потребность в изменчивости влечений, переходящих при совершенно сходных обстоятельствах от полного равнодушия к неудержимой страсти, которая заставляет особь забывать о самосохранении, заглушает все прочие потребности, вызывает иногда вполне безумную, иногда хитро рассчитанную деятельность, проявляется в человеке героизмом или преступлением. Эта вторая группа аффективных потребностей играет широкую роль в интимной биографии личности, но весьма ничтожную в истории человечества, в ее целом, потому что непродолжительность жизни личностей мешает им даже тогда, когда они поставлены в очень влиятельное положение, оставить слишком заметный след своих аффектов в жизни общества, тем более что аффекты изменчивы во всякой личности по самой своей природе и большею частью в разнообразии аффектов сосуществующих личностей эти влияния взаимно уравниваются.

Потребности физиологические и привычные привели бы всякую культуру к вечно повторяющимся формам улья или муравейника. Потребности аффективные вызвали бы личные драмы, но не могли бы создать истории. Она происходит лишь под влиянием работы *мысли*. Она обуславливается еще новым родом потребностей, наблюдаемых только в человеке, и здесь лишь в небольших группах личностей, для которых страдания поколений выработали исключительное развитие. Это - потребности прогрессивные, исторические, потребности *развития*.

Уже первая техника и первый расчет пользы представляют работу *мысли*, и культура обществ разнообразится по мере развития их мысли. Под влиянием ее работы размножаются потребности, изменяются влечения; расчет вызывает целый ряд целесообразных действий, оттесняющих прямые влечения; самые влечения, в

форме аффектов и страстей, становятся источниками деятельности, рассчитанной ввиду наилучшего удовлетворения аффекта. Наконец, является момент, где критика мысли направлена не на удовлетворение прямого влечения, но на самое влечение. Тогда мысль сравнивает влечения и распределяет их по тому *достоинству*, которое они имели перед критикою мысли. С другой стороны, сама мысль становится любимкою целью, возбуждает аффект; удовлетворение этого аффекта, направленного на продукт мысли, становится новою, чисто человеческою, вышею потребностью. Самая разработка мысли как увлекательной цели, как искомой *истины*, как желательного *нравственного блага* обращается в потребность для развития личности. Под непрерывною работою критики, ввиду *развития* вообще как цели, все потребности и влечения располагаются в различные перспективы, как влечения лучшие и худшие, как потребности высшие и низшие. Является потребность в истине и справедливости независимо от пользы: создаются начала науки и искусства. Является потребность ставить себе жизненные идеалы и воплощать их нравственною жизнью. Человек становится способен противодействовать своим влечениям, своим потребностям и предаться безраздельно идее, представлению, жизненной цели, иногда призраку, жертвуя им всем и часто даже не думая подвергать их критике. Как только работа мысли на почве культуры обусловила общественную жизнь требованиями науки, искусства, нравственности, то культура перешла в цивилизацию, и человеческая история началась.

Результаты работы мысли одного поколения не остаются для поколения, следующего за ним, в сфере одной лишь мысли. Они обращаются в жизненные привычки, в общественные предания. Для людей, получивших их в этом виде, их происхождение безразлично; самая глубокая мысль, повторяемая привычно или по преданию, представляет для человечества не высшее явление, как привычные поступки бобра и пчелы для бобров и пчел. Изобретение первого топора, первого обожженного глиняного горшка было громадною работою элементарной технической мысли, но современное человечество употребляет топоры и обожженную глину со столь же малым сознанием, как птица вьет свое гнездо. Первые протестанты, чуждаясь пестрого великолепия католических храмов и собираясь около своего проповедника, действовали под влиянием ясно сознанной мысли; нынешние же потомки их большею частью идут в этот храм, а не в другой на воскресную проповедь потому лишь, что их отцы и деды ходили именно в подобный храм и слушали подобные же проповеди, точно так, как аист, возвращаясь из перелета, садится на ту же крышу, где сидел год тому назад. Даже в высшей сфере человеческой мысли повторяется то же явление: нынешние преподаватели и нынешние ученики повторяют мысль Архимеда о законах равновесия и рычага, мысль Ньютона о всемирном тяготении, мысль Пруста о законе химических пропорций⁴, мысль Адама Смита о законе спроса и предложения; но это совершается гораздо чаще по педагогическому преданию, что так учили,

так учат и так следует учить, чем вследствие живой самостоятельной умственной потребности, неизбежно приводящей человека в данную минуту к данному вопросу и вызывающей на этот вопрос именно такой ответ, а не другой. Надо полагать, что и бобры валят и обдирают деревья, сплавливают их и возводят свои постройки вследствие подобного же педагогического и технического предания. Вообще часть цивилизации отцов, в форме привычек и преданий, составляет не что иное, как зоологический культурный элемент в жизни потомков, и над этою привычною культурою второй формации должна критически работать мысль нового поколения, чтобы общество не предалось застою, чтобы в числе унаследованных привычек и преданий оно разглядело те, которые предоставляют возможность дальнейшей работы мысли на пути истины, красоты и справедливости, отбросило остальное как отжившее и создало новую цивилизацию как новый строй культуры, оживленный работою мысли.

И в каждом поколении человеческом повторяется то же. Оно получает от природы и истории совокупность потребностей и влечений, которые в значительной степени обуславливаются культурными привычками и преданиями. Оно удовлетворяет этим потребностям и влечениям обиходной жизни и унаследованными общественными учреждениями, ремесленным искусством и рутинною техникою. Все это составляет его культуру, или зоологический элемент в жизни человечества. Но в числе унаследованных привычек всякой цивилизации заключается привычка критики, и она-то вызывает человеческий элемент истории, *потребность развития и работу мысли* ввиду этой потребности. Критика науки вносит в мирозерцания более истины; критика нравственности расширяет в жизни приложение науки и справедливости; критика искусства вызывает более полное усвоение истины и справедливости, придает жизни более стройности, культуре — более человеческого изящества. Насколько в обществе преобладают культурные начала и подавляется работа мысли, настолько оно приближается к строю муравьев и ос, как бы, впрочем, ни была блестяща его культура; это не более как разница в степени, в форме потребностей и влечений. Насколько в обществе сильна работа мысли, критическое отношение к своей культуре, настолько общество человечнее и более обособляется от низшего животного мира, даже если бы борьба, вызываемая работою мысли, критикою существующего, имела следствием, в частности, грустные картины, прибегала к оружию общественной или умственной революции и нарушала в обществе спокойствие и порядок: весьма часто лишь временным волнением и беспорядком, лишь путем революции можно купить лучшее обеспечение спокойствия и порядка для большинства в будущем. Когда Тразибул с афинскими изгнанниками явился в Афины возмущать отечество против олигархии тридцати тиранов, он, конечно, произвел волнение и беспорядок. Когда гуманисты XV века и реалисты XVIII повели войну против схоластики, они произвели чрезвычайное волнение в школах и страшный беспорядок в умах. Когда английские ко-

лонии Северной Америки отложились от метрополии, это был явный мятеж. Когда Гарибальди со своею тысячею пристал к берегам Сицилии, тут не было следа уважения к порядку. Когда Дарвин низвергнул кумир неизменного вида, он спутал ботанические и зоологические классификации и разрушил основу их. Но за свободу Афин, за новую европейскую науку, за политический идеал Северо-Американской республики, за низвержение неаполитанских Бурбонов, за величественное обобщение развития органического мира стоило заплатить некоторым беспорядком и волнением.

Культура общества есть среда, данная историею для работы мысли и обуславливающая *возможное* для этой работы в данную эпоху с такою же неизбежностью, с какою во всякое время ставит пределы этой работе неизменный закон природы. Мысль есть единственный деятель, сообщающий *человечное* достоинство общественной культуре. История мысли, обусловленной культурою, в связи с историею культуры, изменяющейся под влиянием мысли, - вот вся история цивилизации. В разумную историю человечества могут войти лишь события, уясняющие историю культуры и мысли в их взаимодействии.

Потребности и влечения даются природою или порождаются культурою и вызывают общественные формы. Внести в эти общественные формы истину и справедливость - дело мысли. Что в общественные формы вложила *природа*, то мысль изменить не может и должна только принять к сведению. Мысль не может отнять у человека потребность в пище и в воздухе, не может уничтожить полового влечения, не может сделать, чтобы рядом со взрослыми не существовали малолетки, не может изменить процесса своего распространения так, чтобы личность не являлась неизбежным ее органом. Но все внесенное в общественные формы *культурою* подлежит критике мысли. Культура должна быть взята в соображение при работе мысли, как исторически данная среда, но не как неизменный закон. Если сравним культуру разных эпох, то легко заметим, насколько самые основные элементы культуры подлежат изменчивости. Тем не менее для лиц, живших в эпоху господства данной культуры, эта культура представляла среду, в которой приходилось действовать всякой личности, не имея возможности сделать среду своей деятельности иною. Естественные потребности и влечения, под влиянием критики мысли должны выработать в себе общественные формы, заключающие наибольшее количество истины и справедливости, допускаемое данным состоянием культуры.

Итак, перед нами определенная задача прогресса: *культура* должна быть переработана *мыслию*. Перед нами также определенный, единственный реальный деятель прогресса: *личность*, определяющая свои силы и дело, ей доступное. Мысль реальна лишь в личности. Культура реальна в общественных формах. Следовательно, *личность* остается со своими силами и со своими требованиями лицом к лицу с *общественными формами*.

Как надо понимать сближение с народом?

У нас давно уже говорят о "сближении" или даже о "слиянии" с народом. Говорят об этом не только агитаторы, неудачно пытавшиеся "ходить" в этот народ; не только умеренные либералы, желающие посредством училищ, земской деятельности и т.п. малопомалу переделать русского простолюдина в нечто им самим подобное (то есть - национально-безличное и бесцветное); о подобном "сближении" говорят, хотя и несколько по-своему, даже и люди вполне охранительного, или, скажу сильнее, слегка реакционного взгляда (я говорю *слегка*, ибо крепко реакционного взгляда людей у нас очень мало и они до сих пор еще не влиятельны).

Но как понимают эти умеренные охранители подобное "сближение" - вот в чем вопрос?

По нашему мнению, нужно не столько *слияние интересов*, сколько *сходство идей*. Не нам надо учить народ, а самим у него учиться. Мы европейцы, а народ наш не европеец; скорее его можно назвать византийцем: вот чем он лучше и выше нас. Для нас вопрос решается так: если культурная солидарность наша с Западом неотвратима и неисцелима, *то национальное дело наше раз навсегда проиграно*. Чтобы объяснить без обычных в литературе нашей ужимок, как мы понимаем эти ужасные слова, которые произнести даже и наедине с самим собою страшно, - мы должны сказать вот что: правы ли мы, или нет, это другой вопрос; но мы думаем, что все государства Западной Европы должны в не слишком продолжительном времени отречься от всего того, что составляло национальные основы их государственного быта, и принять форму республик... Соются ли они постепенно все в один атеистический союз, или сгруппируются сперва только по *племенам*, или, наконец, эти *бесцерковные* республики останутся приблизительно в пределах тех государств, из которых они выродятся и будут жить бок о бок, подобно республиканцам Средней и Южной Америки, не сливаясь *государственно*, но ничем почти *культурно* и не разнясь друг от друга, - все это вопрос второстепенных оттенков, для нас, славян, не слишком существенных; ибо во всех этих случаях республиканский Запад будет еще враждебнее Русской Империи и союзу восточно-православных народов, чем была Европа монархическая. Подобно Соединенным Штатам Северной Америки, не пожелавшим выносить в Мексике соседства сильной империи, - республики европейского Запада будут тяготиться формой нашего правления, прилагать все старания, чтобы изменить ее у нас, даже и посредством насилия. Подробнее здесь об этом я распространяться не буду. Мне кажется, это и так ясно.

Я не намерен также на этот раз "предсказывать", каков должен стать основной *экономический строй* этих европейских республик, "мещанский", т.е. либеральный, подобно строю нынешней Франции,

или *принудительно-социалистический*... Хотя эта сторона вопроса для славян и России несравненно существеннее и важнее, но именно вследствие этой первостепенной важности дела об нем нельзя говорить слегка в статье, имеющей другую, специальную цель. На этот раз я позволю себе только мимоходом заметить еще вот что: во всех государствах и у всех наций нашего времени все однородные охранительные силы находятся в постоянной между собою борьбе; государство воюет с государством; религия с ожесточением борется против другой религии; представители одной аристократии противятся остаткам другой знати, или последним могиканам другого дворянства; даже либеральная, или полулиберальная буржуазия - и та, под знаменем национал-либерализма, выступает охотно и нередко на бой, даже и кровавый, против буржуазии соседней, ведомой под точно таким же государственно-племенным штемпелем, и т.д. В *эти минуты* буржуазия даже и от ежедневно попираемой ею религии вовсе не прочь!

Все охранительные силы Европы, говорю я, находятся теперь в постоянной и непримиримой борьбе между собою и объединить их еще раз так, как объединились они в первой половине XIX века для борьбы против Франции и против напора ее демократических насилий, - оказывается невозможным во второй половине истекающего века. *Согласны везде между собой только одни социалисты и те, которые им потворствуют.* Они согласны, и число их ежегодно и повсеместно растет; они убежденнее, тверже, решительнее людей всех других партий и учений. Идеал их прост и ясен. *Разрушить все прежнее*, расторгнуть все преграды; сначала анархия, организация - позднее; она придет сама собою. Это последовательно и даже сравнительно легко; ибо создание нового и даже охранительная поддержка раз созданного гораздо труднее разрушения.

Вот состояние дел во всей Европе, вот *общее течение* исторического потока... Я думаю, никто этого отрицать не может?

В виду всего подобного, мне кажется, что для нас весь *роковой вопрос* должен состоять в том: сумеет ли славянское племя вовремя оградить себя от напора, не скажем - социалистических (ибо социализм, понятый только с *экономической* стороны, может принять и *охранительный характер*), а скажем - просто *разрушительных* волн и обойти это течение по своему собственному руслу?.. Или оно осуждено историей и темпераментом своим на вечное умственное рабство и должно тоже, хотя и несколько позднее других, отдать на закланье все лучшие исторические начала свои? Мы думаем, что нет мыслящего человека в России, который бы позволил себе *еще теперь*, даже в уме своем и с глазу на глаз с своею совестью, *произнести решительный ответ!* При взгляде на иные стороны нашей русской жизни - кажется более вероятным последний, ужасный исход; при воспоминании о других, оживляются надежды. Нельзя, разумеется, не отчаиваться в будущности славянства, когда слышишь, например, что множество русских людей, ожидают спасения России от "дальнейших либеральных реформ" или скажем яснее -

от демократической конституции. Нельзя не ужаснуться за наше будущее, когда с изумлением начинаешь понимать, что соотечественники наши хотят лечить нас от крайнего европейского радикализма, тем же самым радикализмом - только постепенным и умеренным. Или еще, когда встречаешь иного рода заблуждение, уже не в либеральном, а в консервативном лагере. Есть у нас, например, консерваторы, которых мнения и наклонности мы чрезвычайно уважаем; но не можем не указать на то, что и они часто не в силах перенестись на ту настоящую точку зрения, которая одна может открыть нам глаза на наши ошибки и несчастья. Есть консерваторы, которые желают все того же *сближения* с народом... Они сокрушаются о том, что русский народ - русскую "интеллигенцию" не любит. Это не государственная, не объективная мысль; это чисто личное порождение невольного какого-то страха, или оскорбленное чувство доброго и честного человека, считающего себя перед "народом" ни в чем неповинным.

С точки зрения *государственной* падо, напротив того, *радоваться*, что народ "интеллигенцию" не любит, что она ему не нравится.

Пусть в среде этой "интеллигенции" есть прекрасные и гуманные люди, пусть мы сами принадлежим к ней; все-таки надо *радоваться*, что эта "интеллигенция" так непопулярна, несмотря на всю теперешнюю гуманность свою.

Радоваться надо этому потому, что идеи и политические вкусы, господствующие в интеллигенции, *все заимствованные*, а у народа идеи и вкусы *все свои*; сближаясь с народом - мы только вредим ему; вредим не в том каком-нибудь грубом смысле, что мы его обманываем или грабим, или можем отстранить его от каких-нибудь вещественных благ, а в том более важном смысле - что мы почти нечаянно учим его *европеизму*: и не можем не учить, потому что сами до сих пор выдумать ничего не были в силах, и в деле творчества национального стоим гораздо ниже азиатских народов, индусов, китайцев, мусульман, у которых все почти *свое*.

Поэтому польза (или даже *спасение* напне) - не в *смешении* с народом, и не в практическом каком-нибудь с ним соглашении, а в *сходстве* с ним, в *подражении* ему. Вот чего не различают, и что в высшей степени важно. Славянофилы как будто понимали это, но в их учении есть одна чрезвычайно слабая сторона - это *эгалитарный либерализм*. Ни один из них не обратил внимания на то, что при том *слиянии* или *смешении* с народом, которое они так всегда хвалили, не народ слиняет, так сказать, на нас своими яркими национальными цветами, а мы заразим его нашими европейскими миазмами, потому что мы все-таки сильнее его ежедневным нашим влиянием... Юридическое сословное разделение было полезно для сохранения национального типа. Объясняюсь проще и нагляднее. Между прежним привилегированным и передовым все-таки для своего времени дворянством и крепостными крестьянами, даже между тем же "онемеченным и офранцузенным" дворянством и

благотворно отставшим купечеством стояла каменная стена юридических прав и привилегий. Пороки крестьянства и старого купечества были пороками личными; национально, в смысле общего типа, оба эти сословия были почти всегда безукоризненны; дворянство же во многих случаях лично почтенное и государственно всегда чрезвычайно доблестное, с точки зрения национально-культурного типа было ниже и хуже не только китайских мандаринов, но даже и турецких пашей и беев, которых, по крайней мере, резкие особенности их религии *принуждают не все* свое уступать европеизму, не все обычаи, не все поверия, не все юридические понятия, и т.д.

Пока наше, частью вполне, частью полувосточное дворянство было отделено от низших классов той стеною привилегий, о которых я говорил выше, оно могло вредить народу только вещественно, стеснять его волю, наносить безнаказанно ему личные оскорбления, пользоваться иногда неразумно и жестоко даровым трудом мужика, брать с купца взятки без всякого зазрения совести. Все это так; но оно не могло тогда вредить народу духовно, государственно, воспитательно, религиозно и культурно, стирая своим примером и влиянием драгоценные черты его национального характера. Нанесению этого рода вреда (несравненно более существенного, чем вред материальный и личный в глазах того, кто понимает, что значат слова: государство, нация, культурный тип!), - нанесению этого вреда препятствовали тогда глубокие предрассудки и закоренелые привычки обеих сторон. Эгоизм и открытое презрение высших, привилегированных - с одной стороны; апатия и скрытое отвращение низших - с другой, спасали культурный стиль народа. Высшие не спешили учить и ласкать низших, привлекая их этой лаской постепенно к подражательности. Низшие, с своей стороны, смотрели на "господ", как на нечто чуждое "немецкое" и даже весьма противное, не потому именно, что "наказывает" и "заставляет на себя работать", а потому что "в узком и коротком платье ходит, посты плохо соблюдает и т.д. ...". Купцы "московского типа" на дворян не работали, не зависели прямо от них и нередко в частных случаях преобладали над ними; но и они чувствовали культурно отвращение к европейскому стилю дворянства. Возьмем один пример. Я помню крепостное право; я вырос на нем; полжизни моей прошло при его условиях, и только во второй ее половине (30-ти лет), я увидел новые порядки. Я спрошу: когда слуги и простолюдины вообще строже содержали православные посты - тогда, или теперь? И тогда многие "господа" ели и в страстную пятницу мясо и тогда были здоровенные молодые люди до того изломанные нравственно, что уверяли, будто одна неделя поста расстраивает их железное здоровье. Но в то время, не только мужик, который из своего маленького окна издали и невнимательно смотрел на барские хоромы, плохо даже и понимая, что там происходит, но и слуги в доме - как-то не заражались нашим примером. Я помню слово одного 20-летнего дворового нашего. Я был тогда студентом и спросил его:

- Мне вот ничего, что я ем скромно; а ты не хочешь ни за что.

Отчего это? - Он же отвечал мне с улыбкой:

- Мы понимаем это так, что *господа* от счастья *забылись*... *Вот и все!*..

Чем больше равенства, больше общения, больше даже откровенных бесед, больше взаимного понимания; чем больше нравственного влияния - сверху вниз, со стороны более *сведущей*, но культурно более испорченной (ибо культура не в *массе знаний*, а в живом *своеобразном освещении* этого умственного хаоса); чем меньше социального *отчуждения*, тем легче либеральная зараза... Поэтому говорю: тот, кто понимает, до чего дорог культурный, национальный стиль для нашего государства, до чего спасительно может быть теперь для славянства постепенное свержение *умственного ига* Европы, тот должен желать не дальнейшего влияния "интеллигенции" нашей на простолюдина русского, а наоборот, - он должен искать наилучших способов и наилегчайших *путей подражания мужику*.

Дело теперь не в дальнейшем уравнивании прав (главным и последним уравниванием было бы столь убийственное для порядка разрешение крестьянам продавать личные участки); спасение не в каких-нибудь деловых, юридических, земских и т.п. соглашениях, или сближениях с народом, а в *развитом восстановлении* его идеалов, *верных и самобытных*, но *загрубелых* в его бедных руках, и потому и нам не всегда достаточно ясных, и даже в самом простолюдине несколько менее утвержденных, чем могли бы быть утверждены в нем эти самые идеалы, если бы *сближенная* уже с ним теперь реформами интеллигенция подавала ему сама поразительный пример развитого, самосознательного, я готов даже сказать, - *надменного в независимости своей, культурного руссизма!* Я попытаюсь доказать (как умею), что достичь этого возможно (и даже легко) на нескольких, быть может, даже и на всех поприщах общественной жизни. И прежде всего на поприще научно-философской мысли.

Я сказал, что нам нужно *вовсе не смешение с народом, а сходство с ним*. Я говорил, что польза не в юридическом слиянии всех со всеми, и спасение не в земском каком-нибудь или вообще *деловом сближении* высших слоев общества с низшими; не в воспитательном, наконец, воздействии *русских европейцев* на их *еще испорченных культурно "меньших братий"*; спасение наше не в практическом, а в *идеальном сближении* с простолюдином нашим, то есть, говоря яснее и проще - в *подражании мужику, в развитом восстановлении* его идеалов, *верных и самобытных, но загрубелых* и потому не всегда ясных даже и ему самому. *Вовсе не надо* быть непременно равным во всем мужику, нет даже *вовсе* особенной нужды быть всегда любимым им и *силиться* всегда самому любить его дружественно; надо любить его *национально, эстетически*, надо любить его стиль. *Нужно быть с ним схожим в основах*.

Например: простолюдин любит Царя не за то только, что он *сделал* для него *вот то-то и то-то*; а за *то именно, что Он - Царь!* И мы должны понять, что слишком далеко простерты идеи либе-

рализма, с серьезным взглядом на самодержавие решительно не совместимы. Мы должны рассуждать так: "Русский Царь по существенному атрибуту Его власти, по основным законам государства имеет право на всякое действие, *кроме одного - кроме действия самоограничения*". Подобно тому, как всемогущество Божие можно позволить себе ограничить одним положением: *Бог не может перестать быть Богом*; точно так же и про русскую высшую власть можно сказать: *"Самодержец не может перестать быть Самодержцем"*. И если бы в самом деле случилось то, о чем думали, и даже писали у нас многие, если бы тяжкие государственные обстоятельства потребовали созвания Земского Собора, или *Временно-Совещательной Думы*, то такое собрание, если оно понимает истинное благо отчизны, должно было бы *начать свою законную деятельность с голосования просьбы Государю никогда не обращать этого временного, бессрочного и совещательного сборища в собрание законодательное, периодическое и обязательное*. При таком мудром и возвышенном умерщвлении конституционного зародыша - Дума или Собор могли бы быть *изредка* полезны, именно только для *совещаний*. Ибо пословица русская говорит: "ум хорошо, а два лучше того..." Ум - рассуждение, совет... Она не говорит, что *две воли* или *двести воли* лучше одной. Это большая разница - *ум и воля*! К тому же во всех палатах или национальных собраниях, конечно, *не ум же кладет шары*, утверждает законы и свергает министров, а *воля*, т.е. легально организованная игра интересов и страстей. Ум в делах конституционных собраний играет весьма восторостепенную роль, как и всякий ум, везде, когда приходит минута *практического действия*; его в последнюю минуту выбора обыкновенно заменяет *не что другое*, какая-то совокупность наших сил: нравственных, телесных и отчасти только умственных. И сверх того, разве в эти палаты и собрания выбираются всегда самые умные люди? Всякий знает, что нет. Пошлость и пустота конституционных собраний была прекрасно изображена недавно Daudet в его "Набобе"... Всякий читатель, не подкупленный желанием самому стать депутатом, чувствует, что Daudet прав и вовсе не клеветает. И еще гораздо прежде его, Добролюбов очень удачно осмеивал западные "говорильни". В этом необходимо Добролюбову отдать справедливость.

Вот один, очень простой пример тому, как мирозерцание простого человека может совпадать с убеждениями и *политическими вкусами*, так сказать, образованного русского. И можно даже сказать прямо, что те из нас, которых ум дорос до этих убеждений и далеко перерос понятия *современного* западно-мещанского права, обязаны в большинстве случаев *живому примеру* русского мужика. Первоначальная, либеральная испорченность нашего воспитания, встречаясь в жизни со стихийной мощью мужицкого мировоззрения, заставляет нас краснеть за себя; презрение к *прогрессивной* Европе - которого не может не чувствовать в наше время русский человек, *добросовестный мыслитель*, располагает нас искать иных путей и эти пути - *тут, или так близко*, - они за

сохою; они в Церкви, они под соломенной крышей, в дыму курной избы; они в этих - *полукрестьянских монастырях* наших.

Русский смысл не в массе знаний, подавляющих только слабые умы большинства учащихся и учащихся, а в *способе освещения этих знаний*, этой массы фактов, в так называемом "выходе в жизнь".

Мужик, например, не только молясь в Церкви, но даже и сидя в кабаке, уже тем умен и хорош, что он в *прогресс* не верит (т.е. в прогресс *благоденственный и вечный*). Он, когда ему случается подумать о чем-нибудь другом, кроме хозяйства, податей и водки, - думает, что "все мы под Богом", и "все от Бога!"

Поэтому ему сразу (пока наше влияние его еще не исказило) покажется даже смешным, если он услышит, что какие-то французы и немцы надеются усилиями своего разума устроить на земле, если не рай, то что-то приблизительное. И для этого одни насилием, бунтами, кипжалами, динамитом, а другие - "машинами" и постепенностью, "говорильнями" и т.д. - хотят разрушить все то, что было создано мудростью веков. Простолудин найдет эту затею глупою. Так мыслит мужик, когда он удосужится помыслить; так думает он полусознательно, не размышляя много, - и действуя сообразно с этой стихийной, темной думой своей, он *покоряется*, верит и крестится.

Разве такое мировоззрение есть непременно удел одной простоты и невежества? Ничуть!

Такое воззрение на неизбежность в жизни страданий, зла, обид, разочарований и даже ужасов, на *невозможность* устранить все это разумом, наукой и гражданской правдой и даже на огромную, косвенную пользу всех этих зол - вовсе не принадлежит только незнанию, или так называемой "наивности". Такое воззрение на жизнь имеет даже и в области философской мысли *особое название*; этот род мирозерцания зовется *пессимизмом* (*pessimus* по латыни значит - *наихудший*, *optimus* - *наилучший*, отсюда оптимизм, т.е. учение о том, что *все идет к наилучшему*). Впрочем, эти термины грамматически или филологически прямо противоположные, - в философском смысле не всегда удачно противопоставляются друг другу). Если мы философскому и религиозному пессимизму (т.е. - *зло должно быть* и, кто знает, может быть, *все на земле идет к худшему*) противоположим такой сложный термин: *оптимизм прогрессивно-звездно-нический*, то есть поступательно-благоденственный, - то, мне кажется, что это будет точнее).

Я сказал, что не одним только простым или невежественным, как говорится, людям свойственно придерживаться пессимистического неверия в прогресс.

Все положительные религии, создавшие своим влиянием, прямым и косвенным, главнейшие культуры земного шара, - были учениями *пессимизма*, *узаконявшими* страдания, обиды и неправду земной жизни. Даже *веселая* религия греков и та учила, что "боги завидуют счастью людей и мучают их". Вспомним только одну историю, историю несчастного Эдипа и великие трагедии Софокла,

где столько "органически сросшихся с жизнью" неправд и горестей терзают людей!

И при всем этом сознании бедствий земной жизни, греки никогда не надеялись на какой-то прогресс, долженствующий сделать человека счастливым. Замечательно, что все лучшие мыслители древности были более или менее консерваторами. Вся древняя греко-римская мысль была направлена или на сохранение государства, или же на личное эстетическое наслаждение, преходящее, и потому именно драгоценное. Идея прогресса (или улучшения жизни для всех) есть выдумка нашего времени; она есть не что иное, как ложный продукт демократического разрушения старых европейских обществ. Бессознательный обман, самообольщение, могучее орудие постепенного расстройств в незримой руке исторического рока. Человечество всегда в чем-нибудь ошибалось. Оно ошиблось и теперь, воображая, что созидает нечто, уравнивая общество во имя прав и благоденствия. Оно этим готовится лишь размягченную почву для нового, какого-то (юридического даже), неравенства, для нового рода страданий, для нового рода организованной муки! Человечеству размышления мало; ему нужен опыт. И опыт будет! И мысль о прогрессе счастья будет снова отвергнута.

Возвращаюсь к пессимизму. Все христианские мыслители были тоже пессимистами. Они даже находили, что зло, обиды, горе в высшей степени нам полезны и даже необходимы. Приводить цитаты из христианских писателей ни древних, ни современных я не буду много. Пусть, кто хочет, заглянет сам. Я приведу только два примера: один древний, другой - так сказать, вчерашний. Древняя цитата моя будет точная, а новейшая, прошу простить мне, немного "по памяти".

Первый пример мой будет из книги Блаженного Августина "О граде Божием" (De civitate Dei)¹. Готы взяли Рим, разграбили его и произвели в нем множество всякого рода злодейств и насилий. Блаженный Августин в книге утешает пострадавших христиан и возражает по этому поводу язычникам (их было еще в его время много)... Учитель Церкви находит, что все эти страдания и оскорбления были христианами нравственно полезны. В одном месте у него мы находим следующее:

"Но многие христиане, говорят они (т.е. язычники), были уведены в плен"... "Это действительно было бы величайшим несчастьем - если бы они могли быть уведены в какое-нибудь такое место, где не нашли бы своего Бога". И только. Сам по себе, плен не есть еще самое великое несчастье.

И еще, убеждая не сокрушаться о том, что многие тела не были погребены после избиений, Бл.Августин говорит так:

"...и если отсутствие и таких необходимых для поддержания жизни людей живых вещей, какова пища и одежда, хотя и причиняет страдание, не уничтожает в добрых силы терпеть и переносить лишения и не вырывает из души благочестия, а напротив, делает его более плодотворным: то не тем ли более..." и т.д. (следует о

непогребенных телах и утешения родным и друзьям, которые при опустошении города не могли этого сделать).

Далее:

- "Много христиан было *убито*"... И это не важно. Не важно, каким родом смерти умрет человек, а *куда он пойдет после смерти?* Хороша ли была его жизнь или худа?... и т.д.

- "Многие были ограблены? Потеряли богатства и т.д.?"

- "Потеряли они веру?" спрашивает Бл.Августин.

- "Потеряли благочестие?" - Если они их не потеряли, то что значит потеря богатства?.. Тот, кто будучи богатым, не привязывался к нему, тот спокоен; а те, которые были послабее, которые, хотя и не предпочитали этих земных благ Христу, были однако же хотя с некоторою страстностью привязаны к ним, те, теряя их, *почувствовали, насколько, любя их, грешили*. Вот главная польза, - сознание своей греховности... Остальное - не важно. Утешения в этом роде Бл.Августин предлагает даже тем из молодых христианок, изнасилованных готами, которые сокрушались об утрате девственности и чистоты. Оправдывая пострадавших, с их стороны, что *воля* их в чужом грехе не участвовала, он прибавляет, что некоторым это насильственное осквернение тела было *полезно* для уничтожения той *нравственной гордости*, которая могла быть им свойственна прежде, при строгом соблюдении целомудрия.

Так как грабеж и опустошение Рима варварами причинили жителям почти *все главные роды человеческих страданий* и несчастий: насильственную, болезненную, преждевременную смерть, страх, мучения при виде страданий близких, удаление из отчизны в тяжкий плен и рабство, вероятно, множество физических страданий от ран, ушибов, и т.п., потерю имущества и вообще обеднение, преследование; и наконец, гражданскую, конечно, скорбь о взятии великого города, которого никто так долго взять не мог, - то я привел именно этот пример, как христианству присущ тот пессимизм, о котором я говорю, и который, во всяком страдании и зле, видит прямую или косвенную пользу для человека верующего во Христа.

Вот древний пример.

Что касается до нового примера, который я решаюсь привести немного "наобум" (потому что, к сожалению, потерял номер той газеты, где я его очень недавно нашел), то это не что иное, как наставление одного из наших Епископов приходскому духовенству - как обращаться с паствой. Там, между прочим, сказано нечто подобное:

- Надо помнить, что все люди восприимчивее ко влияниям духовным в случае поразивших *их несчастий*, в случае потери близких и любимых лиц, болезней, денежных потерь и т.п. ... Надо пользоваться особенно этими случаями - чтобы делать *им пользу* (духовную)...

Итак, с христианской точки зрения можно сказать, что *воцарение на земле постоянного мира, благоденствия, согласия, общей обеспеченности* и т.д., т.е. именно того, чем задался так неудачно

демократический прогресс, было бы величайшим бедствием в христианском смысле... С христианством можно мирить философскую идею сложного развития для неизвестных дальнейших целей (может быть, и для всеобщего разрушения), но эвдемонический (благоденственный) прогресс, ищущий счастья в равенстве и свободе, - совершенно непримирим с основной идеей христианства... *Этого рода прогресс и настоящее христианство могут только жить рядом, но слиться в принципах никогда не могут.*

Но оставим пессимизм христианский и вообще религиозный, (мистический), на почве которого могут сходиться легко самый ученый муж и самая безграмотная баба; оставим христианство... Новейшая, именно самая передовая философия Запада проповедует этот самый пессимизм, это мужественное и честное неверие во блага и спасительность прогресса. - Вот что говорит Гартман:

"Пессимистическое понимание мироздания, род понимания в котором религиозная потребность ежедневно восстанавливает свои силы, не может не расти и не крепнуть, ибо, чем более человечество умножает средств для приятности своего существования, тем более убеждается оно в невозможности преодолеть мучение жизни и достичь не только до благоденствия, но и до некоторого довольствия. Восходящий (т.е. прогрессивный в обыкновенном понятии этого слова) период человеческих дел может придерживаться оптимизма (т.е. веры в постепенное улучшение жизни) до тех пор, пока человечество еще надеется найти счастье на конце пути и насладиться им, но только что та, или другая цель достигнута, народ, стремившийся к ней, тотчас же начинает находить, что он не только не прогрессировал в довольстве, а напротив того, лишь увеличил гнущие и терзающие его нужды".

"Поэтому - оптимизм есть всегда лишь временное состояние наций, находящихся еще на полпути мирских стремлений; но пессимизм есть основное расположение самосознательного человечества, и это настроение прорывается всегда с удвоенной энергией, при конце порывистых эпох. Будем же поэтому ожидать, что потребность человечества возвысится (хотя бы только в идее) над нищетою этого света, - выразится все с большей силой при исходе именно тех периодов, в которых "мир" праздновал, так сказать, свои триумфы и в течение которых земные интересы все поглощали! Будем ожидать, - что религиозный вопрос сделается самым жгучим именно тогда, когда человечество, достигнув самой высшей степени возможной на земле цивилизации, окинет жизнь широким и ясным взглядом и поймет при этом всю сокрушительную нищету своего состояния!" (La religion de l'avenir, par Edouard de Hartmann 1876. С. 137-139)².

Я привожу с истинным восхищением эти прекрасные слова главы пессимистического учения, несмотря на то, что я ни в чем почти остальном не могу согласиться с ним. Ни с тем, например, что это неверие в благо и улучшение жизни должно быть сопряжено с простой моралью (т.е. независимой от "страха Божия" и вообще от

какой-нибудь мистической религии; такая сухая "мещанская", *нынешняя* мораль, сознаюсь, мне просто ненавистна по причинам, объяснения которых для людей простоватых должны быть очень пространными, и потому здесь неуместны, а умные и так согласятся со мной). Я не могу сочувствовать Эд.Гартману еще и в непочтительных отзывах его о христианстве. Он находит хорошим в нем только мужественное примирение с горестями и ужасами жизни, (т.е. только тот самый *пессимизм*, о котором идет здесь речь). Не могу довольствоваться и тем *слепым*, безучастным, немолчимым, *имманентным* Богом, которого он предлагает людям взамен *нашего* Бога, Бога *личного*, "живого". *Имманентный* Бог Гартмана, это тот "ненужный" Бог, про которого еще Альфред де Мюссе сказал: *Un Dieu inutile, qui ne veut pas d'autels...**

Этот не "живой" и словно несознательный Бог был бы ниже своего сознательного творения - человека!

Гартман не верит и в *бессмертные* души... так что *его религия будущего* очень странна, убийственно скучна и потому невозможна. Без веры в награду, без страха наказания, даже без молитв и без "алтарей"!

Конечно, по отношению к земной жизни, или к "научной истине", так сказать, и такая мрачная решимость *ничего лучшего не ожидать от человечества* на земле гораздо уважительнее и правильнее - и прудоновской веры в какое-то гадкое однообразие и математическое равенство каких-то, все более и более мелких (от науки и обеспеченности) *людишек будущего*, и Боклевской наивности³, почему-то вообразившей, что дальнейшие успехи разума непременно будут усиливать *личную свободу*, и всех других *эвдемонических* (благоденственных) верований, столь распространенных в наше время, и даже господствующих до сих пор, по умственной косности прогрессистов, которые, вопреки очевидности, перебиваются двумя-тремя, уже стареющими, идеями...

Конечно, "пессимизм" Гартмана - вернее, умнее, мужественнее, в научном смысле - честнее и реальнее веры в прелести индустриально-бюргерского благодушия и в *неприкосновенность* всякой, самой гнусной европейской "личности", все ниже и ниже спускающейся в эстетическом отношении...

Разумеется, мировоззрение "пессимистическое" лучше прогрессивного, и наш Тютчев был неправ, "пугаясь" его успехов в Германии. Тютчев, утратив веру в Запад, стал верить в оригинальное сильное и новое славянство, в соединение славянской любви. Но этот *розовый* славизм, сколько бы в нем ни было искренности, "органических" бедствий и присущих жизни разочарований, изменить не может, и потому какие бы мы *союзы "любви"* этой не составляли с южными и даже западными славянами, точно так же будут войны, междоусобия, дифтерит, холера вернется, будет трус и глад, - будет, скука и ревность, и лукавство, и жадность, и неспра-

* Ненужный бог тот, который не желает веры (франц.) - Ред.

ведливость; мосты на железных путях будут проваливаться, от свечек Яблочкова будут болеть глаза, электрическое освещение *моих* внутренностей все-таки долговечности *моей* не устроит. Ведь с точки зрения *благоденствия*, какое мне дело до того что *всему человечеству* прибавится каких-нибудь пять-шесть лет *средней* продолжительности жизни? Мне нужны не эти *отвлеченные* и *никому* *собственно не принадлежащие* пять лет, мне нужны мои 50 лишних и *здоровых*! Так - чтобы мне жизнь сама уже наскучила бы!

Этого и самый "любовный" союз панславизма не даст, и ни от чего существенно-бедственного нас не избавит... И Тютчев был решительно неправ, называя учение Шопенгауэра и Гартмана - *une doctrine d'écervante!** (кажется, он так выражался?).

Напротив того, - *отрицательная* сторона этого учения, вовсе не разрушительна и не вредна.

Отвергая прямо *всеспасительность эвдемонического* прогресса, признавая зло и страдания неотразимой принадлежностью жизни, - это учение должно вести и в области общих идей и на практике к примирению *со всеми теми неудобствами государственной и общественной жизни*, против которых так глупо и так ненаучно даже борются либеральные прогрессисты; оно, это учение, своими отрицательными сторонами мирит *ум наш* и с неравенством (хотя бы и *сословным*), и с войнами, и с недугами, и с семейным деспотизмом и распрями, и с *тяглом* наших государственных обязанностей...

На почве глубоко-*расчищенной* учением *пессимизма* могла бы свободно произрастать и приносить свои прекрасные плоды какая угодно *положительная религия*; ибо на одном печальном *отрицании* всех благ - *и земных и загробных* (как предлагает Гартман), - кто же станет долго жить?

Гартман прав, ожидая что совершенное разочарование в земном *прогессе* вскоре доведет людей сызнова до полнейшего поворота к религиозному, мистическому одушевлению; но пойдут люди молиться, конечно, не к тому мертвому слепому и безличному Богу, которого он предлагает нам...

Оно дорого только как *приготовительное средство* для тех несчастных людей, которые *прямо истины Веры* *принять не в силах*!.. За пессимизмом в науке, в педагогии, в литературе последует Вера; за Верой - послушание и дисциплина; за *Верой и послушанием церкви и властям* - независимость национального духа!..

1880 г.

* Обманчивое учение, лжеучение (франц.). - Ред.

Что такое интеллигенция?

"Интеллигенция есть орган сознания общественного организма" - так в добрые, старые времена определяла значение интеллигенции так называемая органическая теория общества¹, в настоящее время окончательно опровергнутая; тем не менее мы всецело принимаем такое определение, обращая однако внимание не на его неудачную внешнюю форму, а на его глубокий внутренний смысл. История русской интеллигенции есть история русского сознания именно потому, что первая является носителем второго. Глубоко прав по существу дела был И.Аксаков, определявший интеллигенцию как "самосознующий народ" и указывавший, что интеллигенция "не есть ни сословие, ни цех (мы бы прибавили теперь: ни класс), ни корпорация, ни кружок... Это даже не собрание, а совокупность живых сил, выделяемых из себя народом"...

Интеллигенция есть орган народного сознания, интеллигенция есть совокупность живых сил народа... Мы принимаем эти определения, но в то же самое время не можем не отметить их неопределенность; эти верные, но расплывчатые формулы нуждаются в более резком отграничении и ограничении. В чем выражается народное сознание? чем сказываются живые силы народа? вот вопросы, на которые прежде всего нужно ответить; необходимо ограничить термин "интеллигенция" вполне определенными рамками, отграничить его от соседних понятий ясно проведенной линией. Иначе говоря, надо прежде всего найти основные признаки определяемого нами понятия.

Первым и главным из этих признаков является следующий: интеллигенция есть прежде всего определенная общественная группа; этот признак дает возможность установить исходный пункт предлагаемой работы и в связи с последующими признаками определить время зарождения русской интеллигенции, точку начала ее истории. Этот признак указывает на существенное различие между отдельными "интеллигентами" и интеллигенцией, как группой. Отдельные "интеллигенты" существовали всегда, интеллигенция появилась только при органическом соединении отдельных интеллигентов в цельную, единую группу. Люди, характеризуемые определенной суммой выработанных трудом знаний или определенным отношением к основным этико-социологическим вопросам, всегда существовали и всегда будут существовать, но они еще не образуют собою интеллигенции, как группы. Так, например, отдельными русскими "интеллигентами" были в XVI веке князь Курбский, Иван Грозный, Феодосий Косой, этот типичный русский анархист; в XVII веке - Матвеев, Котошихин, Хворостинин; в начале XVIII - Петр I, Татищев, Ломоносов и т.п.; однако ни в шестнадцатом, ни в семнадцатом, ни в восемнадцатом веке в России не было интеллигенции. Точно так же и в настоящее время могут быть отдельные

"интеллигенты", обладающие высокой суммой выработанных трудом знаний, но не входящие в группу интеллигенции; мы увидим ниже, что ученейший академик и профессор может не принадлежать к интеллигенции в принимаемом нами смысле этого слова; по верному замечанию Лаврова, термин "интеллигенция" отнюдь не связан с понятиями о каких бы то ни было профессиях. К группе интеллигенции может принадлежать полуграмотный крестьянин, и никакой университетский диплом не дает еще права его обладателю причислять себя к интеллигенции. Ниже мы еще остановимся на этом вопросе, а теперь проследим дальше, каковы следующие основные признаки исследуемого нами понятия.

Итак, интеллигенция есть определенная общественная группа; это условие необходимое, но еще не достаточное для характеристики понятия "интеллигенция". Подобно тому, как всегда существовали отдельные "интеллигенты", так же точно всегда существовали и тесно сплоченные группы наиболее образованных людей своего времени, объединенные или солидарностью программ, или солидарностью действий. Так, например, в России в XV веке были группы "интеллигентов" своего времени, объединенные, с одной стороны вокруг, Нила Сорского, с другой - вокруг Иосифа Волоцкого²; все религиозные разноречия последующих веков русской жизни всегда концентрировались в тех или иных группах, объединенных той или иной идеей. Таким же образом и политические разногласия дифференцировали русских людей на отдельные группы; так, например, уже с XVI века начинается ясно выраженное западническое течение в определенной группе "интеллигентов"; так, мы имеем партию приверженцев Максима Грека³; в начале XVII века видим так называемую польскую партию среди бояр⁴ (Салтыковы), далее, имеем киевскую школу⁵, наконец, в начале XVIII века видим группу шляхетства и кружок Татищева⁶. Но однако, несмотря на все это, мы не можем начать историю русской интеллигенции, как группы, ни с Нила Сорского, ни с Ломоносова, ни с Татищева, ни с Петра Могилы: все эти отдельные, разрозненные группы не связаны друг с другом тесной преемственностью - ни логической, ни хронологической; это отдельные эпизоды, крайне важные для истории русской культуры, но не имеющие отношения к истории русской интеллигенции.

Итак, вот второй основной признак интеллигенции - *преемственность*; интеллигенция есть группа преемственная, или, говоря математически, она есть функция непрерывная. Такая группа русской интеллигенции существует с середины XVIII века; с тех пор, со времен Новикова, Фонвизина и Радищева, русская интеллигенция живет уже полтора столетия; она растет, развивается, она иногда делится на подгруппы, но ее развитие - непрерывно, она как группа - преемственна. Одна общая идея (какая - мы увидим ниже) связывает эту группу в непрерывное целое; кроме того, независимо от этой общей идеи русскую интеллигенцию с середины XVIII века связывает общее действие - борьба за освобождение. Эта вековая,

эпическая борьба спаяла русскую интеллигенцию в одну массу с невероятной силой сопротивления; эта борьба закалила русскую интеллигенцию, как огонь закаливает сталь; эта борьба выковала из русской интеллигенции такое оружие, какого нет и не может быть в иных странах, у других народов.

Определив интеллигенцию как преемственную группу, мы этим самым поставили исторические пределы нашему исследованию: история русской интеллигенции ведет свое начало от группы, впервые поставившей своим девизом борьбу за народное освобождение; вторая половина XVIII века послужила только предисловием к этой истории, которую лишь XIX век развернул во всей ее широте. Изучению этой истории посвящена настоящая книга, но и не приступив к подобному изучению, мы заранее можем указать еще на два характерных признака русской интеллигенции: это ее *внесловность* и *внеклассовость*.

Эти два признака, между прочим, уже окончательно отделяют преемственную группу интеллигенции от существовавших ранее религиозных или политических общественных групп в России: все эти группы были или сословными, или классовыми.

Впервые интеллигенция XVIII века сумела отречься от классовых идеалов и тем самым, будучи сословной по составу, оказаться внесловной по намеченным целям. Группа общественных деятелей с Новиковым во главе и с Радищевым в виде эпилога, бывшая зерном русской интеллигенции, была по своему составу дворянско-землевладельческой, т.е. сословно-классовой; однако классовые, т.е. в данном случае землевладельческие, интересы приносились этой группой в жертву общему идеалу; сословные цели выбрасывались за борт мировоззрения. Будучи в это время сословной и классовой по составу, русская интеллигенция в то же время была глубоко внеклассовой и внесловной по намеченным задачам, по исповедуемым идеалам. В начале XIX века русская интеллигенция была еще более резко-сословной по составу, но в то же самое время она еще резче порывала всякие связи со своими сословными интересами; недаром 14-го декабря 1825 года родовые русские аристократы и крупные землевладельцы пытались произвести такой переворот, который прежде всего обрушился бы ударом на их же класс, на их же сословие. После 1825 года русская интеллигенция остается сословной по составу и внесловной по целям и задачам; однако с этих пор сословный состав интеллигенции становится правилом с исключениями, и притом с такими исключениями, как Полевой, Надеждин и Белинский. Правда, "ласточка одна не делает весны", но она предвещает ее; в шестидесятых годах огромной толпой "разночинец пришел", пришел и стал в первых рядах русской интеллигенции. С этих пор русская интеллигенция становится внесловной и внеклассовой не только по задачам, целям, идеалам, но и по своему составу; в это же время - и это, конечно, не случайное совпадение - возникает самый термин "интеллигенция" в современном смысле этого слова.

Интеллигенция есть *внеклассовая, внесословная, преемственная группа* - этими четырьмя формальными признаками определяется строение организма интеллигенции, обозначается граница с соседними понятиями. Но тут же надо подчеркнуть, что все эти четыре признака, вместе взятые, составляют только необходимое, но отнюдь не достаточное условие, определяющее интеллигенцию. Мы увидим несколько ниже, что существует еще одна группа, характеризующая также преемственностью, внеклассовостью и внесословностью, но в то же время диаметрально-противоположная интеллигенции; несколькими страницами ниже мы определим эту группу условным термином "мещанство", соединяя этим термином в одну преемственную группу людей вне сословий и вне классов по их этическому уровню, по отсутствию в них яркой индивидуальности, по узости и плоскости их мировоззрения. Теперь нам достаточно только в самых общих чертах указать на то, что если социологически интеллигенция есть преемственная, внесословная, внеклассовая группа, то этически она есть прежде всего группа анти-мещанская. Впервые эту мысль высказал в русской литературе Лавров; в виду того, что он же первый определили и понятие "интеллигенция", мы несколько подробнее остановимся на этом в общем вполне верном решении Лаврова.

Лавров не употребляет термина "интеллигенция", но вкладывает то же самое понятие в столь осмеянное с тех пор и столь неверно понятое выражение - "критически мыслящие личности". Принято почему-то предполагать, что "критически мыслящая личность" это - "герой", вождь толпы, деятель, творящий историю по собственному вкусу и желанию, направляющий ее ход по принципу: "car telle est notre bonne volonté"...* Ничто не может быть ошибочнее подобного понимания, так как терминология Лаврова имеет только в виду необходимость ясного ограничения и даже сужения расплывчатого термина "интеллигенция". Под интеллигенцией, вообще говоря, готовы понимать, как это мы уже указывали выше, сумму лиц, характеризующихся определенным уровнем знания: отождествляют всякого "образованного" человека с представителем интеллигенции, забывая, что никакие дипломы не сделают еще сами по себе "образованного" человека "интеллигентным". Еще чаще готовы понимать под интеллигенцией всю "цивилизованную" или всю "культурную" часть общества, в то время как культурность, подобно образованности, есть только внешний формальный признак, не определяющий внутреннее содержание. Это Лавров подчеркивал особенно настойчиво, проводя резкую демаркационную линию между культурой и цивилизацией. Мы вкратце напомним читателям эту теорию, изложенную Лавровым в его знаменитых "Исторических письмах"⁷.

Не всякий говорящий "Господи! Господи!" войдет в царство небесное; не всякий "культурный" человек войдет в группу критически

* Потому что мы так хотим (франц.). - Ред.

мыслящих личностей, т.е. в группу интеллигенции. Культура, говорит Лавров, это - "зоологический элемент в жизни человечества", и только критическая работа мысли на почве культуры обуславливает собою цивилизацию: "как только работа мысли на почве культуры обусловила общественную жизнь требованиями науки, искусства, нравственности, то культура перешла в цивилизацию, и человеческая история началась". Но многое из того, что для предыдущего поколения является результатом труда критической мысли, для последующего поколения оказывается уже привычным "зоологическим элементом"; таким образом, "часть цивилизации отцов в форме привычек и преданий составляет не что иное, как зоологический культурный элемент в жизни потомков, и над этою привычною культурой второй формации должна критически работать мысль нового поколения, чтобы общество не предалось застою, чтобы в числе унаследованных привычек и преданий оно разглядело те, которые представляют возможность дальнейшей работы мысли на пути истины, красоты и справедливости, отбросило остальное, как отжившее, и создало новую цивилизацию, как новый строй культуры, оживленный работой мысли"... И так повторяется в каждом поколении; в таком последовательном замещении культуры цивилизацией и заключается задача прогресса. "Культура общества есть среда, данная историей для работы мысли... Мысль есть единственный деятель, сообщающий человеческое достоинство общественной культуре. История мысли, обусловленной культурой, в связи с историей культуры, изменяющейся под влиянием мысли - вот вся история цивилизации"...

Конечно, нас не может удовлетворить подобное типично-рационалистическое построение, характерное для эпохи шестидесятых годов, не говоря уже о том, что устаревшая терминология Лаврова совершенно неприемлема. Однако условное понимание вышеприведенного противопоставления культуры и цивилизации приводит нас к совершенно неизбежному выводу - к невозможности отождествлять "культурного" человека с "критически мыслящей личностью": первое понятие шире второго, и далеко не всякий "культурный" и образованный человек является представителем интеллигенции. Доказывая это, Лавров подчеркивает, что ни одна наиболее "культурная" профессия не дает еще патента на "интеллигентность". "...Профессора и академики, - говорит Лавров, - сами по себе, как таковые, не имели и не имеют ни малейшего права причислять себя к "интеллигенции"... Иной автор многочисленных ученых трудов может оставаться фетишистом культурного быта, тогда как далеко выше его в этой интеллигенции стоит какой-нибудь полуграмотный ремесленник, работающий в немногие часы досуга над своим развитием... Ни многочисленные экзамены, ни официальные дипломы не дают ей (русской молодежи) еще права считать себя принадлежащей к интеллигенции, которая воплощает русскую идейную жизнь... Лишь по недоразумению можно отнести к армии интеллигенции служителей культурных фетишей"... ("Из

рукописей 90-х годов")⁸. Иначе говоря, Лавров исключает из группы критически мыслящих личностей культурных мещан, которым он дает характерное наименование "дикарей высшей культуры". Эти дикари высшей культуры образуют громадное большинство образованного общества, они встречаются всюду, на каждом шагу: "они располагают капиталами, они образуют главную долю общественного мнения, они составляют большинство в коллективных управлениях и в законодательных собраниях, они руководят немалой долей прессы, они имеют места и на кафедрах университетов, и в ученых обществах, и в академиях"... Несколько ниже, когда мы подробнее формулируем наше понимание "мещанства", мы увидим, что все предыдущее дает следующий отрицательный признак определяемого нами понятия: в группу интеллигенции не входят этические мещане. Это отрицательное определение производит отграничение и ограничение понятия интеллигенции.

В конце концов мы пришли к следующему результату: интеллигенция, определяемая социологически как внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуется этически как группа анти-мещанская. Однако и это определение оказывается недостаточным, как построенное на отрицательном признаке. Попробуем выяснить положительные признаки внутреннего содержания этого понятия. Очевидно, что здесь одних формальных признаков окажется недостаточно, ибо нет никаких формальных признаков, позволяющих отличить прогрессивное от реакционного. Здесь мы снова возвращаемся к Лаврову, так как доказательству только что сформулированной мысли посвящено девятое из "Исторических писем" Лаврова, и так как мысль эта всецело приложима к поставленной нами проблеме интеллигенции*. Мы попытаемся однако несколько ниже вскрыть содержание истории русской интеллигенции, а теперь остановимся только на формальных признаках этого содержания. Здесь мы опять встречаемся с Лавровым.

Казалось бы, что сам Лавров дал выше вполне определенную формулу, позволяющую сразу указать на вполне определенный признак, характеризующий интеллигенцию: "культурный" человек, *перерабатывающий* орудием мысли старую культуру в новую цивилизацию, является критически мыслящей личностью; таким образом, *творчество* мысли являлось бы характерным положительным признаком. Но это не так, или, вернее, не совсем так, и сам Лавров неоднократно подчеркивал, что творчество - необходимое, но не достаточное условие, характеризующее принадлежность к группе ин-

*"Если допустить, - замечает Лавров, - что прогресс заключается именно в развитии личности и в воплощении истины и справедливости в общественные формы, то вопрос... о признаках прогрессивной и реакционной партии решить уже гораздо труднее, так как внешних отличительных признаков для них вовсе не оказывается"...⁹ В другом месте Лавров указывает, что "никакое слово не имело за собой привилегии прогресса: он не втиснулся ни в одну формальную рамку. Ищите за словом его содержание. Изучайте условия данного времени и данной общественной формы".

телигенции (см. пятое из его "Исторических писем"). По совершенно верному указанию Лаврова, литература, искусство, наука - эти главные области творчества - "не заключают и не обуславливают сами по себе прогресса. Они доставляют лишь для него орудия. Они накапливают для него силы. Но лишь тот литератор, художник или ученый действительно служит прогрессу, который сделал все, что мог, для приложения сил, им приобретенных, к распространению и укреплению цивилизации своего времени; кто боролся со злом, воплощал свои художественные идеалы, научные истины, философские идеи, публицистические стремления в произведения, жившие полной жизнью его времени, и в действия, строго соответственные количеству его сил"... Иными словами: для интеллигенции характерен не акт *творчества* самого по себе, но главным образом *направление* этого творчества и *активность* в достижении; сами же по себе ни наука, ни искусство "не составляют прогрессивного процесса...; ни талант, ни знание не делают еще, сами по себе, человека двигателем прогресса"... Итак, основным положительным признаком критически мыслящих личностей является, по Лаврову, творчество новых форм и идеалов, но творчество, направленное к определенной цели и активное в достижении ее. Целью творчества является претворение исторического процесса в прогресс, который определялся Лавровым как физическое, умственное и нравственное развитие личности, при воплощении истины и справедливости в общественные формы. Согласно этому определению, критически мыслящие личности характеризуются творчеством и активным проведением в жизнь новых форм и идеалов, направленных к самоосвобождению личности.

Конечно, мы не предлагаем принять теорию Лаврова во всей ее полноте. Та вера во всемогущество критически мыслящих личностей, которая лежала в основании теории Лаврова, вера во всеислие интеллигенции представляется теперь совершенно неприемлемой; однако мы еще более далеки от того великолепного презрения, с которым еще так недавно многие относились к внеклассовой и внесловной интеллигенции, *ad maiorem gloriam** классовой идеологии, причем в презрении этом характернее всего было то, что все эти классовые идеологи в большинстве случаев сами были представителями той же внеклассовой и внесловной интеллигенции... Если допустить, что старое народничество и переоценивало значение интеллигенции, то русский ортодоксальный марксизм сводил его на нет; давно пора вернуться к правильной оценке собственных сил и собственного значения. Разумеется, это не призыв "назад к Лаврову!"; всякие подобные призывы представляются нам вполне неуместными. Лавров - давно пройденная ступень русского самосознания, но, не возвращаясь назад к нему, мы можем идти по многим направлениям вперед от него. Так следует поступить и в во-

* К большей славе (лат.). - Ред.

просе об интеллигенции; давно пора признать, и признать категорически, высокую этическую ценность и неоспоримый, хотя и не непосредственный, социологический вес за этой лучшей и высшей частью русского культурного общества. Теория всеисилия интеллигенции, конечно, не воскреснет, но это не мешает нам признать, что только во внесловной, внеклассовой (социологически) и анти-мещанской (этически) интеллигенции происходит творчество новых форм и идеалов, активно проводимых к цели физического, умственного и нравственного развития и самоосвобождения личности. И как бы ни был мал абсолютный социологический вес интеллигенции, но в ее творчестве, в ее идеалах - жизненный нерв народа, ибо интеллигенция есть действительно орган народного сознания и совокупность живых сил народа. Пусть даже социологически интеллигенция невесома, но без ее творчества, без ее идеалов всякое "культурное" общество, всякий могущественный класс обращается в толпу "мещан"...

Итак, на вопрос "что такое интеллигенция?" мы можем дать теперь следующий ответ: *интеллигенция есть этически - анти-мещанская, социологически - внесловная, внеклассовая, преемственная группа, характеризующаяся творчеством новых форм и идеалов и активным проведением их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности.*

Определение это количественно значительно суживает группу интеллигенции, но качественно значительно повышает ее ценность. Но именно это и желательно, так как чрезмерное расширение понятия "интеллигенции", внесение в нее всех людей с условной суммой знаний значительно понижало этическую ценность интеллигенции. Принцип "non multa, sed multum"* вполне приложим и к данному случаю.

Однако данное выше определение интеллигенции далеко еще не может считаться окончательным; нам надо точнее определить, в чем состоит творчество, чем характеризуется активность и что определяет собой направление работы интеллигенции. Мы увидим ниже, что творчество русской интеллигенции состояло в ее "борьбе за индивидуальность", за широту, глубину и яркость человеческого "я", что активность ее характеризовалась борьбой за личность, борьбой политической и социальной, что направление активного творчества определялось принципом "человека-цели". Вскрыть эту основу полуторастолетней исторической ткани - значит определить содержание истории русской интеллигенции, что и составит нашу ближайшую задачу.

1907 г.

* Не много, но многое (лат.). - Ред.

Грядущий хам

I.

"Мещанство победит и должно победить", пишет Герцен в 1864 г. в статье "Концы и начала". - "Да, любезный друг, пора придти к спокойному и смиренному сознанию, что *мещанство - окончательная форма западной цивилизации*"¹.

Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по выражению Достоевского, "две родины: наша Русь и Европа". Может быть, он сам не знал, кого любить больше - Россию или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, и что народ может освободиться окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг всечеловеческой жизни. "Всечеловечество", которое у Пушкина было эстетическим созерцанием, у Герцена, первого из русских людей, становится жизненным действием, подвигом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался вечным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один работник, во время революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.

Ежели такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда он произносит свой приговор: "я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего", когда утверждает, что в дверях старого мира - "не Катилина, а смерть", и на лбу его цicerоновское: "vixitum!"*, то можно не принимать этого приговора, - я лично его не принимаю, - но нельзя не признать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.

В подтверждение своих мыслей о неминуемой победе мещанства в Европе Герцен ссылается на одного из благороднейших представителей европейской культуры, на одного из ее "рыцарей без страха и упрека", на Дж.Ст.Милля.

"Мещанство, - говорит Герцен, - это та самодержавная толпа *сплоченной посредственности* (conglomerated mediocrity) Ст.Милля, которая всем владеет, - толпа без невежества, но и без образования... Милль видит, что все около него пошлет, мельчает; с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты... Он вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном

* Отжил (лат.). - Ред.

мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается Китаем, - мы к этому прибавим: *и не одна Англия*".

"Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как? Этого я не знаю, да и Милль не знает". "Где та могучая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, довести душу до судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений, и твердым шагом идет на плаху, на костер? Посмотрите кругом, - что в состоянии поднять народы?"

"Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменной гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... С такой сплывающей церковью, с такой ручной революцией - западный мир стал отстаиваться, уравниваться"².

"Везде, где людские муравейники и ульи достигали относительного удовлетворения и уравнивания, - движение вперед делалось тише и тише, пока, наконец, не наступала последняя тишина Китая".

По следам "азиатских народов, вышедших из истории", вся Европа "тихим, невозмущаемым шагом" идет к этой последней тишине благополучного муравейника, к "мещанской кристаллизации" - китаизации.

Герцен соглашается с Миллем: "Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то, несмотря на свои благородные antecedенты и свое христианство, Европа сделается Китаем".

"Подумай, - заключает Герцен письмо неизвестному русскому, - кажется, всему русскому народу, - подумай, и у тебя волос станет дыбом".

Ни Милль, ни Герцен не видели последней причины этого духовного мещанства. "Мы вовсе не врачи! Мы - боль", - предупреждает Герцен. И действительно, во всех этих пророчествах, - не только для Милля, но отчасти и для Герцена, пророчествах на собственную голову, - нет никакого вывода, знания, а есть лишь крик неизвестной боли, неизвестного ужаса. Причины мещанства Герцен и Милль не могли видеть, как человек не может видеть лицо свое без зеркала. То, чем они страдают и чего боятся в других, находится не только в других, но и в них самих, в последних непереступаемых и даже невидимых для них пределах их собственного религиозного, вернее, антирелигиозного, сознания.

Последний предел всей современной европейской культуры - позитивизм, или, по терминологии Герцена, "научный реализм", как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии,

позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно-реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначальной, непроницаемой для человека среды явлений, *середины*, посредственности, той абсолютной, совершенно-плотной, как Китайская стена, "сплоченной посредственности", *conglomerated mediocrity*, того абсолютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея последней метафизической глубины того, что говорят.

В Европе позитивизм только делается, - в Китае он уже сделался религией. Духовная основа Китая, учение Лао-Цзы и Конфуция - совершенный позитивизм, религия без Бога, "религия земная, безнебесная", как выражается Герцен о европейском научном реализме. Никаких тайн, никаких углублений и порываний к "мирам иным". Все просто, все плоско. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир - все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля - все, и нет ничего, кроме земли. Небо - не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. Земля и небо не *будут едино*, как утверждает христианство, а *суть едино*. Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо. Серединное царство - царство вечной середины, вечной посредственности, абсолютного мещанства - "царство не Божие, а человеческое", как определяет опять-таки Герцен общественный идеал позитивизма. Китайскому поклонению предкам золотому веку в прошлом соответствует европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки наши увидят рай земной, земное небо, - утверждает религия прогресса. И в поклонении предкам, и в поклонении потомкам одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо, личность безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству - "паюсной икре, сжатой из мириад мещанской мелкоты", грядущему вселенскому полипняку и муравейнику. Отрекаясь от Бога, от абсолютной Божественной Личности, человек неминуемо отрекается от своей собственной человеческой личности. Отказываясь, ради чечевичной похлебки умеренной сытости, от своего божественного голода и божественного первородства, человек неминуемо впадает в абсолютное мещанство.

Китайцы - совершенные желтолицые позитивисты; европейцы - пока еще несовершенные белолицые китайцы. В этом смысле американцы совершеннее европейцев. Тут крайний Запад сходится с крайним Востоком.

Для Герцена и Милля то столкновение Китая с Европою, которое начинается, но, вероятно, не кончится на наших глазах, имело бы особенно вещий, грозный смысл. Китай довел до совершенства

позитивное созерцание, но позитивного действия, всей прикладной технической стороны положительного знания не доставало Китаю. Япония, не только военный, но и культурный авангард Востока, взяла у европейцев эту техническую сторону цивилизации и сразу сделалась для них непобедимой. Пока Европа противопоставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побеждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварством. Но когда сравнивались пушки, то и культуры сравнивались. Оказалось, что у Европы ничего и не было, кроме пушек, чем бы она могла показать свое культурное превосходство над варварами. Христианство? Но "христианство обмелело"; оно еще имеет некоторое довольно, впрочем, сомнительное значение для внутренней европейской политики; но когда современному христианству, переезжая за границу Европы, приходится обменивать свои кредитные билеты на чистое золото, то за них никто ничего не дает. Да и в самой Европе бесстыднейшие стыдятся говорить о христианстве, по поводу таких серьезных вещей, как война. Некогда источник великой силы, христианство сделалось теперь источником великой немощи, самоубийственной непоследовательности, противоречивости всей западно-европейской культуры. Христианство - эти старые семитические дрожжи в арийской крови - и есть именно то, что не дает ей устояться окончательно, мешает последней "кристаллизации", китаизации Европы. Кажется, позитивизм белой расы навеки попорчен, "подмочен" "метафизическим и теологическим периодом". Позитивизм желтой расы вообще и японской в частности - это свеженькое яичко, только что снесенное желтой монгольской курочкой от белого арийского петушка - ничем не попорчен: каким он был за два, за три тысячелетия, таким и остался, таким навсегда останется. Позитивизм европейский все еще слишком умственный, то есть поверхностный, так сказать, кожный; желтые люди - позитивисты до мозга костей. И культурное наследие веков - китайская метафизика, теология - не ослабляет, а усиливает этот естественный физиологический дар.

Кто верен своей физиологии, тот и последователен, кто последователен, тот и силен, а кто силен, тот и побеждает. Япония победила Россию. Китай победит Европу, если только в ней самой не совершится великий духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние метафизические основы ее культуры и позволит противопоставить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного Запада, а кое-что более реальное, более истинное.

Вот где главная "желтая опасность" - не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Европу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но под белой кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а все более жидкая, "желтая" кровь, похожая на монгольскую сукровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, суживаться. И прямой белый свет европейского дня становится косым "желтым" светом китайского заходящего или

японского восходящего солнца. В настоящее время японцы кажутся переодетыми обезьянами европейцев; кто знает, может быть, со временем европейцы и даже американцы будут казаться переодетыми обезьянами японцев и китайцев, неисправимыми идеалистами, романтиками старого мира, которые только притворяются господами нового мира, позитивистами. Может быть, война желтой расы с белой - только недоразумение: свои своих не узнали. Когда же узнают, то война окончится миром, и это будет уже "мир всего мира", последняя тишина и покой небесный. Небесная империя, Серединное царство по всей земле от Востока до Запада, окончательная "кристаллизация", всечеловеческий улей и муравейник, сплошная, облепляющая шар земной, "паюсная икра" мещанства, и даже не мещанства, а хамства, потому что достигшее своих пределов и воцарившееся мещанство есть хамство.

- Подумай, - можно заключить эти мысли так же, как некогда заключил Герцен, - подумай, и у тебя волос станет дыбом.

У Герцена были две надежды на спасение Европы от Китая.

Первая, более слабая - на социальный переворот. Герцен ставил дилемму так:

"Если народ сломится, - новый Китай неминуем. Но если народ сломит, - неминуем *социальный переворот*".

Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало мещанской культуры? Какой новой верой, источником нового благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой личности против безличного муравейника?

Сам Герцен утверждает:

"За большинством, теперь господствующим (то есть за большинством капиталистического мещанства), стоит *еще большее* большинство кандидатов на него (то есть пролетариата), для которых нравы, понятия образ жизни мещанства - единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет другого пути спасения и *весь пройдет мещанством*, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие".

Но если народ "весь пройдет мещанством", то, спрашивается, куда же он выйдет? Или из настоящего несовершенного мещанства - в будущее совершенное, из неблагополучного капиталистического муравейника - в благополучный социалистический, из черного железного века Европы - в "желтый" золотой век и вечность Китая? У голодного пролетария и у сытого мещанина разные экономические выгоды, но метафизика и религия одинаковые - метафизика умеренного здравого смысла, религия умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия с третьим, экономически реальная, столь же не реальна метафизически и религиозно, как война желтой расы с белой; и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обоих случаях одно и то же недоразумение: за внешней, времен-

ной войной - внутренний вечный мир.

Итак, на вопрос, чем народ победит мещанство, у Герцена нет никакого ответа. Правда, он мог бы позаимствовать ответ у своего друга, анархиста Бакунина, мог бы перейти от социализма к анархизму. Социализм желает заменить один общественный порядок другим, власть меньшинства - властью большинства; анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть во имя абсолютной свободы, абсолютной личности, - этого начала всех начал и конца всех концов. Мещанство, непобедимое для социализма, *кажется* (хотя только до поры, до времени, до новых, еще более крайних выводов, которых, впрочем, ни Герцен, ни Бакунин не предвидели) победимым для анархизма. Сила и слабость социализма, как религии, в том, что он предопределяет будущее социальное творчество и тем самым невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства, неизбежное метафизическое следствие позитивизма, как религии, на котором и сам он, социализм, построен. Сила и слабость анархизма в том, что он не предопределяет никакого социального творчества, не связывает себя никакой ответственностью за будущее перед прошлым, и с исторической мели мещанства выплывает в открытое море неизведанных исторических глубин, где предстоит ему или окончательное крушение, или открытие нового неба и новой земли. "Мы должны разрушать, только разрушать, не думая о творчестве, - творить не наше дело", - проповедует Бакунин. Но тут уже кончается сознательный позитивизм и начинается скрытая, бессознательная *мистика*, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика. Когда Бакунин в "Dieu et l'état"³ полагает свой "антитеологизм", вернее, *антитеизм* теоретической основой безвластия, - он касается слишком опасных пределов отрицания, где минус на минус, отрицание на отрицание легко дает неожиданный плюс, нечаянное утверждение какой-то обратной, бессознательной религии. Бакунинский "абсолютно свободный человек" слишком похож на фантастического "сверхчеловека", не-человека, чтобы со спокойным сердцем мог его принять Герцен, который боится всякой мистики больше всего, *даже больше самого мещанства*, не сознавая, что этот суеверный страх мистики уже имеет в себе нечто мистическое. Как бы то ни было, правоверный социалист Герцен отшатнулся от впавшего в ересь анархиста Бакунина.

В конце жизни Герцен потерял или почти потерял надежду на социальный переворот в Европе, кажется, впрочем, потому, что перестал верить не столько в его возможность, сколько в спасительность.

Тогда-то загорелся последний свет в надвигавшейся тьме, последняя надежда в наступавшем отчаянии, - надежда на Россию, на русскую сельскую общину, которая будто бы спасет Европу.

II.

Ежели Герцен был Мефистофелем Бакунина в разоблачении бессознательной мистики анархического "подполья", то Бакунин, в свою очередь, оказался Мефистофелем Герцена в разоблачении столь же бессознательной мистики русской общины, как спасительницы Европы.

"Вы все готовы простить, - писал Бакунин Огареву и Герцену с Исихи в 1866 году, - пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалось неприкосновенным ваше *мистическое святая святых* - великорусская община, от которой мистически, не рассердитесь за обидное, но верное слово, вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам; вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в *китайской неподвижности* со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжение десяти веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, но простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену, его систематичная притеснительность к тем членам, в которых проявляются притязания на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки - вот, во всецелости ее настоящего характера, великорусская крестьянская община"⁴.

Что мог бы правоверный Герцен ответить еретику Бакунину на эту анафему? Ничего позитивного, а разве только мистическое: *credo, quia absurdum**, так же, впрочем, как и Бакунин ничего не мог бы ответить Герцену по вопросу об "анти-теологическом", но все-таки слишком теологическом основании анархизма, этого непонятного с точки зрения позитивной, то есть *относительной, абсолютного* освобождения *абсолютной* личности. В том-то и дело, что у обоих, у Герцена и Бакунина, были такие предельные выводы, дойдя до которых, они должны были, глядя друг другу в глаза, рассмеяться, как авгуры. Но они хотели быть не авгурами, жрецами старых богов, а пророками новых, и потому избегали смотреть друг другу в глаза. Каждый, чтобы не смеяться над самим собой, смеялся над своим противником; но во время этого взаимного смеха царапали кошки на сердце обоих.

Почему, в самом деле, общинное владение муравейником должно избавить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?

*Верую, ибо абсурдно (лат.). - Ред.

Когда Герцен бежал из России в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материального - в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю - в старую "китайскую неподвижность" России. В обоих случаях - из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый или новый? *Оба хуже*, как отвечают дети. Герцен это знал, но не хотел знать. И когда бежал из одного Китая в другой, то от себя самого бежал, метался в последнем ужасе последнего сознания, что уже не во что верить ни в Европе, ни в России.

"- Помилуйте, к чему же после этого вся история?" - спрашивает он себя в одном из своих безнадежных гамлетовских монологов.

"- Да и все на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю".

Но ведь это Кайнов ответ. Ведь это байроновская *Darkness*, последняя "тьма", предел отчаяния, на какое только способна душа человеческая. Ведь ежели вся история - бессмыслица, то не из-за чего было и огород городить - бороться с мещанством, деспотизмом, реакцией: будь, что будет, все равно, весь мир - "дьяволов водевил"; и, обращаясь ко всему миру, остается воскликнуть, как в 1840 году, после революции, восклицает Герцен, обращаясь к старой Европе:

"Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!"

Или, что еще хуже: да здравствует мещанство!

"Христианство обмелело", утверждает Герцен. Если обмелело, значит, когда-то было глубоким. Почему же не исследует он эту глубину христианства? Не потому ли, что позитивный лот, пригодный для мели христианства, не хватает до дна в глубоких местах?

Вместе с христианством, добавляет Герцен, "обмелела и революция". Если они обмелели вместе, не значит ли это, что мель у них общая и общая глубина. Мель - позитивная - абсолютное мещанство человека без Бога; глубина религиозная - абсолютное благородство человека в Боге. Сам Герцен признает связь революционных идей с религиозными, понимает, что "декларация прав человеческих" не могла бы явиться до и без христианства.

"Революция, - говорит он, - так же как реформация, стоят на церковном погосте. Вольтер, благословивший Франклинова внука, "во имя Бога и свободы", - такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин, только разных толков. Лунный холодный отсвет католицизма (то есть одной из величайших попыток вселенского христианства) прошел всеми судьбами революции. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое искупление разрешено политическим освобождением. Символ веры Никейского собора выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенского собора, то есть конвента 1792 года. Нравственность евангелиста Матфея - та же самая, которую проповедует деист Ж.Ж.Руссо. Вера, любовь и надежда - при входе; свобода, братство и равенство - при выходе"⁵.

Если так, то, казалось бы, прежде чем произносить смертный

приговор европейской культуре и бежать от нее к русскому варварству, в отчаянии последнего безверия, следовало подумать, нельзя ли эти два обмелевшие начала всемирной культуры - религию и общественность - как-нибудь сдвинуть с их общей позитивной мели в их общую религиозную глубину. Почему же Герцен об этом не думает? Кажется, все потому же: религиозных глубин боится он еще больше, чем позитивных мелей; ему мерещится в глубине всякой мистики свирепое чудовище реакции, своего рода апокалипсический зверь, выходящий из бездны.

За осторожного Герцена подумал и ответил неосторожный Бакунин, который свел социологическую дилемму Герцена к дилемме теологической или "антитеологической":

"Dieu est, donc l'homme est esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu. - Je défie qui que ce soit de sortir de ce cercle et maintenant choisissez".

"Бог есть, значит, человек - раб. Человек свободен, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем".

"Религия человечества, - заключает Бакунин, - должна быть основана на развалинах религии Божества"⁶.

Вольтер утверждал: если нет Бога, надо его изобрести. Бакунин утверждает как раз противоположное: если есть Бог, надо Его упразднить. Это напоминает слово чёрта Ивану Карамазову:

"Надо разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело. Раз человечество отречется поголовно от Бога, то наступит все новое".

В 1869 году, на Бернском конгрессе лиги Мира и Свободы, Бакунин предложил принять в основу социалистической программы отрицание всех религий и признание, что "бытие Бога несогласно со счастьем, достоинством, разумом, правдивностью и свободой людей".

Когда большинство отвергло эту резолюцию, Бакунин с некоторыми членами из меньшинства образовал новый союз, Alliance Socialiste⁷, первый параграф коего гласил: "Союз объявляет себя безбожным" (athée).

Этот яростный "антитеологизм" есть уже не только отрицание религии, но и *религия отрицания*, какая-то новая религия без Бога, полная не менее фанатической ревностью, чем старые религии с Богом. Тургенев удивился, услышав о выходе Бакунина на Бернском конгрессе. "Что с ним случилось! - спрашивал у всех Тургенев. - Ведь он всегда был верующим, даже Герцена бранил за атеизм. Что же с ним такое случилось?"

Понятно, для чего нужно чёрту уничтожить в людях идею о Боге: на то он и чёрт, чтобы ненавидеть Бога. Но М.А.Бакунин, несмотря на всю свою антитеологическую ярость, - не чёрт, а простой человек, да к тому же еще религиозный. Что же с ним, в самом деле, случилось? Отчего он вдруг возненавидел имя Божие и, как одержимый, начал богохульствовать?

"Если есть Бог, то человек - раб", утверждает Бакунин. Почему? Потому что "свобода есть отрицание всякой власти, а Бог есть власть". Это положение Бакунина считает аксиомой. И действительно, это было бы аксиомой, если бы не было Христа. Христос открыл людям, что Бог - не власть, а любовь, не внешняя сила власти, а внутренняя сила любви. Любящий не желает рабства любимому. Между любящим и любимым нет иной власти, кроме любви; но власть любви уже не власть, а свобода.

Совершенная любовь - совершенная свобода. Бог - совершенная любовь и, следовательно, совершенная свобода. Когда Сын говорит Отцу: *не Моя, а Твоя да будет воля* - это не послушание рабства, а свобода любви. Нарушить волю Отца Сын не потому не хочет, что не может, а потому не может, что не хочет.

Дилемме Бакунина, утверждающей Бога ненависти и рабства, т.е., в сущности, не Бога, а дьявола, можно противопоставить другую дилемму, утверждающую истинного Бога, Бога любви и свободы:

"Бог есть, - значит, человек свободен; человек - раб, значит, нет Бога. Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем".

Все верующие в Бога всегда были рабами, - согласился бы Герцен с Бакуниным. Но идею о Боге, идею высшего метафизического порядка нельзя подчинять опыту низшего исторического порядка. Да и полно, все ли верующие в Бога были рабами? А Иаков, боровшийся с Богом, а Иов, роптавший на Бога, а израильские пророки, а христианские мученики?

Бакунин и Герцен, желая бороться с метафизической идеей о Боге, на самом деле, борются только с историческими призраками, искажающими преломлениями этой идеи в туманах политических низин; борются не с именем Божиим, а с теми богохульствами, которыми "князь мира сего", вечный политик, старается закрыть от людей самое святое и страшное для него, дьявола, из всех имен Божьих: *Свобода*.

Конечно, величайшее преступление истории, как бы второе распятие, уже не Богочеловека, а богочеловечества, заключается в том, что на кресте, знамении божественной свободы, распяли свободу человеческую. Но неужели Бакунин и Герцен решились бы утверждать, что в этом преступлении участвовал сам Распятый, что Христос желал людям рабства? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит ответ Христа дьяволу, который предлагает Ему власть над всеми царствами мира сего: *ибо она принадлежит мне*, - говорит дьявол, - *и я кому хочу, даю ее*. Ежели Тот, Кто сказал: *Мне принадлежит всякая власть на земле и на небе*, - отверг всякую государственную власть как принадлежащую дьяволу, то не значит ли это, что между истинной внутренней властью любви, свободой Христовой, и внешней ложной властью, рабством, - такая же разница, как между царством Божиим и царством дьявола? Неужели Бакунин и Герцен никогда не думали о том, что значит и это

слово Христа: *Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными.* Ежели для них это не сдержанное, то, может быть, на самом деле, это только не понятое, не вмещенное слово: *Вы теперь не можете вместить; когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.* И на ту последнюю истину любви, которая сделает людей свободными.

В первом царстве - Отца, Ветхом завете, открылась власть Божия, как истина; во втором царстве - Сына, Новом завете, открывается истина, как любовь; в третьем и последнем царстве - Духа, в Грядущем завете, откроется любовь, как свобода. И в этом последнем царстве произнесено и услышано будет последнее, никем еще не произнесенное и не услышанное имя Господа Грядущего: Освободитель.

Но здесь мы уже сходим не только с *этого* берега, на котором стоит европейская культура, со своим мещанством прошлого и настоящего, - но и с *того берега*, на котором стоит Герцен перед мещанством будущего; мы выплываем в открытый океан, в котором исчезают все берега, в океан грядущего христианства, как одного из трех откровений всеединого Откровения Троицы.

Трагедия Герцена - в раздвоении: сознанием своим он отвергал, - бессознательно искал Бога. Сознанием своим так же, как в бакунинской дилемме, из принятой посылки: человек свободен, - делал вывод: значит, нет Бога; бессознательно чувствовал неотразимость обратной дилеммы: если нет Бога, то нет и свободы. Но сказать: нет свободы, - для Герцена было все равно, что сказать: нет смысла в жизни, не для чего жить, не за что умереть. И действительно, он жил для того и умер за то, во что уже почти не верил.

Это - не первый пророк и мученик нового, а последний боец, умирающий гладиатор старого мира, старого Рима.

Ликует буйный Рим... торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена, -
А он, пронзенный в грудь, безмолвно он лежит.
Во прахе и крови скользят его колена.

Зверь, с которым борется этот гладиатор, - мещанство будущего. Подобно своим предкам, северным варварам, он вышел на борьбу, голый, без щита и оружия. А другой зверь, "тысячеголовая гидра, паюсная икра" мещанства прошлого и настоящего, глядит на юного скифа со ступеней древнего амфитеатра.

И кровь его течет - последние мгновенья
Мелькают - близок час... Вот луч воображенья
Сверкнул в его душе...

Предсмертное видение Герцена - Россия, как "свободной жизни край", и русская крестьянская община, как спасение мира. Старую любовь свою он принял за новую веру, но, кажется, в последнюю

минуту понял, что и эта последняя вера - обман. Если, впрочем, обманула вера, то любовь не обманула; в любви его к России было какое-то истинное прозрение: не крестьянская община, а *христианская общественность*, может быть, в самом деле, будет новой верой, которую принесут юные варвары старому Риму.

А пока умирающий все-таки умирает - без всякой веры:

...Прости, развратный Рим! Прости, о, край родной!

В судьбе Герцена, этого величайшего русского интеллигента, предсказан вопрос, от которого зависит судьба всей русской интеллигенции: поймет ли она, что лишь в грядущем христианстве заключена сила, способная победить мещанство и хамство грядущее? Если поймет, то будет первым исповедником и мучеником нового мира; а если нет, то, подобно Герцену, - только последним бойцом старого мира, умирающим гладиатором.

III.

Когда будут говорить: мир, мир - тогда внезапно нападет на них пагуба. Это пророчество никогда не казалось ближе к исполнению, чем в наши дни.

В то самое время, когда Запад в лице России заключает мир с Востоком, и все народы повторяют: мир, мир, - происходит воинственное свидание в Свинемюнде. Два просвещеннейшие народа сошлись только для того, чтобы показать друг другу бронированные кулаки. Точно два хищных зверя подкрались друг к другу, сдвинули морды, рыча и скаля зубы, обнюхались, оцетинились, готовые броситься, чтобы растерзать друг друга, и, пятясь, молча разошлись.

Это не реальное событие, а идеальное знамение современной европейской культуры. Внешняя политика только циническое обнаружение внутренней. "По плодам узнаете их". Плод внутреннего, духовного мещанства - внешнее международное зверство - милитаризм, шовинизм.

И у древней римской волчицы были острые зубы, была кровавая хищность в политике. Но когда дело доходило до некоторых общих идей - до *Рах готана**, идеи вселенского мира и Вечного Града, воплощения вечного разума, - Рим останавливался и благоговейно склонял свои *fascēs***, значки легионов с победоносными орлами, перед этими нерушимыми святынями. И в самую глухую ночь средневекового варварства, среди феодальной междоусобицы, народы прекращали войны и слагали оружие, по мановению кроткого старца, римского первосвященника, который напоминал им завет Христа: *да будет един пастирь и едино стадо.*

* Римский мир, империя (лат.). - Ред.

** Фасции (знаки достоинства римских магистратов; склонить перед кем-нибудь фасции - форма отдания чести) (лат.). - Ред.

Теперь уже - ни римской веси, ни римской церкви. Никакой общей идеи, никакой общей святости. Над "христианскими" государствами, этими старыми готическими лавочками, все еще возвышается кое-где полусгнивший деревянный протестантский, или ржавый медный католический крест; но никто уже не обращает на них внимания. Религия современной Европы - не христианство, а мещанство. От благоразумного сытого мещанства до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и народ народу - волк. От взаимного пожирания удерживает только взаимный страх, узда слишком слабая для рассвирепевших зверей. Не сегодня, так завтра они бросятся друг на друга, и начнется небывалая бойня.

У одного французского писателя Вилье-де-Лилль-Адапа есть фантастический рассказ о двух соседних городах, населенных честными добрыми мещанами и лавочниками: поссорившись из-за какого-то вздора, город идет войной на город, и, несмотря на трусость или вследствие этой трусости, лавочники истребляют лавочников так, что от всей благополучной мещанской культуры остаются лишь рожки да ножи.

Международная политика современной Европы напоминает по-лику этих трусливых и свирепых лавочников.

Когда взглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне судьбы Европы, - вспоминаются предсказания Милля и Герцена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали в истории изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджиа. Теперь уже не изверги, а люди как люди. Вместо скипетра - аршин, вместо Библии - счетная книга, вместо алтаря - прилавок. Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении лиц! Смотришь и "дивишься удивлением великим", как сказано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные лакеи Смердяковы, эти торжествующие хамы?

Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Европе страшные успехи.

Все благородство культуры, уйдя из области общественной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких великих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и все еще самый юный из юных - старец Гёте. Среди плоской равнины мещанства эти бездонные артезианские колодцы человеческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной землей еще хранятся живые воды. Но нужен геологический переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли вырваться наружу и затопить равнину, снести муравьиные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. А пока - мертвая засуха.

И даже великие отшельники европейского гения, только что, выходя из круга личной культуры, касаются общности, - теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, истончаются, как степные реки в песках.

Когда Гёте говорит о французской революции, он вдруг никнет к земле, точно по какому-то злому волшебству великан сплюсцива-

ется, сморщивается в карлика, из эллиптического полубога становится немецким бургером и - да простит мне тень Олимпийца - немецким филологом, "господином фон-Гёте", тайным советником Веймарского герцога и честным сыном честного франкфуртского лавочника. Когда Флобер утверждает: *la politique est faite pour la saignée**, - с грустью вспоминаешь салон принцессы Матильды и другие разлолоченные хлевы второй империи, где метал этот Симеон-столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою новую олигархию из "ученых мандаринов". Когда Ницше делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодержцу, как величайшим проявлениям "воли к могуществу", *Wille zur Macht* среди современной европейской немощи - то и на бледном челе "распятого Диониса" выступает то же черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому что откровеннее всех, кажется, Ибсен, который свое отношение к общественности выразил двумя словами: *враг народа*.

А друзья народа, такие гениальные вожди демократии, как Ласаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, не только не предупреждают практически, но и теоретически не предвидят той опасности "нового Китая", "духовного мещанства", которых так боялись Герцен и Милль.

И в ответ социалистам звучит страшная песня новых троглодитов:

Viva le son, vive le son
De l'explosion! **

Анархизм - последняя судорога уже не общественного, а личного бунта против нестерпимого гнета государственного мещанства.

Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим провалом европейской общественности, измеряли такие певцы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездонной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают.

Но тут невольно, с последним отчаянием или с последней надеждой, наш взор, так же как предсмертный взор "сраженного гладиатора", Герцена, обращается от одной из "двух наших родин" к другой, от Европы к России, от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герцена этот "свет с Востока" было возрождение "крестьянской общины", для нас это - возрождение христианской общественности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное Европой, победит ли Россия?

* Политика - занятие для сброда (франц.). - Ред.

** Да здравствует звук, да здравствует звук взрыва! (франц.). - Ред.

IV.

"Русская интеллигенция - лучшая в мире", объявил недавно Горький.

Я этого не скажу, не потому, чтобы я этого не желал и не думал, а просто потому, что совестно хвалить себя. Ведь и я, и Горький, оба мы - русские интеллигенты. И следовательно, не нам утверждать, что русский интеллигент наилучший из всех возможных интеллигентов в наилучшем из всех возможных миров. Такой оптимизм опасен, особенно по нынешним временам в России, когда всяк кулик свое болото хвалит. Нет, уже лучше по другой пословице: кого люблю, того и быю. Оно больнее, зато здоровее. Итак, я не берусь решить, что такое русская интеллигенция, чудо ли она или чудовище, - я только знаю, что это, в самом деле, нечто единственное в современной европейской культуре.

Мещанство захватило в Европе общественность; от него спасаются отдельные личности в благородство высшей культуры. В России - наоборот: отдельных личностей не ограждает от мещанства низкий уровень нашей культуры; зато наша общественность вся насквозь благородна.

"В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, *ничего мещанского*".

Ежели прибавить: не в нашей личной, а в нашей общественной жизни, - то эти слова Герцена, сказанные полвека назад, и поныне останутся верными.

Русская общественность - вся насквозь благородна, потому что вся насквозь трагична. Существо трагедии противоположно существованию идиллии. Источник всякого мещанства - идиллическое благополучие, хотя бы и дурного вкуса, "сон золотой", хотя бы и сусального китайского золота. Трагедия, подлинное железо гвоздей распинаящих - источник всякого благородства, той алой крови, которая всех этой крови причащающихся делает "родом царственным". Жизнь русской интеллигенции - сплошное неблагополучие, сплошная трагедия.

Кажется, нет в мире положения более безвыходного, чем то, в котором очутилась русская интеллигенция, - положение между двумя гнетами: гнетом сверху, самодержавного строя, и гнетом снизу, темной народной стихии, не столько ненавидящей, сколько не понимающей, - но иногда непонимание хуже всякой ненависти. Между этими двумя страшными гнетами русская общественность мелется, как чистая пшеница Господня, - даст Бог, перемелется, мука будет, мука для того хлеба, которым, наконец, утолится великий голод народный: а пока все-таки участь русского интеллигента, участь зерна пшеничного - быть раздавленным, размолотым - участь трагическая. Тут уж не до мещанства, не до жиру, быть бы живу!

Вглядитесь: какое на самом деле ни на что не похожее общество, какие странные лица.

Вот молодой человек, "бедно одетый, с тонкими чертами лица", убийца старухи-процентщицы, подражатель Наполеона, недоучившийся студент, Родион Раскольников. Вот студент медицины, который потрошит своим скальпелем и скепсисом живых лягушек, мертвых философов, проповедует *Stoff und Kraft** с такой же разбойничьей удалью, как ребята Стеньки Разина покрикивали некогда: *сарынь на кичку!* - нигилист Базаров. Вот опростившийся барин-философ, пашущий землю, Николай Левин. Вот стыдливый как девушка послушник, "краснощечкий реалист", "ранний человеколюбец", Алеша Карамазов. И брат его Иван - ранний человеконенавистник, Иван - "глубокая совесть". И, наконец, самый необычайный из всех, "человек из подполья", с губами, искривленными как будто вечной судорогой злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру, "Иоанновой", с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский.

За ними другие, безыменные, - лица еще более строго классического благородства, точно из мрамора изваянные, образы новых Гармодиев и Аристогитонов, Сен-Жюстов и Камиль Демулэнов, гневные херувимы народных бурь. И девушки - как чистые весталки, как новые Юдифи, идущие в стан Олоферна, с молитвой в сердце и с мечом в руках.

А в самой темной глубине, среди громов и молний нашего Сияния, 14 декабря - уже почти нечеловеческие облики первых пророков и праотцев русской свободы, - изваяния уже не из мрамора, а из гранита, не того ли самого, чью глыбу попирает Медный Всадник?

Это все, что угодно, только не менцане. Пусть бы осмелился Флобер утверждать в их присутствии: *la politique est faite pour la canaille***. Он скорее бы сделался сам, - чем сделал бы их чернюю. Для них политика - страсть, хмель, "огонь поедающий", на котором воля, как сталь, раскаляется добела. Это ни в каких народных легендах не прославленные герои, ни в каких церковных святцах не записанные мученики - но подлинные герои, подлинные мученики.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

Когда совершится "великое дело любви", когда закончится освободительное движение, которое они начали и продолжают, - только тогда Россия поймет, что эти люди сделали и чего они стоили.

Что же это за небывалое, единственное в мире общество, или со-

* Материя и сила (нем.). - Ред.

** Политика занятие для сброды (франц.). - Ред.

словие, или каста, или вера, или заговор? Это не каста, не вера, не заговор, - это все вместе в одном, это - русская интеллигенция.

Откуда она явилась? Кто ее создал? Тот же, кто создал или, вернее, родил всю новую Россию, - Петр.

Я уже раз говорил и вновь повторяю и настаиваю: *первый русский интеллигент - Петр*. Он отпечатлел, отчеканил, как на бронзе монеты, лицо свое на крови и плоти русской интеллигенции. Единственные законные наследники, дети Петровы - все мы, русские интеллигенты. Он - в нас, мы - в нем. Кто любит Петра, тот и нас любит; кто его ненавидит, тот ненавидит и нас.

Что такое Петр? Чудо или чудовище? Я опять-таки решать не берусь. Он слишком родной мне, слишком часть меня самого, чтобы я мог судить о нем беспристрастно. Я только знаю - другого Петра не будет, он у России один; и русская интеллигенция у нее одна, другой не будет. И пока в России жив Петр Великий, жива и великая русская интеллигенция.

Мы каждый день погибает. У нас много врагов, мало друзей. Велика опасность, грозящая нам, но велика и надежда наша: с нами Петр.

Среди всех печальных и страшных явлений, которые за последнее время приходится переживать русскому обществу, - самое печальное и страшное - та дикая травля русской интеллигенции, которая происходит, к счастью пока только в темных и глухих подпольях русской печати.

Нужна ли для России русская интеллигенция? Вопрос так нелеп, что, кажется иногда, отвечать не стоит. Кто же сами вопрошающие, как не интеллигенты? Сомневаясь в праве русской интеллигенции на существование, они сомневаются в своем собственном праве на существование, - может быть, впрочем, и хорошо делают, потому что слишком ничтожна степень их "интеллигентности". Поистине, есть в этой травле что-то самоубийственное, граничащее с буйным помешательством, для которого нужны не доводы разума, а смиренная рубашка. Бывают, впрочем, такие минуты, когда самому разуму ничего не остается делать, как надевать эту смиренную рубашку на буйство безумных.

Среди нечленораздельных воплей и ругательств можно разобрать одно только обвинение, имеющее некоторое слабое подобие разумности, - обвинение русской интеллигенции в "беспочвенности", оторванности от знаменитых "трех основ", трех китов народной жизни⁸.

Тут, пожалуй, не только "беспочвенность", готовы мы согласиться, тут *бездна*, та самая "бездна", над которой Медный Всадник Россию "вздернул на дыбы", - всю Россию, а не одну лишь русскую интеллигенцию. Пусть же ее обвинители скажут прямо: Петр - не русский человек. Но в таком случае, мы, "беспочвенные" интеллигенты, предпочтем остаться с Петром и Пушкиным, который любил Петра как самого родного из родных, нежели с теми, для кого Петр и Пушкин чужие.

"Страшно свободен духом русский человек", - говорит Достоевский, указывая на Петра. В этой-то страшной свободе духа, в этой способности внезапно отрываться от почвы, от быта, истории, сжигать все свои корабли, ломать, все свое прошлое во имя неизвестного будущего, - в этой произвольной *беспочвенности* и заключается одна из глубочайших особенностей русского духа. Нас очень трудно сдвинуть; но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле в истине, и лжи, в мудрости и безумии, до крайности. "Все мы, русские, любим по краям и пропастям блуждать", - еще в XVII веке жаловался наш первый славянофил, Крижанич. Особенности, может быть, очень опасная, но что же делать? Быть самими собою не всегда безопасно. Отречься от все - значит сделаться не только "беспочвенным", но и безличным, бездарным. Это похоже на парадокс, но иногда кажется, что наши "почвенники", самобытники, националисты, гораздо менее русские люди, чем наши нигилисты, отрицатели, наши интеллигентные "бегуны" и "нетовцы". Самоотрицание, самоожожение - ничто нигде, кроме России, невообразимое, невозможное. Между протопопом Аввакумом, готовым сжечься и жечь других за старую веру, и анархистом Бакуниным, предлагавшим, во время Дрезденской революции⁹, выставить на стенах осажденного города Сикстинскую Мадонну для защиты от прусских бомб, - пруссаки-де народ образованный, стрелять по Рафаэлю не посмеют, - между этими двумя русскими *крайностями* - гораздо больше сходного, чем это кажется с первого взгляда.

Пушкин сравнивал Петра с Робеспьером и в петровском преобразовании видел "революцию сверху", "белый террор". В самом деле, Петр не только первый русский интеллигент, но и первый русский нигилист. Когда "протодиакон всешутейшего собора" кощунствует над величайшими народными святынями, это нигилизм гораздо более смелый и опасный, чем нигилизм Писарева, когда он разносит Пушкина.

Русские крестьяне-духоборы, очутившиеся где-то на краю света, в Канаде, распустившие домашний скот и сами запрягшиеся в плуги, из милосердия к животным, это ли не "беспочвенность"? И вместе с тем это ли не русские люди? "Духоборчество", чрезмерная духовность, отвлеченность, рационализм, доходящий до своих предельных выводов, до края "бездны", сказавшийся в нашем простонародном сектантстве, сказывается и в нашей интеллигенции. Нигилист Базаров говорит: "умру, лопух вырастет". Нил Сорский завещает не хоронить себя, а бросить где-нибудь в поле, как "мертвого пса": в обоих случаях, несмотря на разницу в выводах, одна и та же бессознательная метафизика - аскетическое презрение духа к плоти. Интеллигентная "беспочвенность", отвлеченный идеализм есть один из последних, но очень жизненных отпрысков народного аскетизма.

Беда русской интеллигенции не в том, что она не достаточно, а скорее в том, что она *слишком русская*, только русская. Когда Достоевский в глубине русского искал "всечеловеческого", всемир-

ного, он чуял и хотел предупредить эту опасность.

"Беспочвенность" - черта подлинно русская, но, разумеется, тут еще не вся Россия. Это только одна из противоположных крайностей, которые так удивительно совмещаются в России. Рядом с интеллигентами и народными рационалистами-духоборами есть интеллигентные и народные хлысты-мистики.

Рядом с чересчур трезвыми есть чересчур пьяные. Кроме равнинной, вширь идущей, несколько унылой и серой, дневной России Писарева и Чернышевского:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -

есть вершинная и подземная, ввысь и вглубь идущая, тайная, звездная, ночная Россия Достоевского и Лермонтова:

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит...

Какая из этих двух России подлинная? Обе одинаково подлинные.

Их разъединение дошло в настоящем до последних пределов. *Как соединить их*, - вот великий вопрос будущего.

VI.

Второе обвинение, связанное с обвинением в "беспочвенности", - "безбожие" русской интеллигенции.

Едва ли простая случайность то, что это обвинение в безбожии исходит почти всегда от людей, о которых сказано: *устами чтут Меня, но сердце их далеко отстоит от Меня*.

О русской интеллигенции иногда хочется сказать обратное: устами не чтут Меня; но сердце их не далеко отстоит от Меня.

Вера и сознание веры не одно и то же. Не все, кто думает верить, - верит; и не все, кто думает не верить, - не верит. У русской интеллигенции нет еще религиозного сознания, исповедания, но есть уже великая и все возрастающая религиозная жажда. *Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся*.

Существуют многие противоположные, не только положительные, но и отрицательные пути к Богу. Богоборчество Иакова, ропот Иова, неверие Фомы - все это подлинные пути к Богу.

Пусть русские интеллигенты - "мытари и грешники", последние из последних. "Мытари и грешники идут в царствие Божие впереди" тех фарисеев и книжников, которые "взяли ключ разумения, сами не входят и других не пускают". "Последние будут первыми".

Иногда кажется, что самый атеизм русской интеллигенции - какой-то особенный, мистический атеизм. Тут у нее такое же, как у Бакунина, отрицание религии, переходящее в религию отрицания;

такое же, как у Герцена, трагическое раздвоение ума и сердца: ум отвергает, сердце ищет Бога.

Для великого наполнения нужна великая пустота. "Безбожие" русской интеллигенции не есть ли это пустота глубокого сосуда, который ждет наполнения?

"Было же тут шесть каменных водоносов. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, тогда зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе".

Надежда наша в том, что наша Капа Галилейская впереди: водоносы наши стоят еще пустые; мы пьем вино худшее, а хорошее Архитриклион сберег доселе.

Достоевский, вспомнив как-то лет через тридцать один из своих разговоров с Белинским, восклицает с таким негодованием, как будто разговор происходил только вчера: "Этот человек ругал при мне Христа".

И делает неистовый вывод:

"Белинский - самое тупое и смрадное явление русской жизни". Тут какое-то страшное недоразумение. Страшно то, что Белинский мог ругать Христа. Но, может быть, еще страшнее то, что на основании этих ругательств Достоевский через *тридцать лет* мог произнести такой приговор над Белинским, не поняв, что если этот человек, как свеча сгоревший перед *Кем-то*, Кого так и не узнал, не сумел назвать по имени, - и не был с Христом, то Христос был с ним. *Всякая хула на Сына Человеческого простится людям*. Когда Белинский восстал на Гоголя, за то, что в "Переписке с друзьями" Гоголь пытался освятить рабство именем Христовым, то Белинский, Христа "ругавший", был, конечно, ближе к Нему, нежели Гоголь, Христа исповедавший.

О русской интеллигенции иногда можно сказать то же, что о Белинском: она еще не с Христом, но уже с ней Христос.

Не следует, конечно, на этом успокаиваться: Он стоит у дверей и стучит; но если мы не услышим и не отворим, - Он уйдет к другим.

VII.

"Безбожие" русской интеллигенции зависит от религиозного недостатка не во всем ее существе, а только в некоторой части его, - не в чувстве, совести, воле, а в сознании, в уме, *intellectus'e*, т.е. именно в том, что интеллигенцию и делает интеллигенцией.

Может быть, самое слово это не совсем точно совпадает с объемом понятия. Сила русской интеллигенции - не в *intellectus'e*, не в уме, а в сердце и совести. Сердце и совесть ее почти всегда на правом пути; ум часто блуждает. Сердце и совесть свободны, ум связан. Сердце и совесть бесстрашны и "радикальны", ум робок и в самом радикализме консервативен, подражателен. При избытке обще-

ственных чувств - недостаток *общих идей*. Все эти русские нигилисты, материалисты, марксисты, идеалисты, реалисты - только волны мертвой зыби, идущей с Немецкого моря в Балтийское.

Что ему книга последняя скажет,
То ему на душу сверху и ляжет.

Взять хотя бы наших марксистов. Нет никакого сомнения, что это - превосходнейшие люди. И народ любят они, конечно, не меньше народников. Но когда говорят о "железном законе экономической необходимости", то кажутся свирепыми жрецами Маркса-Молоха, которому готовы принести в жертву весь русский народ. И договорились до чёртиков. Не только другим, но и сами себе опротивели. И, наконец, взяв своего Маркса, своего боженьку за ноженьку - да и об пол бряк. Или по другой поговорке: плохого бога и телята лижут - бернштейновские телята оплошавшего Маркса лижут.

Тянулась, тянулась канитель марксистская, а потом потянула босяцкая.

Сначала мы думали, что босяки-то уж, по крайней мере, самобытное явление. Но когда пригляделись и прислушались, то оказалось, что так же точно, как русские марксисты повторяли немца Маркса, и русские босяки повторяли немца Ницше. Одну половину Ницше взяли босяки, другую наши декаденты - оргиасты. Не успел еще скрыться Пляши-Нога, как поклонники нового Диониса запели: "выше поднимайте ваши дифирамбические ноги!" (Вяч.Иванов. "Религия Диониса" в "Вопросах Жизни"). Одного немца пополам разрезали и хватило на два русских "новых слова".

Глядя на все эти невинные уместившие игры рядом с глубочайшей нравственной и общественной трагедией, иногда хочется воскликнуть с невольной досадой: золотые сердца, глиняные головы!

А эстетика деревянная. "Сапоги выше Шекспира" - этого, конечно, теперь уже никто не скажет словом, но это застряло где-то в извилинах нашей физиологии, и нет-нет, да и скажется "дурным глазом" относительно всякой внешней эстетической формы, как бесполезной роскоши. Не то, чтобы мы утверждали прямо: красивое безнравственно, но мы слишком легко примираемся с этим противоречием. Если наша этика - "Шекспир", то эстетика наша иногда, действительно, немногим выше "сапогов". Во всяком случае, писаревское "разрушение эстетики", к сожалению, глубоко национально. Это - в русской, великорусской природе: серенькое небо, серенькие будни -

Ельник, сосны да песок.

И здесь, в уме, intellectus интеллигенции нашей, как в сердце и

воле, тот же народный уклон к аскетизму, к духовоборчеству, монашеский страх плоти и крови, страх всякой наготы и красоты, как соблазна бесовского. Отсюда - при отношении истинно религиозном к свободе внешней, общественной - неуважение ко внутренней, личной свободе, отсюда же у радикальнейших из наших радикалов - нетерпимость раскольников, уставщиков, взаимное подглядывание, как бы кто не оскормился, не осквернился мирской скверной. И беспоповцы-реалисты, и поповцы-идеалисты, и федосеевцы-марксисты, и молокане-народники, - каждое согласие, каждый толк есть из собственной чашки, пьет из особого "лампадного стаканчика", не сообщаясь с еретиками. И у всех - одинаковый пост, отвлеченное рационалистическое сухоедение. "Мяса не вкушаем, вина не пьем".

Говорят, преподобный Серафим Саровский питался долгие годы какой-то болотной травой сниткой. Все эти реализмы, идеализмы, монизмы, плюрализмы, эмпириокритицизмы и другие засушенные "измы", которыми доныне питается русская интеллигенция, напоминают траву снитку.

От умственного голода лица стали унылы, унылы и бледны, и постны. Все чеховские "хмурые люди". В сердцах уже солнце восходит, а в мыслях все еще "сумерки"; в сердцах огонь пламенеющий, а в мыслях стынущая теплота, тепленькая водичка, подогретая немецкая *Habersuppe**; в сердцах буйная молодость, а в мыслях смиренное старчество.

Иногда, глядя на этих молодых стариков, интеллигентных аскетов и постников, хочется воскликнуть:

- Милые русские юноши! Вы благородны, честны, искренни. Вы - надежда наша, вы - спасение и будущность России. Отчего же лица ваши так печальны, взоры потуплены долу? Развеселитесь, усмехнитесь, поднимите ваши головы, посмотрите чёрту прямо в глаза. Не бойтесь глупого старого чёрта политической реакции, который все еще мерещится вам то в языческой эстетике, то в христианской мистике. Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь - рабства и худшего из всех рабств - мещанства и худшего из всех мещанств - хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть чёрт - уже не старый, фантастический, а новый, реальный чёрт, действительно страшный, страшнее, чем его малюют, - грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам.

*Жидкая овсяная каша (нем.). - Ред.

VIII.

"Наша борьба не против крови и плоти, а против властей и начальств, против мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных".

Мироправитель тьмы века сего и есть грядущий на царство мещанин, Грядущий Хам.

У этого Хама в России - три лица.

Первое, настоящее - над нами, лицо самодержавия, мертвый позитивизм казенщины, китайская стена табели о рангах, отделяющая русский народ от русской интеллигенции и русской церкви.

Второе лицо прошлое - рядом с нами, лицо православия, воздающего кесарю Божие, той церкви, о которой Достоевский сказал, что она в "параличе". "Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи", жаловался один русский архипастырь XVIII века, и то же самое с еще большим правом могли бы сказать современные архипастыри. Духовное рабство - в самом источнике всякой свободы; духовное мещанство - в самом источнике всякого благородства. Мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной.

Третье лицо будущее - под нами, лицо хамства, идущего снизу - хулиганства, босячества, черной сотни - самое страшное из всех трех лиц.

Эти три начала духовного мещанства соединились против трех начал духовного благородства: против земли, народа - живой плоти, против церкви - живой души, против интеллигенции - живого духа России.

Для того, чтобы в свою очередь три начала духовного благородства и свободы могли соединиться против трех начал духовного рабства и хамства - нужна *общая идея*, которая соединила бы интеллигенцию, церковь и народов; а такую общую идею может дать только возрождение религиозное вместе с возрождением общественным. Ни религия без общественности, ни общественность без религии, а только *религиозная общественность* спасет Россию.

И прежде всего должно пробудиться религиозно-общественное сознание там, где есть уже сознательная общественность и бессознательная религиозность, - в русской интеллигенции, которая не только по имени, но и по существу своему должна сделаться *интеллигенцией*, то есть воплощенным intellectus'ом, разумом, сознанием России. Разум, доведенный до конца своего, приходит к идее о Боге. Интеллигенция, доведенная до конца своего, придет к религии.

Это кажется невероятным. Но не даром освободительное движение России началось в религии. Не даром такие люди, как Новиков, Карамзин, Чаадаев, как масоны, мартинисты и другие мистики конца XVIII начала XIX века находятся в самой тесной внутренней связи с декабристами. *Это было и это будет.* Религиозным огнем

крестилась русская общественность в младенчестве своем, и та же огонь сойдет на нее в пору ее возмужалости, вспыхнет на челе ее, как бы "разделяющийся язык огненный" в новом сошествии Духа Св. на живой дух России, на русскую интеллигенцию. Потому-то, может быть, и оказалась она в полной темноте религиозного сознания, в своем "безбожии", что совершила полный круговой оборот от света к свету, от солнца закатного к солнцу восходному, от Первого Пришествия ко Второму. Это ведь и есть путь не только русской интеллигенции, но и всей России от Христа Пришедшего ко Христу Грядущему.

И когда это совершится, тогда русская интеллигенция уже перестанет быть интеллигенцией, *только интеллигенцией*, человеческим, только человеческим разумом, - тогда она сделается Разумом Богочеловеческим, Логосом России, как члена вселенского тела Христова, новой истинной Церкви, - уже не временной, поместной, греко-российской, а вечной, вселенской Церкви Грядущего Господа, Церкви св.Софии, Премудрости Божией, Церкви Троицы нераздельной и неслиянной, - царства не только Отца и Сына, но Отца, Сына и Духа Св.

"Сие и буди, буди!"

А для того, чтобы это было, надо разорвать кощунственный союз религии с реакцией, надо, чтобы люди, наконец, поняли, что значит это слово Слова, ставшего Плотию:

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Иоанна XIII, 36).

Не против Христа, а с Христом - к свободе. Христос освободит мир - и никто, кроме Христа. С Христом - против рабства, мещанства и хамства.

Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос.

1906 г.

Об интеллигенции*

I.

Это были скверные годы, эти годы торжества победителей¹. Но в сущности самое страшное из того, что было (было и еще не прошло), не в самих победителях воплощалось. Много хуже были те, которые шли в хвосте победителей. Но безмерно хуже для души были вчерашние "друзья" и полу-друзья - морализирующие, или злорадствующие, или смакующие, или в кулак хихикающие.

Не меньшеиковщина была мрачным кошмаром последних лет, а веховщина. Газета, толстый журнал, сборник, речь, комнатный разговор - все пахло веховщиной. Вы могли отмывать руки дегтярным мылом, но запах этот преследовал вас даже ночью.

В эти годы не любили Салтыкова². Это не простой вопрос изменчивых литературных вкусов, а нравственная характеристика эпохи. Не любили, потому что боялись. Образы негодяя - "властителя дум современности", торжествующей свиньи и "либерала применительно к подлости" - были невыносимы для эпохи, которая меньшеиковщину дополняла веховщиной.

Когда г.Милюков, улучив момент крайнего упадка общественных настроений, заявил в "Речи"³, что отныне он окончательно сбрасывает со своей спины "осла", он (г.Милюков, разумеется) лишь формулировал этим способом сущность того процесса, который одновременно происходил во всех слоях и группах интеллигенции, - не только на кадетском Олимпе. Леонид Андреев и Бальмонт, Мережковский и Шаляпин, - и Чуковские, и Галичи, и Жилкины, и Поссе, Энгельгардты и Минские, - все так или иначе сбрасывали со спины какого-нибудь "осленка" былых своих увлечений, симпатий и надежд.

А за ними следом шли многие, тысячи, безыменные. Разными путями и перепутьями - через необузданный индивидуализм, аристократический скептицизм, постельный анархизм, мерещковщину и безыдейное сатирическое зубоскальство - все устремились к "культуре". Всем осточертел старый интеллигентский аскетизм, - захотелось чистого белья и ванной комнаты при квартире. И тоску по чистому белью Галич называл религией.

Появилась какая-то особая порода журналистов, которые талан-

* Настоящая статья написана была в тоне вызова тому национально-кружковому мессианизму интеллигентских кофейен, от которого даже на большом расстоянии (Петербург, Москва - Вена) становилось невмогуту. Статья долго лежала в портфеле "Киевской Мысли": редакция не решалась печатать. Начинаясь политическое оживление 1912 г. оживило атмосферу, и статья увидела свет, правда, с жестокими сокращениями. В этом своем урезанном виде она печатается и здесь (Примеч. автора).

та не имели, идей не имели и иметь не хотели, зато, обернувшись к прошлому, умели высунуть язык. Вспоминаешь, сколько раз за эти долгие три года приходилось, читая статьи, писанные собиральным Изгоевым, говорить себе: "Что ж... подождем... Нужно уметь ждать"...

Но стало ясно: если мы обречены были пережить позор веховского пленения общественной мысли, так это потому, что интеллигенция осталась на открытой сцене одна - со своими газетами, журналами, альманахами, сатириконами, литературными кабачками и со своей слабостью, - снова одна, после того, как должна была убедиться, физическими глазами своими увидеть, что настоящая, подлинная и несомненная история делается не ею, а какими-то другими, большими силами... Стало ясно, как непадежны те источники нравственной устойчивости, которые интеллигенция может найти в себе самой...

Но такова уж ироническая натура истории: именно в этот период почти всеобщего самоотречения и отступления с постов, кастовое самомнение интеллигенции достигло высшего напряжения. Никогда она не занимала так много места, и притом в самых различных лагерях: от октябризма до марксизма; никогда ею так много не занимались, и никогда сама она не занималась так много собою, как в последние годы. Никогда она не доходила до такого самоупоения, такой самовлюбленности и притязательности. Она обшарила себя с ног до головы, и решительно нет ни одного жеста, ни одной складки в душе, которые она автобиографически не запечатлела бы с самовлюбленной тщательностью. Религия - это я! Культура - это я! Прошедшее, настоящее и будущее - это я!

На этой мании величия г.Иванов-Разумник построил, как известно, целую философию истории⁴. Русская интеллигенция, как несловная, неклассовая, чисто-идейная, священным пламенем пламенеющая группа, оказывается у него главной пружиной исторического развития; она ведет великую тяжбу с "этическим мещанством", завоевывает новые духовные миры, которые частично, в розницу, ассимилируются мещанством, - она ни на чем не успокаивается и со странническим посохом в руках идет все дальше и дальше - к мирам иным. И это самодовлеющее шествие интеллигенции и образует русскую историю... по Иванову-Разумнику. А г.Мережковский обещал даже, что русская интеллигенция, заручившись религиозным догматом, спасет все пять частей света от грядущего хамства⁵. И ему верили. Где корни этого самозванного мессианизма? Где причины поразительной живучести этого интеллигентского высокомерия? Что это: отблеск высшего призвания, или просто национальная черта - хлестаковщина? Нет, это только идеологическое отражение рокового проклятия старой русской истории: каратаевщины, это только дополнение к смиренности Алеши Горшка.

Ведь если г.Иванову-Разумнику удалось всю историю нашей общественной мысли с некоторой внешней убедительностью представить как самодовлеющую историю интеллигенции, то тут не только фальсификация истории. Разумеется, фальсификация, и притом

чудовищная. Но в том-то и дело, что в этой фальсификации находит свое отражение некоторый большой и трагический факт, тяготеющий над всем развитием нашей общественности. Имя этому факту - отсталость, бедность, культурный пауперизм.

II.

Что мы всесторонне бедны накопленной тысячелетней бедностью, этого нет нужды доказывать. История вытряхнула нас из своего рукава в суровых условиях и рассеяла тонким слоем по большой равнине. Никто не предлагал нам другого местожительства: пришлось тянуть лямку на отведенном участке. Азиатские нашествия - с востока, беспощадное давление более богатой Европы - с запада, поглощение государственным левиафаном чрезмерной доли народного труда, - все это не только обездоливало трудовые массы, но и иссушало источники питания господствующих классов. Отсюда медленный рост их, еле заметное отложение "культурных" наслоений над целиною социального варварства. Гнет дворянства и клерикализма русский народ чувствовал на себе никак не менее тяжело, чем народы Запада. Но того сложного и законченного быта, который вырастал в Европе на основе сословного господства, готических кружев феодализма, этого у нас не вышло, ибо не хватило жизненных материалов - просто не по карману пришлось. Мы - нация бедная. Тысячу лет жили в низеньком бревенчатом здании, где щели мохом законопачены, - ко двору ли тут мечтать о стрельчатых арках и готических вышках?

Какое жалкое, историей обделенное дворянство наше! Где его замки? Где его турниры? Крестовые походы, оруженосцы, менестрели, пажы? Любовь рыцарская? Ничего нет, хоть шаром покати. Вот разве только что обидевшиеся из-за места Мстиславские и Трубецкие спускались под стол... Только и хватало на это сословно-рыцарской чести.

Наша дворянская бюрократия отражала на себе всю историческую мизерию нашего дворянства. Где ее великие силы и имена? На самых вершинах своих она не шла дальше третьестепенных подражаний - под герцога Альбу, под Кольбера, Тюрго, Меттерниха, под Бисмарка.

Переберите одну за другой все стороны культуры: всюду то же. Бедный Чаадаев тосковал по католицизму, как по законченной религиозной культуре, которая сумела сосредоточить в своих недрах огромные умственные и нравственные силы. Задним числом он видел в католицизме великий путь человеческого развития и чувствовал себя сиротливо на проселочной дороге никонианства. Католическая Европа проделала реформацию - могущественное движение, легшее рубежом между средневековой и новой историей. Против феодально-бытового автоматизма католической церкви восстала вылупившаяся из феодальной скорлупы бюргерски-человеческая личность, стремившаяся к установлению более интимных отноше-

ний между собою и своим богом. Это была колоссального значения революция духа, подготовка нового типа человеческого, - в начале XVI века! Что может наша история хоть приблизительно противопоставить реформации? Никона, что ли?

А как разительно различие культурных типов, если проследить его на истории городов! Средневековый город Европы был каменной колыбелью третьего сословия. Там вся новая эпоха подготавливалась. В цехах, гильдиях, муниципалитетах, университетах с их собраниями, избраниями, процессиями, празднествами, диспутами сложились драгоценные навыки самоуправления и выросла человеческая личность, - конечно, буржуазная, но личность, а не морда, на которой любой будочник мог горох молотить... Когда третьему сословию стало тесно в старых корпорациях, ему оставалось только зародившиеся там новые отношения перенести на государство в целом. А наши - не то что "средневековые", а хотя бы дореформенные - города? Это не ремесленно-торговые центры, а какие-то военно-дворянские наросты на теле всероссийской деревни. Роль их паразитическая. Помещики, челядь, солдаты, чиновники... Вместо самоуправления - Сквозник-Дмухановский или граф Растопчин. При Петре Салтыков советовал переименовать купеческие чины, т.е. тех самых, кого Сквозник величал архиплутами и протобестиями, в баронов, патрициев и бургграфов. Патриций Колупаев и Бургграф Разуваев! Такого рода бюрократический маскарад у нас в разных областях практиковался, но социальной нищеты нашей он собою не прикрывал и не скрывал. Цехи были у нас при Петре насаждены полицейским путем, но из полицейских цехов не выросло ремесленно-городской культуры. В этом характере до-капиталистических русских городов коренится нищета наших буржуазно-демократических традиций, дополняющая примитивность традиций сословных.

Бедная страна - Россия, бедная история наша, если оглянуться назад. Социальную безличность, рабство духа, не поднявшегося над стадностью, славянофилы хотели увековечить, как "кротость", и "смирение", лучшие цветы души славянской. Хозяйственную примитивность страны народники хотели сделать источником социальных чудес. Наконец, перед той же самой общественно-политической убогостью ползают на брюхе новоявленные субъективисты, когда историю превращают в апофеоз интеллигенции.

С XVIII столетия (да и ранее того) вся наша история развертывается под возрастающим давлением Запада. Быстрее всего "европеизация" происходит в двух сферах, все более враждебных одна другой, но одинаково "надстроечных", равно удаленных от экономически-бытовых глубин народной жизни: во-первых, в материальной технике государства, где западное давление было максимальным, а сила самобытного сопротивления - минимальной; и, во-вторых, в сознании нового, европейским же давлением созданного слоя: интеллигенции. Несравненно медленнее проникали новые влияния в национальные толпы, где царил мрак, как на дне океана, несмотря на то, что поверхность водная уже отражала

лучи восходящего солнца... Интеллигенция была национальным щупальцем, продвинутым в европейскую культуру. Государство нуждается в ней и боится ее: сперва дает ей насильственную выучку, а затем держит над ее головой высоко занесенный арапник. Со времени Екатерины II интеллигенция становится во все более и более враждебное отношение к государству, к привилегированным сословиям, вообще к имущим классам. Какая под этим социальная подоплека, мы знаем: бедность, грубость и безобразия аракчеевской государственности и хлыновской общественности.

- Я в тебе эту черту не люблю, уж извини, - говорят у Островского купцу Хлынову.

- Да-с, какую эту черту, позвольте спросить?

- Свинства твоего.

Да и как полюбить свинство человеку, который разумом приобщился чего-то высшего? А между тем, все ярче и нестерпимее должна была выступать самобытная "черта" в свете новых европейских понятий, обобщений, идеалов. Оттого те молодые элементы старых сословий, которые переставали жить одной растительной жизнью и вступали в солнечную зону европейской идеологии, так неотразимо и почти без внутренней борьбы отрывались от сословности и наследственного "благоверия". Измеряя духовную пропасть, отделяющую их новое сознание от полузоологического быта отцов, они преисполнялись идейного высокомерия. Но это высокомерие было только оборотной стороной их социальной слабости.

Культура связывает, ограничивает, культура консервативна - и чем она богаче, тем консервативнее. Каждая новая большая идея, пробиваясь сквозь толщу старой культуры, встречала в Европе и мертвую силу сопротивления старой законченной идеологии и, живой отпор организованных интересов. В борьбе с сопротивлениями новая идея развивала большую силу напора, захватывала широкие круги и в конце концов побеждала, как знамя новых классов или слоев, отвоевывающих себе место под солнцем. Подчиняя себе мятежную идею, новые классы тем самым социально связывали и ограничивали ее, лишая ее абсолютного значения. Но под знаменем этой "ограниченной" идеи общественное развитие в целом делало большой шаг вперед. Именно в силу своего органического происхождения новая идея приобретала большую социальную устойчивость и, победив, сама становилась консервативной силой.

К нам же новая идея являлась "с того берега", как готовый продукт чужой идейной эволюции, как законченная формула, - вот как кораллы, которые где-то в океане, силою какого-то естественного процесса, медленно отлагались, а женщины получили их готовыми - в виде украшений на шею. Про первые эпохи заимствований нечего и говорить. Псевдоклассицизм, романтизм, сентиментализм, которые означали на Западе целые эпохи и классы, глубокие исторические перетасовки и переживания, у нас превратились в этапы формально-литературной эволюции дворянских питерских и московских кружков. Но и позже, когда идеи перестали быть коралло-

выми украшениями, а стали для интеллигенции пружинами действий, иногда героически-самоотверженных, - и в эту более зрелую эпоху наша историческая бедность создала колоссальное несоответствие между идейными предпосылками и общественными результатами интеллигентских усилий. Вбивать часами гвозди в стенку стало как бы историческим призванием русской интеллигенции.

Чтобы не пьянствовать и не резаться в карты в сытой и пьяной среде "мертвых душ", нужен был какой-нибудь большой идейный интерес, который, как магнит, стягивал бы к себе все нравственные силы и держал их в постоянном напряжении. Чтоб не брать взятки и не искательствовать среди искателей и мздоимцев, нужно было иметь какие-то свои глубокие принципы, отрывавшие человека от среды и делавшие его отщепенцем: нужно было быть карбонарием или, по меньшей мере, фармазоном. Чтоб жениться не по тятенькину приказу, нужно было стать материалистом и дарвинистом, то есть крепко-накрепко уразуметь, что человек происходит от обезьяны, и поэтому тятенька в восходящей лестнице родословия примыкает к обезьяне ближе, чем сын. Протянуть руку к римскому праву или к ланцету означало - в принципе - протянуть ее к запрещенной литературе и прийти к несокрушимому убеждению, что без политической свободы тупым и ржавым куском железа окажется ланцет. Чтоб бороться за конституцию, интеллигенции понадобился идеал социализма. Наконец, ей пришлось заняться обесценением всяких "преходящих" политических ценностей перед верховным трибуналом "Долга" и "Красоты", - только для того, чтобы... облегчить себе примирение с режимом 3-го июня⁶.

И вот это-то убийственное несоответствие между идеологией и житейски-общественной практикой, это кричащее свидетельство о бедности являлось для интеллигенции, наоборот, источником необузданного высокомерия.

- Смотрите, - говорят, - какой мы народ: особенный, избранный, "антимещанский", грядущего града взыскующий... То есть народ-то наш, собственно, если до конца договаривать, - дикарь; рук не моет и ковшей не полощет, да зато уж интеллигенция за него распялась, всю тоску по правде в себе сосредоточила, не живет, а горит - полтора столетия подряд... Интеллигенция замещает партии, классы, народ. Интеллигенция переживает культурные эпохи - за народ. Интеллигенция выбирает пути развития - для народа. Где же происходит вся эта титаническая работа? Да в воображении той же самой интеллигенции!

III.

Словная культура, от которой старый русский "интеллигент" отрекался, была первобытна и внутренне неспособна покорить себе пробуждающееся индивидуальное сознание, - и он легко, почти без борьбы освобождался от нее под влиянием идей, рожденных другой, более высокой и ценной культурой. Оборвавшись от бытовых основ,

сословный осколок становился отщепенцем и потому чувствовал себя абсолютно "свободным" в выборе путей и средств. С прошлым было покончено, будущее казалось большой белой доской. Отсюда беспредельный субъективный радикализм наших кающихся дворян и восставших семинаристов, отсюда же их интеллигентская мания величия. Версиров у Достоевского вместе с Герценом смотрит на Европу с полупрезрительной тоскою. "Там, - говорит он, - консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живет не для себя, а для мысли... вот уж почти столетие, как Россия (т.е. ее интеллигентская кучка! - Л.Т.) живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!" "Европа создала, - говорит тот же Версиров, - благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен..."

Версиров не видит, что он, не в пример европейскому консерватору или петролейщику, был "свободен" не только от привязи сословных традиций, но и от всяких возможностей социального творчества. Та самая безличная среда, которая давала ему субъективную свободу, тут же предстала перед ним, как объективная преграда.

Конечно, в Европе, с ее культурной упорядоченностью, с ее уменьшенной определенностью, приходится ходить по асфальту, по шоссе, вообще, где указано. Абсолютной "свободы" там не найдешь. Линии поведения партий и вождей в основных своих чертах predetermined объективным положением вещей. То ли дело у нас, где господин интеллигент ничем не связан - в духе своем. "Они" в Европе связаны планами, правилами, курсбухами, программами классовых интересов, а я в своей социальной степи абсолютно свободен. Но вот чудо: сделал абсолютно свободный русский интеллигент три шага и - позорнейшим образом заблудился меж трех сосен. И снова идет он на выучку в Европу, берет оттуда последние идеи и слова, снова восстает против их обусловленного, ограниченного, "западного" значения, приспосабливает их к своей абсолютной "свободе", т.е. опустошает их, и возвращается к точке отправления, описав 80.000 верст вокруг себя. Словом: твердит зады и врет за двух.

"Ты меня отрицаешь, - говорит наша варварская общественность вознесшемуся в царство "свободы" дворянину интеллигенту или взбунтовавшемуся поповичу, - а я тебя отрицаю. Видишь, какая я рыхлая, тестовидная, бесформенная, - тебе не за что зацепиться во мне. Духовно связать тебя и дисциплинировать я не могу, это правда: тут твоя "свобода". Но и в скульптурный материал для лепки твоих идеалов я тоже не гожусь. Ты сам по себе, я сама по себе. Делай свою историю в одиночку!"

Есть у нас люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела
Да и гуляет без дела.

Ничего другого ведь версировская "свобода" и не означала, как

свободу мысли - гулять без дела. И эта "свобода" - ею в абсолютнейшей мере обладал, напр., народоволец Морозов, когда разгадывал в Шлиссельбурге загадки Апокалипсиса?, - эта "свобода" проклятием тяготеет над всей историей русской интеллигенции.

* *
*

Мало того, что слово не переходило в дело - "моя мысль и мое слово были моим делом", - могла бы о себе сказать русская интеллигенция: "их завещаю потомству!" - но в самом царстве мысли мировой русская интеллигенция была ведь только приёмышем: жила на всем готовом, но своего ничего не внесла. Пред ней всегда оказывался огромный выбор готовых литературных школ, философских систем, научных доктрин, политических программ. В любой европейской библиотеке она могла наблюдать свой духовный рост в тысяче зеркал: больших, малых, круглых, квадратных, плоских, вогнутых, выпуклых... Это приучало ее к самонаблюдению, изощряло интуицию, гибкость, восприимчивость, чуткость, женственные черты психики, но в корне подрезывало физическую силу мысли. Одна эта постоянная возможность получить сразу и легко, почти без усилий, "идею" вместе с ее готовой критикой и вместе с критикой этой критики не могла не парализовать самостоятельное теоретическое творчество. "Наши умы, - превосходно сказал Чаадаев о русской интеллигенции, - не бороздятся неизгладимыми следами последовательного движения идей, потому что мы заимствуем идеи уже развитые". Отсюда ужасающая идейная чреполосица, постоянные теоретические недоразумения, неожиданнейшая философская отсебятина. "В наших лучших головах, - писал тот же Чаадаев, - есть что-то большее, чем неосновательность". Тургенев утверждал, что у русского человека не только шапка, но мозги набекрень. Сам Чаадаев пал жертвой своей тоски по последовательности, которая - увы! - и у него оказалась чем-то худшим, чем неосновательность.

Раздражение охватывает, когда глядишь на самодовольно-почтительных историков и портретистов нашей интеллигенции. У нас значит полуторастолетняя интеллигенция, бескорыстнейшая, насквозь идейная, живущая "для мысли", "для Европы", - а что мы дали миру в области философии или общественной науки? Ничего, круглый нуль! Попытайтесь назвать какое-нибудь русское философское имя, большое и несомненное. Владимир Соловьев, которого обычно вспоминают только в годовщину смерти? Но туманная метафизика Соловьева не только не вошла в историю мировой мысли, - она и в самой России не создала никакого подобия школы. Кое-чем позаимствовались у Соловьева гг. Бердяев, да Эрн, да Вячеслав Иванов... А этого маловато.

Г.Гарт, философ из бывших октябристов, растерявшись при виде той разнузданности, с какою у нас интенданты грабят, реакционеры бесчинствуют, а октябристы низкопоклонничают,

озируется беспомощно вокруг в поисках такого категорического императива, который пришелся бы как раз по "широкой русской натуре" (в том числе и по интендантской), совладал бы с ее добродушно-распущенной рыхлостью, дисциплинировал бы ее внутренней дисциплиной и отучил от взяток. Где же он, грядущий славянский Кант? - спрашивает его маленький предтеча*. Да, где он в самом деле? - Нет его. Где наш Гегель? Где кто-нибудь равновеликий сим? В философии у нас нет никого, кроме третъестепенных учеников и безличных эпигонов.

Мы были богаты "самобытным" социальным утопизмом, да и сейчас его еще хоть отбавляй. Но что внесли мы своего в сокровищницу социальной мысли? Народничество, русский суррогат социализма? Но ведь это не что иное, как идейная реакция нашей азиатчины на разъедающий ее капиталистический прогресс. Это не новое завоевание мировой мысли, а только небольшая глава из духовной жизни исторического захолустья.

Где наши великие утописты? Самый большой из них - Чернышевский; но и он, придавленный убожеством социальных условий, остался учеником, не выросли в учителя. Герцен, Лавров, Михайловский ни в каком смысле не входят в историю мирового социализма; они целиком растворяются в истории русской интеллигенции. Пожалуй, один Бакунин еще вписал свое имя в книгу европейского рабочего движения, но он именно должен был для этого всецело оторваться от почвы русской общественности, да и в европейскую он вошел не необходимым составным элементом, а как преходящий эпизод, притом же вовсе не такой эпизод, который знаменует шаг вперед. Что осталось теперь от бакунизма? Пара предрассудков в романском рабочем движении, не более...

Можно бы, конечно, тут назвать Толстого; но и это не выйдет убедительным. Бесспорно, Толстой весь, целиком, с ремненным пояском и чунами пеньковыми, вошел в обиход мировой мысли, но не своей социальной философией, а как огромный человеческий факт. "Учение" же его, как было, так и осталось субъективными лесами его духа, оно сохраняет огромную биографическую ценность, но после европейских религиозных реформаций и европейских революций, после европейских социальных учений XIX столетия, - какое новое слово сказал Толстой?

Повторим еще раз: история нашей общественной мысли до сих пор даже клинышком не врзывалась в историю мысли общечеловеческой. Это мало утешительно для национального самолюбия? Но, во-первых, историческая правда не фрейлина при национальном самолюбии. А во-вторых, будем лучше наше национальное самолюбие. полагать в будущем, а не в прошлом. Знаменитый Бенкендорф сказал некогда: "прошлое России было изумительно; ее настоящее более чем великолепно; что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может представить себе самое горячее воображе-

* См.: Гарт: "Почему зашаталась Россия?" С.-Петербург, 1910.

ние". Тем почитателям интеллигенции, которые мыслят по генералу Бенкендорфу, хотя бы и "с другой стороны", и русскую историю превращают ради ее семи праведников в историю богом избранного народа, - им, конечно, наши суждения не могут прийти по нутру. Но мы не мыслим по генералу Бенкендорфу - даже и "с другой стороны". Из чего, надо надеяться, не следует, что мы не верим в будущее России...

Но в чем мы убеждены твердо и несокрушимо, так это в том, что великое будущее превращается для нас из туманной фантазии в реальность лишь постольку, поскольку стираются историей "самобытные" черты нашего "изумительного" прошлого и "более чем великолепного" настоящего. А к этим самобытным чертам, как их дополнение и увенчание, относится и наша старая, неклассовая, мессианистическая интеллигенция, которую в теоретической области характеризовало "нечто большее, чем неосновательность", а в практической - бессилие.

* *
*

Отсутствие исторических традиций и отчетливых политических группировок необходимо вело за собою отсутствие личной нравственной устойчивости. В расплывающейся "неисторической" среде гораздо легче пожертвовать своей жизнью во имя идеи, чем провести единство идеи через свою жизнь. И нужно признаться, что не лишен своей крупницы соли чей-то разухабистый отзыв о русской интеллигенции: "до тридцати лет - радикал, а затем - каналья". Как ни груба гончаровская карикатура на нигилиста, однако же нет ничего невероятного в том, что Марк Волохов раскаялся и поступил в юнкера. Кандидат в Гракхи, который становится податным инспектором, ибо его "среда заела", - давно ли сей персонаж уволен на покой нашей беллетристикой?

Чем же жили и держались лучшие? Страшным нравственным напряжением, сосредоточенным аскетизмом, бытовым отщепенством. При отсутствии социальной почвы под ногами личная устойчивость могла покупаться только ценой идейного фанатизма, беспощадного самоограничения и самоотмежевания, мнительности и подозрительности, недреманного блюдения своей чистоты... "Русачок миленький в огонь влезет, а благоверия не предаст", - говорил протопоп Аввакум. Не в особых извилищах славянского мозга, а в социальных условиях старой России нужно искать корни того старообрядческого фанатизма, той ревности о букве, которые наблюдаются подчас у наших интеллигентов самого крайнего лагеря. Незачем говорить, что и в области интеллигентского благоверия отцеживание комаров не препятствует благополучнейшему проглатыванию двугорбых верблюдов.

"Я - жид и с филистимлянами за один стол не сяду!" - писал Белинский. Однако же при всем единстве своей нравственной лично-

сти Белинский вынужден был радикальным образом менять свои взгляды. Идейная непримиримость, благородная черта всякого борца, сама по себе слишком слабая гарантия выдержки, раз она не находит постоянной опоры в объективной непримиримости, заложенной в самую механику общественных отношений. Частая и резкая смена воззрений, нечто обычное у русских интеллигентов (и не только у тех, которые после тридцати лет становятся... податными инспекторами) - ведь это лишь необходимейшее дополнение абсолютной версильевской свободы, свободы мысли - "гулять без дела".

Перемены мирозерцаний могли иметь субъективно-трагический характер (у Белинского), комически-пошлый (у какого-нибудь Бердяева), душевно-распутный (Струве), фразеологически-поверхностный (Минский, Бальмонт), ренегатский (Катков, Тихомиров), но их историческая основа оставалась одна и та же: общественная убогость наша.

По поводу восстания декабристов граф Растопчин иронизировал в том смысле, что во Франции-де "чернь" учинила революцию, чтобы сравняться с аристократией, а у нас вот аристократия устроила революцию в интересах черни. Этим парадоксом Растопчина пользуется г.Иванов-Разумник, чтоб подчеркнуть противословный, чисто идеалистический характер движения декабристов. В какой мере и в каких пропорциях элементы бесплотного идеалистического радикализма сочетались у декабристов с сословными внушениями, это вопрос особый; но верно - в общем и целом верно, - что движение декабристов не было сословно-классовым; почему? - да именно потому, что декабристы выступили, как не раз выступала русская интеллигенция после них, т.е. пытались заместить собою отсутствующие зрелые классы. Декабристы "заместительствовали" буржуазный либерализм.

Заместительство несуществующих или слабо развитых классов, маскировавшее социальную слабость интеллигенции, становится ее идейной потребностью и вместе политической профессией. Сперва аристократическая интеллигенция замещает "чернь", затем разночинец-народник замещает крестьянство; впоследствии интеллигент-марксист замещает пролетариат. Глеб Успенский, сам разночинец-народник, с гениальной прозорливостью разоблачил интеллигентский маскарад народничества. Понадобились, однако, еще два десятилетия, прежде чем живое крестьянство показало свое подлинное обличие, - и только тогда роману интеллигенции с псевдо-мужиком нанесен был смертельный удар...

Но даже и в том случае, когда идея шла в направлении общего исторического развития, она, под влиянием Запада, настолько предвосхищала это развитие во времени, что посетительница идеи, интеллигенция, оказывалась связанной с политической жизнью страны, не через класс, которому она хотела служить, а только через "идею" этого класса. Так было с первыми кружками марксистской интеллигенции. Только постепенно дух становился плотью.

В 1905-6 гг. на историческую сцену выступили большие социальные тела - классы со своими интересами и требованиями; русские события одним ударом врезались в мировую историю, пробудив могущественный отклик в Европе и Азии; политические идеи перестали казаться бесплотными феями, спустившимися с идеологических небес; эпоха заместительства интеллигенции закончилась, исторически исчерпав себя. Но замечательно, что именно после этих знаменательных лет вакханалия интеллигентского самовозвеличения развернулась вовсю: так лампа вспыхивает ярче всегда перед тем, как погаснуть.

Здор, будто история после великого напряжения вернулась вспять. Вспять обернулась бюрократия; бюрократия же заведует многими вещами, но не ходом истории. С каратаевщиной нашей, с безысторичностью масс покончено навеки. Тут возврата нет. И вместе с тем покончено с апостольством интеллигенции.

После трех лет самодовольной прострации она теперь снова выпрямляется. Исполать! Однако наивно было бы думать, что она вторично вступает в дооктябрьскую* эпоху. История не повторяется. Как бы ни было само по себе велико значение интеллигенции, в будущем оно может быть только служебным и подчиненным. Героическое заместительство всецело относится к эпохе, отходящей в вечность.

Веховцы (Струве-Изгоев) этому отходящему послали вдогонку коллективный плевок. Что плевок не долетел, а вернулся по адресу отправления, это теперь, надо полагать, ясно всем. Но и идолопоклонничать перед прошлым незачем тому, кто верит в будущее. Прошлое не воскреснет. И это хорошо, ибо будущее лучше прошлого: уж по тому одному, что оно опирается на прошлое, богато его опытом, умнее и сильнее его.

4-12 марта 1912 г.

* Речь идет, разумеется, об октябре 1905 г.

Бунт и покорность в психологии масс

I.

Как отражаются новые идеи в массах, к чему ведут они в процессе демократизации, можно ли узнать эти идеи после того как они вульгаризируются? Вот вопрос, который на каждом шагу ставит русская действительность. Результат, к которому привел уже в массовой душе святой мятеж духа и святая мечта о свободе и правде, давит, как тяжкий кошмар. Никогда не было еще так ясно, что человеческая масса может жить лишь идеями *органическими*, что идеи критические, чисто отрицательные, вульгаризируясь, ведут к разложению, к хулиганству.

Крестьянство, как органический уклад жизни, основанный на покорности высшему, - аристократично, благородно, ощущает свое древнее, божественное происхождение: последний мужик чувствовал свою связь с вечностью и потому не был мещанином. Аристократична та человеческая масса, которая мистическим порывом покорности Богу была увлечена в крестовый поход, шла в таинственную даль освобождать Гроб Господень. Последний становился рыцарем Господним, воином Христовым и подымался до небес. Народная масса, как мистический организм, в котором все части подчинены высшему центру и иерархически соподчинены друг другу, никогда не бывает вульгарна, всегда возвышается над духом мещанства, благородна, устремлена вдаль и ввысь. Такая народная масса - покорна в своем отношении к Богу, молитвенна в своей основе, но мятежна в своем отношении к злу мира, рыцарски мужественна и воинственна в своей борьбе с рабством и необходимостью природного порядка. Но как ужасна массовая анархия, как смрадно массовое самообоготворение, как пошло массовое декадентство! Народная масса, ни перед чем не благоговеющая, всякую святыню отвергшая, себя лишь обожающая и утверждающая, неизбежно разлагается, насыщается духом мещанства, неблагородна по своим чувствам, плоска по своему сознанию, пошла по своему выражению. Единый Великий Бог заменяется в ней множеством маленьких божков, стихия самолюбия, зависти и злобы вступает в свои права. Бунт из святого восстания против зла превращается в рабью злобу против абсолютного добра, в рабью покорность природному злу. В критических идеях есть часть великой правды и видна она в бунтарстве лучших людей, но в массах бунтарство и критические идеи эти легко превращаются в голый нигилизм, рабье самораздувание, в пошлость. Так же отрицательны, так же тлетворны и идеи реакционные.

Все критическое, мятежное, утопченное, переоценивающее ценности - уединенно, индивидуально, трагично, получает свое значение от переживаний лучших людей, оправдывается личной драмой. Но добытая личной мукой критическая переоценка может проникать в массу человечества только уже в связи с утверждающими, органическими идеями; тогда только совершается переворот творческий и плодоносный. Когда бунт индивидуальности, когда аристократическое отрицание распространяются в голом, отвлеченном виде, вульгаризируются, когда новое лишь с отрицательной своей стороны переходит во всеобщее употребление, то, в большинстве случаев, получается что-то уродливое, гнилое, пошлое. Великое в мировой истории может совершиться только *во имя* чего-то великого. Притягательная сила *имени* вдохновляла не только положительное творчество, но также бунт и критику, без которых не могло быть исторического развития. Герои мысли и дела всегда бунтовали, критиковали и отрицали во имя положительных ценностей, сознательно или бессознательно очищали человечество от всякой скверны во имя Божие. Когда начинается бунт во имя бунта, критика во имя критики, отрицание во имя отрицания, когда нет никакого "во имя", когда в массах умирает всякая органическая идея, когда в них не во имя абсолютной правды совершается бунт и отрицается прошлое, тогда ощущается наступление небытия, раскрывается бездна пустоты.

В массах молодежи, пораженной анархией духа, замечается теперь процесс вульгаризации идей, усвоения самых больших идей лишь с отрицательной их стороны. Нарождается новый психологический тип, в котором перекрещиваются все отрицательные, разлагающие веяния, соединяются идеи, которые у лучших были могучими и славными, а у худших становятся пошлыми и дикими, вырождаются во что-то неузнаваемое. Прежде всего выродились и вульгаризировались социально-революционные идеи. Сама идея революции разложилась и опошлилась, само звание революционера перестало быть почетным. Вульгарный революционизм нового поколения по закону массовой психологии легко соединяется с модернизмом, с декадентством, даже с мистикой. Получается скверная смесь, самодовольство и пошлость. Привлекает всех не тоска искания и мука нового сложного опыта у лучших, старых декадентов и мистиков, а анархизация духа; правится, что "все дозволено". Свобода смешивается с разнузданностью и произволом, честь - с самолюбием и тщеславием, утверждение личности - с самообоготворением и самораздуванием, справедливость - с корыстью и мстительностью. Индивидуальная мука анархического бунта у лучших людей, у аристократов духа ведет к религиозной покорности; в анархически-настроенной толпе этой религиозной муки нет, есть лишь самодовольство бунтующих рабов. Тосковали лучшие не по анархизации духа, а по гармонизации духа, так как окончательная свобода и правда анархизма, побеждающая насилие и принуждение, - в

органическом порядке жизни, покорном абсолютному Смыслу. Декадентский "мистический анархизм", который ныне угрожает превратиться в поверхностную, пошлую и разлагающую моду, мог быть у тонких, даровитых, культурных, избранных людей переходом к положительной религии, новым опытом, который ставил новые проблемы; но в своем эпидемическом распространении эта новейшая разновидность анархии духа ведет к окончательному нигилизму, к разнузданной самовлюбленности. Ведь привели же возвышенные идеалы анархизма - идеалы предельной свободы и уничтожения всякого насилия над личностью - к нашим "анархистам-индивидуалистам", которых трудно отличить от простых разбойников, для которых исчерпывающей формулой является всепозволяющее самоутверждение. В анархизме есть часть правды, но нельзя шутить со стихией анархии.

Среди молодежи нарождаются новые течения, возникают организации не политические уже, а quasi мистические, подхватывают последние слова, поверхность идей, жадно набрасываются на отрицательные выводы идей сложных и непонятых. Грозит новое несчастье: эпидемии мистики после целого ряда иных, совсем не мистических эпидемий. Само слово "мистика" успело опошлиться и выветриться в короткий срок. Такая вульгарная мистика может быть лишь симуляцией психологической уточенности у довольно-таки грубых людей. Такая слепая мистика соединима с чем угодно, не связана ни с какой идеей, ни к чему не обязывает. Анархия духа так же легко может принять обличие мистики, как и обличие самого крайнего материализма и эмпиризма; отвержение всякой абсолютной нормы и абсолютного света может так же прикрываться мистическим иррационализмом, как и иррационализмом эмпирическим. Такие мистики легко узнаются по нелюбви к религии и по ненависти к христианству. Люди как бы дорожат своей темнотой, боятся ослепнуть от света, соблазнены безумием и отвергают религию спасения. Падкие ко всяким повешествам надевают мистическое платье, но души их остаются без изменения, они также утверждают лишь себя, обожают лишь себя, рассчитывают мистически еще более самоутвердиться и самообожествиться. В мистике, ставшей модой сегодняшнего дня, призраки смешиваются с реальностями, так как утерян критерий для твердого установления различий. Приятное головокружение от всеобщего смешения влечет к иррациональной, анархической мистике. Вдруг оказалось, что можно оставаться социал-демократом, служить грядущему царству этого мира, можно быть и анархистом, поддерживать хаотический распад этого мира, и вместе с тем рядиться в роскошные уборы мистики. Мистическая эпидемия ничего положительного в себе не заключает; не дает органического питания массам, не утоляет духовного голода, не решает вопроса о смысле жизни; это чисто отрицательное, разрушительное явление. Мистика, как и революция, незаметно становится обывательской, мистика смешивается с революцией в стихии разложения. Религиозное же сознание должно

соединиться с правдой освободительного движения в созидании, в организации нового духа.

II.

Ничего себе нельзя представить трагичнее, печальнее, насмешливее, чем посмертная судьба одинокого Ницше. Человек этот всю жизнь страдал от тоски одиночества, был не понят и не признан. В том, что Ницше был одинок, возвышался над всякой толпой, бросал вызов всему миру и миром был отвергнут, был весь смысл борений его духа, все существо его поражающих идей. Успех Ницше после его смерти есть великое и страшное оскорбление его страдальческой жизни, надругательство над его мукой. Ницше имел все основания думать, что его почти никто не признает, а его признали почти все, его растаскали по частям, для всех он понадобился, все его идеи вульгаризовались и опошлись. Ницше был великим явлением мирового духа, - от ницшеанства идет дурной запах, явление это пошлеет с каждым днем. Толпами стали ходить ницшеанцы, все вдруг захотели сделаться сверхчеловеками, все пыжась, разрываюся от самораздувания. Такая демократизация идеи сверхчеловека есть не только *contradictio in adjecto**, но и моральная и эстетическая пошлость. Стадо "сверхчеловеков" ничем, конечно, не будет отличаться от стада баранов, так как неведома ему будет мука сверхчеловеческого одиночества и вся неизбежность исхода в богочеловеческую соборность. Только беспросветная пошлость может любоваться этим одиночеством и оторванностью, как красивой позой: одиночество это есть ужас и мука, из которого ищет религиозного исхода всякая глубокая душа. В ницшеанствующей же толпе сверхчеловеков создается какое-то вульгарное, опошленное, общераспространенное и пустое одиночество, стадная уединенность. Для Ницше открывался или путь окончательной гибели и безумия, или путь богочеловеческий, утление его жажды сверхчеловеческого в Богочеловечестве, где все усыновлены Богу, все как боги, все побеждают природное человеческое состояние и переходят к сверхчеловеческому. Для ницшеанцев, стадных сверхчеловеков, такой трагической дилеммы не предстоит, они в природном и опустошенном человечестве достигают сверхчеловеческой пошлости. Даже социал-демократы умудрились обработать для себя ненавидевшего демократию Ницше, извлекли из него пользу для своих целей. И это не так глупо, как кажется, хотя несчастному Ницше этим наносится посмертная рана. Социалистическая религия хотела бы сделать всех сверхчеловеками, божками, правда, микроскопическими и опустошенными в результате освобождения от всего высшего, но себя окончательно утверждающими и обожающими. Почему же не вос-

* Противоречие в определении (лат.). - Ред.

пользоваться бедным Ницше, помешавшемся на религиозной идее сверхчеловека, искавшем в этой идее Бога. Правда, для Ницше убийство Бога было великой мукой, а для сторонников социалистической религии убийство это стало великой радостью. Для Ницше мечта о сверхчеловеке была противоположна ненавистной ему мечте о счастливом социальном муравейнике, а для социал-демократов счастливый социальный муравейник представился вдруг состоящим сплошь из сверхчеловеков. Но можно ведь всегда обезвредить Ницше, обезопасить, кастрировать, препарировать для всеобщего употребления. Получилась ницшеанско-социал-демократическая каша, очень питательная для стадных инстинктов. Поглощая это варево, никто, конечно, не сделается сверхчеловеком в ницшевском смысле, но многие почувствуют себя сверхчеловеческими и в конце поклонятся одному, настоящему уже и вместе с тем призрачному сверхчеловеку, врагу Богочеловека. Пока человечество не сознает окончательно, что только Богочеловек Христос был и есть единственный божественный Человек, - сверхчеловек, не примет внутрь себя Его Духа, до тех пор оно не обожится, не перейдет к сверхчеловеческому состоянию, останется природным человечеством, порабощенным, ограниченным и смертным, не станет Богочеловечеством. В богочеловечестве все аристократы, в нем всеобщее богосыновство, в нем нет рабов, в нем последний из людей имеет абсолютное значение и назначение, благороден и прекрасен, занимает место в божественном организме, в космосе.

III.

Судьба "декадентства" в массах так же поучительна и так же печальна, как и судьба Ницше. Одинокие декаденты, избранные натуры, вдруг стали ходить толпами, появился массовый стиль "модерн", довольно безвкусный и пошлый. Говорю это, хотя и признаю большое, мировое значение за декадентством, как кризисом духа. Но тяжело видеть, когда утонченное, культурное, мятежное в высшем смысле превращается в обыденную разнузданность и неблагородный нигилизм. Наши декадентские, модернистские журналы представляют печальную картину быстрого вырождения и опошления нашего декадентства и модернизма: в журналах этих поражает кружковая мелочность, затхлость и спертость атмосферы, в которой пустяки приобретают мировое значение. Нет в них настоящего благородства, которое удерживало бы от нечистоплотной грызни. Самодовольство этой, быстро входящей в моду, кружковщины невыносимо, напыщенность и претенциозность бьет из каждой библиографической заметки. Уж выработался шаблон, по которому все пишут в наших новых журналах. Всегда и во всем по непреложному закону отрицательные идеи пошлеют, разлагаются и разлагают, когда подхватываются стадом. *Благоговение* перед свя-

тыней не может опопшлить, не может разлагать, когда человеческие массы охватываются этим высшим чувством. Массы не могут жить ни декадентством, ни нищееанством, ни анархизмом, ни чисто отрицательными революционными идеями, ни реакционными столь же отрицательными настроениями. Человечество может быть собрано и поднято на высоту лишь положительными, *органическими* идеями, лишь абсолютной покорностью Богу, которая на разных ступенях развития принимала разные формы, все более полные. Только вольная покорность абсолютной святине делает рабов аристократами, детьми Божьими, только покорность эта порождает самую идею человечества. Только религиозная покорность, благоговение, отдавание себя в волю Бога предохранит от мещанства, к которому привела французская революция в процессе человеческого самоутверждения, и от нигилистического хулиганства, к которому ведет современная анархия духа. В благоговейной покорности Богу, в соединении своей человеческой воли с Его святой волей - окончательная, предельная, абсолютно-желанная свобода. Абсолютное утверждение человеческого, человечества и человека, как Бога, человеческой свободы, как последнего, есть страшный обман духа зла, величайший соблазн, окончательное рабство и небытие. Только богочеловеческая свобода реальна, только богочеловеческий путь к ней действителен. В Христе этот путь указан миру.

Революционные идеи, взятые отвлеченно, утверждаемые лишь с отрицательной своей стороны, ведут к пустоте, они внутренне разлагаются, если не переходят в положительные, органические. В истории мы видим, что самый праведный бунт в массовых своих результатах часто приводит к злу. Посевы русского марксизма, заключавшие в себе некоторые здоровые идеи, взошли чертополохом. Декадентство превращается в пошлую и пустую моду. Современный анархизм уже породил хулиганство и разложение.

IV.

Когда Достоевский писал свои "Бесы", роман этот не соответствовал действительности, производил впечатление почти пасквиля. Но гениальное произведение Достоевского оказалось пророческим. Теперь вселились "бесы" в Россию, теперь явились люди, которых предчувствовал Достоевский, не только Верховенские, но и Кирилловы. Религиозный смысл революционного беснования теперь изобличается. Появляются теперь действующие лица "Бесов", и ясен становится не политический, а религиозный характер революционной жажды нашей интеллигенции. Лучшие из революционеров разочаровываются в результатах революции, ищут веры. И наше спасение в крушении революционных идей, при сохранении связанной с ними жажды правды на земле. Достоевский понял глубоко

других, к чему должна привести революционная идеология, понял как правду, так и ложь революционной интеллигенции.

Судьба нового, подрастающего поколения зависит от того, примет ли оно в свою душу святыню или останется душа пустой; судьба поколения, возросшего в эпоху революции, в которой идеи отрицательные преобладали над положительными, внушает опасение, наводит на тяжелые размышления. Революционная экзальтация уже переходит в апатию. В этом новом поколении потеряны центр жизни, в нем была мечтательность и алкание земной правды незаметно переходят в пустоту, в голое отрицание. Ведь если чисто-отрицательным путем снять с человека покровы культуры и отбросить навыки общественного воспитания, то покажется первобытный зверь. Теперь уже этот зверь часто выглядывает. Божественный образ в человеке, побеждающий всякого зверя, не может быть выявлен чисто-отрицательным путем, для этого необходимо положительное усилие духа, молитвенное обращение к Богу.

Не одну молодую душу охватывает ныне неизъяснимая тоска и глубокое разочарование в самой сущности отрицательных идей: лучших из молодых мучают ныне результаты давно желанной революции. Это тоска и мука будет нарастать, приведет к великому кризису. Растет склонность к самоубийству, наряду с легкостью убийства. Жить не для чего, так как разрушение, бунт без всякого "во имя" привел к пустоте, бессмыслице и звериному хаосу, а положительного, органического ничего не оказалось. Никогда еще, кажется, не рождалось поколения с такой тяжелой болезнью духа, с такой неудовлетворенностью и томлением. Запросы стали огромны, самолюбие раздулось до размеров страшных, и остановился человек с ужасом перед бездной пустоты. Старые задержки рухнули, а новых никаких не появилось. Снимаются оковы духа, а дух сам скорее разлагается, чем организуется и укрепляется. Тоска, которая является в конце бунта, есть предвестник высшей покорности, томление по покорности перед Абсолютным. Вера в земные идола заменяется безверием, разочарованием в естественных человеческих идеалах, мечта реализуется в пустоте. Тогда зарождается вера в Добро, как абсолютную мощь, в Смысл, как абсолютное бытие. Стихия русской революции, сосредоточив в себе все отрицательные идеи, разлагает все на составные части, первоначальные и крайние элементы и тем разрушает все иллюзии, обнажает подлинные реальности, служит косвенно возрождению религиозному. Никогда еще не было так ясно, что человечество само по себе не может устроиться радостно и свободно, не может спастись одними своими силами.

Верить в массу человеческую, в количество людское, в толпу, в стадо - нельзя, история не научает верить. Но этим отнюдь не утверждается лже-аристократизм, презрение к людям, не санкционируется индивидуализм оторванный и уединенный. Можно пламенно верить в человечество, соединившее свою волю с волей Бога, можно любить это человечество, можно мессианскую

идею связать с верой в народ, принявший в свою душу Христа. Богочеловечество не есть толпа, стадо, оно не может быть вульгарно и пошло, это сверхчеловеческое, органическое единство, обожение человечества, сошествие на него святого Духа. Перед богочеловеческой волей народа мы склонимся покорно и благоговейно, так как это будет воля Бога. Все, что выстрадано, вымечтано индивидуально в тиши и уединении, все реализуется в богочеловеческой народной жизни, в жизни человечества, воссоединившегося с Богом через Богочеловека.

Правда демократизма - в этой соборности, в соединении в единый организм, в котором каждый имеет абсолютное значение перед Богом. Но религиозная идея человечества и космоса - иерархична. Можно и должно разрушать ложную иерархию этого мира, бунтовать против нее, но для того только, чтобы покориться истинной, подлинно божественной иерархии, в которой каждому назначено место. Только в этом иерархизме спасение от пошлости, вульгарности, стадности и безличности. И да покорятся все свободной иерархии божественного космоса.

1907 г.

Философская истина и интеллигентская правда

В эпоху кризиса интеллигенции и сознания своих ошибок, в эпоху переоценки старых идеологий необходимо остановиться и на нашем отношении к философии. Традиционное отношение русской интеллигенции к философии сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, и анализ этого отношения может вскрыть основные духовные черты нашего интеллигентского мира. Говорю об интеллигенции в традиционно-русском смысле этого слова, о нашей кружковой интеллигенции, искусственно выделяемой из общенациональной жизни. Этот своеобразный мир, живший до сих пор замкнутой жизнью под двойным давлением, давлением казенщины внешней - реакционной власти, и казенщины внутренней - инертности мысли и консервативности чувств, не без основания называют "интеллигентщиной" в отличие от интеллигенции в широком, общенациональном, общесторическом смысле этого слова. Те русские философы, которых не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды "интеллигентщины". Каково же было традиционное отношение нашей специфической, кружковой интеллигенции к философии, отношение, оставшееся неизменным, несмотря на быструю смену философских мод? Консерватизм и косность в основном душевном укладе у нас соединялись с склонностью к новинкам, к последним европейским течениям, которые никогда не усваивались глубоко. То же было и в отношении к философии.

Прежде всего бросается в глаза, что отношение к философии было так же малокультурно, как и к другим духовным ценностям: самостоятельное значение философии отрицалось, философия подчинялась утилитарно-общественным целям. Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительное, давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение "народу", его пользе и интересам, духовная подавленность политическим деспотизмом, - все это вело к тому, что уровень философской культуры оказался у нас очень низким, философские знания и философское развитие были очень мало распространены в среде нашей интеллигенции. Высокую философскую культуру можно было встретить лишь у отдельных личностей, которые тем самым уже выделялись из мира "интеллигентщины". Но у нас было не только мало философских знаний, - это беда исправимая, - у нас господствовал такой душевный уклад и такой способ

оценки всего, что подлинная философия должна была остаться закрытой и непонятной, а философское творчество должно было представляться явлением мира иного и таинственного. Быть может, некоторые и читали философские книги, внешне понимали прочитанное, но внутренне так же мало соединялись с миром философского творчества, как и с миром красоты. Объясняется это не дефектами интеллекта, а направлением воли, которая создала традиционную, упорную интеллигентскую среду, принявшую в свою плоть и кровь народническое мирозерцание и утилитарную оценку, не исчезнувшую и по сию пору. Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу. Человек, слишком погруженный в философские проблемы, подозревался в равнодушии к интересам крестьян и рабочих. К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога - народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом - абсолютизмом. Это народнически-утилитарно-аскетические отношения к философии осталось и у тех интеллигентских направлений, которые по видимости преодолели народничество и отказались от элементарного утилитаризма, так как отношение это коренилось в сфере подсознательной. Психологические первоосновы такого отношения к философии, да и вообще к созиданию духовных ценностей можно выразить так: *интересы распределения и уравнивания в сознании и чувствах русской интеллигенции всегда доминировали над интересами производства и творчества*. Это одинаково верно и относительно сферы материальной, и относительно сферы духовной: к философскому творчеству русская интеллигенция относилась так же, как и к экономическому производству. И интеллигенция всегда охотно принимала идеологию, в которой центральное место отводилось проблеме распределения и равенства, а все творчество было в загоне, тут ее доверие не имело границ. К идеологии же, которая в центре ставит творчество и ценности, она относилась подозрительно, с заранее составленным волевым решением отвергнуть и изобличить. Такое отношение загубило философский талант Н.К.Михайловского, равно как и большой художественный талант Гл.Успенского. Многие воздерживались от философского и художественного творчества, так как считали это делом безнравственным с точки зрения интересов распределения и равенства, видели в этом измену народному благу. В 70-е годы было у нас даже время, когда чтение книг и увеличение знаний считалось не особенно ценным занятием и когда морально осуждалась жажда просвещения. Времена этого народнического мракобесия прошли уже давно, но бацилла осталась в крови. В революционные дни опять повторилось гонение на знание, на творчество, на высшую жизнь духа. Да и до наших дней остается в крови интеллигенции все та же закваска. Доминируют все те же моральные суждения, какие бы новые слова ни усваивались на поверхности. До сих пор еще наша

интеллигентная молодежь не может признать самостоятельного значения науки, философии, просвещения, университетов, до сих пор еще подчиняет интересам политики, партий, направлений и кружков. Защитников безусловного и независимого знания, знания как начала, возвышающегося над общественной злобой дня, все еще подозревают в реакционности. И этому неуважению к святине знания немало способствовала всегда деятельность министерства народного просвещения. Политический абсолютизм и тут настолько искажил душу передовой интеллигенции, что новый дух лишь с трудом пробивается в сознание молодежи.

Но нельзя сказать, чтобы философские темы и проблемы были чужды русской интеллигенции. Можно даже сказать, что наша интеллигенция всегда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и не в философской их постановке: она умудрялась даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер, конкретное и частное она превращала в отвлеченное и общее, вопросы аграрный или рабочий представлялись ей вопросами мирового спасения, а социологические учения окрашивались для нее почти что в богословский цвет. Черта эта отразилась в нашей публицистике, которая учила смыслу жизни и была не столько конкретной и практической, сколько отвлеченной и философской даже в рассмотрении проблем экономических. Западничество и славянофильство - не только публицистические, но и философские направления. Белинский, один из отцов русской интеллигенции, плохо знал философию и не обладал философским методом мышления, но его всю жизнь мучили проклятые вопросы, вопросы порядка мирового и философского. Теми же философскими вопросами заняты герои Толстого и Достоевского. В 60-е годы философия была в загоне и упадке, презирался Юркевич, который, во всяком случае, был настоящим философом по сравнению с Чернышевским. Но характер тогдашнего увлечения материализмом, самой элементарной и низкой формой философствования, все же отражал интерес к вопросам порядка философского и мирового. Русская интеллигенция хотела жить и определять свое отношение к самым практическим и прозаическим сторонам общественной жизни на основании материалистического катехизиса и материалистической метафизики. В 70-е годы интеллигенция увлекалась позитивизмом, и ее властитель дум - Н.К.Михайловский - был философом по интересам мысли и по размаху мысли, хотя без настоящей школы и без настоящих знаний. К П.Л.Лаврову, человеку больших знаний и широты мысли, хотя и лишенному творческого таланта, интеллигенция обращалась за философским обоснованием ее революционных социальных стремлений. И Лавров давал философскую санкцию стремлениям молодежи, обычно начиная свое обоснование издали, с образования туманных масс. У интеллигенции всегда были свои кружковые, интеллигентские философы и своя на-

правленская философия, оторванная от мировых философских традиций. Эта доморощенная и почти сектантская философия удовлетворяла глубокой потребности нашей интеллигентской молодежи иметь "миросозерцание", отвечающее на все основные вопросы жизни и соединяющее теорию с общественной практикой. Потребность в целостном общественно-философском миросозерцании - основная потребность нашей интеллигенции в годы юности, и властителями ее дум становились лишь те, которые из общей теории выводили санкцию ее освободительных общественных стремлений, ее демократических инстинктов, ее требований справедливости во что бы то ни стало. В этом отношении классическими "философами" интеллигенции были Чернышевский и Писарев в 60-е годы, Лавров и Михайловский в 70-е годы. Для философского творчества, для духовной культуры нации писатели эти почти ничего не давали, но они отвечали потребности интеллигентской молодежи в миросозерцании и обосновывали теоретически жизненные стремления интеллигенции; до сих пор еще они остаются интеллигентскими учителями и с любовью читаются в эпоху ранней молодости. В 90-е годы с возникновением марксизма очень повысились умственные интересы интеллигенции, молодежь начала европеизироваться, стала читать научные книги, исключительно эмоциональный народнический тип стал изменяться под влиянием интеллектуалистической струи. Потребность в философском обосновании своих социальных стремлений стала удовлетворяться диалектическим материализмом, а потом неокантианством, которое широкого распространения не получило ввиду своей философской сложности. "Философом" эпохи стал Бельтов-Плеханов, который вытеснил Михайловского из сердец молодежи. Потом на сцену появился Авенариус и Мах, которые провозглашены были философскими спасителями пролетариата, и гг. Богданов и Луначарский сделали "философами" социал-демократической интеллигенции. С другой стороны возникли течения идеалистические и мистические, но то была уже совсем другая струя в русской культуре. Марксистские победы над народничеством не привели к глубокому кризису природы русской интеллигенции, она осталась староверческой и народнической и в европейском одеянии марксизма. Она отрицала себя в социал-демократической теории, но сама эта теория была у нас лишь идеологией интеллигентской кружковщины. И отношение к философии осталось прежним, если не считать того критического течения в марксизме, которое потом перешло в идеализм, но широкой популярности среди интеллигенции не имело.

Интерес широких кругов интеллигенции к философии исчерпывался потребностью в философской санкции ее общественных настроений и стремлений, которые от философской работы мысли не колеблются и не переоцениваются, остаются незыблемыми, как догматы. Интеллигенцию не интересует вопрос, истинна или лож-

на, например, теория знания Маха, ее интересует лишь то, благоприятна или нет эта теория идее социализма, послужит ли она благу и интересам пролетариата; ее интересует не то, возможна ли метафизика и существуют ли метафизические истины, а то лишь, не повредит ли метафизика интересам народа, не отвлечет ли от борьбы с самодержавием и от служения пролетариату. Интеллигенция готова принять на веру всякую философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее социальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагоприятном или просто критическом отношении к этим традиционным настроениям и идеалам. Вражда к идеалистическим и религиозно-мистическим течениям, игнорирование оригинальной и полной творческих задатков русской философии основаны на этой "католической" психологии. Общественный утилитаризм в оценках всего, поклонение "народу", - то крестьянству, то пролетариату, - все это остается моральным догматом большей части интеллигенции. Она начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал. Потом принялась даже за с трудом перевариваемого Авенариуса, так как отвлеченнейшая, "чистейшая" философия Авенариуса без его ведома и без его вины представилась вдруг философией социал-демократов "большевиков".

В этом своеобразном отношении к философии сказалась, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения. Вся русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов. Но сказались тут и задатки черт положительных и ценных - жажда целостного мирозерцания, в котором теория слита с жизнью, жажда веры. Интеллигенция не без основания относится отрицательно и подозрительно к отвлеченному академизму, к рассечению живой истины, и в ее требовании целостного отношения к миру и жизни можно разглядеть черту бессознательной религиозности. И необходимо резко разделить "десницу" и "шуйцу" в традиционной психологии интеллигенции. Нельзя идеализировать эту слабость теоретических философских интересов, этот низкий уровень философской культуры, отсутствие серьезных философских знаний и неспособность к серьезному философскому мышлению. Нельзя идеализировать и эту почти маниакальную склонность оценивать философские учения и философские истины по критериям политическим и утилитарным, эту неспособность рассматривать явления философского и культурного творчества по существу, с точки зрения абсолютной их ценности. В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике. К новому сознанию мы можем перейти лишь через покаяние и самообличение. В реакционные 80-е годы с самовосхвалением говорили о наших консервативных, истинно-русских добродетелях, и Вл. Соловьев совершил важное дело, обличая эту

часть общества, призывая к самокритике и покаянию, к раскрытию наших болезней. Потом наступили времена, когда заговорили о наших радикальных, тоже истинно-русских добродетелях. В эти времена нужно призывать другую часть общества к самокритике, покаянию и обличению болезней. Нельзя совершенствоваться, если находишься в упоении от собственных великих свойств, от этого упоения меркнут и подлинно большие достоинства.

С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине, прежде всего к истине. Интеллигенция не могла бескорыстно отнестись к философии, потому что корыстно относилась к самой истине, требовала от истины, чтобы она стала орудием общественного переворота, народного благополучия, людского счастья. Она шла на соблазн великого инквизитора, который требовал отказа от истины во имя счастья людей. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше жить, если люди будут счастливее, долой истину, если она стоит на пути заветного клича "долой самодержавие". Оказалось, что ложно направленное человеколюбие убивает боголюбие, так как любовь к истине, как и к красоте, как и ко всякой абсолютной ценности, есть выражение любви к Божеству. Человеколюбие это было ложным, так как не было основано на настоящем уважении к человеку, к равному и родному по Единому Отцу; оно было, с одной стороны, состраданием и жалостью к человеку из "народа", а с другой стороны превращалось в человекопоклонство и народопоклонство. Подлинная же любовь к людям есть любовь не против истины и Бога, а в истине и в Боге, не жалость, отрицающая достоинство человека, а признание родного Божьего образа в каждом человеке. Во имя ложного человеколюбия у нас выработался в отношении к философским исканиям и течениям метод заподозривания и сыска. По существу в область философии никто и не входил, народникам запрещала входить ложная любовь к крестьянству, марксистам - ложная любовь к пролетариату. Но подобное отношение к крестьянству и пролетариату было недостатком уважения к абсолютному значению человека, так как это абсолютное значение основано на божеском, а не на человеческом, на истине, а не на интересе. Авенариус оказался лучше Канта или Гегеля не потому, что в философии Авенариуса увидели истину, а потому, что вообразили, будто Авенариус более благоприятствует социализму. Это и значит, что интерес поставлен выше истины, человеческое выше божеского. Опровергать философские теории на том основании, что они не благоприятствуют народничеству или социал-демократии, - значит презирать истину. Философа, заподозренного в "реакционности" (а что только у нас не называется "реакционным!"), никто не станет слушать, так как сама

по себе философия и истина мало кого интересуют. Кружковой отсебятине г.Богданова всегда отдадут предпочтение перед замечательным и оригинальным русским философом Лопатиным. Философия Лопатина требует серьезной умственной работы, и из нее не вытекает никаких программных лозунгов, а к философии Богданова можно отнести исключительно эмоционально, и она вся укладывается в пятикопеечную брошюру. В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни.

И к философии, как и к другим сферам жизни, у нас преобладало демагогическое отношение; споры философских направлений в интеллигентских кружках носили демагогический характер и сопровождались недостойным поглядыванием по сторонам с целью узнать, кому что понравится, и каким инстинктам что соответствует. Эта демагогия деморализует душу нашей интеллигенции и создает тяжелую атмосферу. Развивается моральная трусость, угасает любовь к истине и дерзновение мысли. Заложенная в душе русской интеллигенции жажда справедливости на земле, священная в своей основе жажда, искажается. Моральный пафос вырождается в мономанию. "Классовые" объяснения разных идеологий и философских учений превращаются у марксистов в какую-то болезненную навязчивую идею. И эта мономания заразила у нас большую часть "левых". Деление философии на "пролетарскую" и "буржуазную", на "левую" и "правую", утверждение двух истин, полезной и вредной, — все это признаки умственного, нравственного и общекультурного декаданса. Путь этот ведет к разложению общеобязательного универсального сознания, с которым связано достоинство человечества и рост его культуры.

Русская история создала интеллигенцию с таким душевным укладом, которому противен был объективизм и универсализм, при котором не могло быть настоящей любви к объективной, вселенской истине и ценности. К объективным идеям, к универсальным нормам русская интеллигенция относилась недоверчиво, так как предполагала, что подобные идеи и нормы помешают бороться с самодержавием и служить "народу", благо которого ставилось выше вселенской истины и добра. Это роковое свойство русской интеллигенции, выработанное ее печальной историей, свойство, за которое должна ответить и наша историческая власть, калечившая русскую жизнь и роковым образом толкавшая интеллигенцию исключительно на борьбу против политического и экономического гнета, привело к тому, что в сознании русской интеллигенции европейские философские учения воспринимались в искаженном виде, приспособлялись к специфически интеллигентским интересам, а значительнейшие явления философской мысли совсем игнорировались. Искажены и к домашним условиям приспособлены были у нас и научный позитивизм, и

экономический материализм, и эмпириокритицизм, и неокантианство, и ницшеанство.

Научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией совсем превратно, совсем ненаучно и играл совсем не ту роль, что в Западной Европе. К "науке" и "научности" наша интеллигенция относилась с почтением и даже с идолопоклонством, но под наукой понимала особый материалистический догмат, под научностью особую веру, и всегда догмат и веру, избобличающую зло самодержавия, ложь буржуазного мира, веру, спасающую народ или пролетариат. Научный позитивизм, как и все западное, был воспринят в самой крайней форме и превращен не только в примитивную метафизику, но и в особую религию, заменяющую все прежние религии. А сама наука и научный дух не привились у нас, были восприняты не широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Ученые никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью, и если они были политическими индифферентистами, то сама наука их считалась не настоящей. Интеллигентная молодежь начинала обучаться науке по Писареву, по Михайловскому, по Бельтову, по своим домашним, кружковым "ученым" и "мыслителям". О настоящих же ученых многие даже не слыхали. Дух научного позитивизма сам по себе не прогрессивен и не реакционен, он просто заинтересован в исследовании истины. Мы же под научным духом всегда понимали политическую прогрессивность и социальный радикализм. Дух научного позитивизма сам по себе не исключает никакой метафизики и никакой религиозной веры, но также и не утверждает никакой метафизики и никакой веры*. Мы же под научным позитивизмом всегда понимали радикальное отрицание всякой метафизики и всякой религиозной веры, или, точнее, научный позитивизм был для нас тождествен с материалистической метафизикой и социально-революционной верой. Ни один мистик, ни один верующий не может отрицать научного позитивизма и науки. Между самой мистической религией и самой позитивной наукой не может существовать никакого антагонизма, так как сферы их компетенции совершенно разные. Религиозное и метафизическое сознание действительно отрицает единственность науки и верховенство научного познания в духовной жизни, но сама-то наука может лишь выиграть от такого ограничения ее области. Объективные и научные элементы позитивизма были нами плохо восприняты, но тем страстнее были восприняты те элементы позитивизма, которые превращали его в веру, в окончательное миропонимание. Привлекательной для русской интеллигенции была не объективность позитивизма, а его субъективность, обоготворявшая человечество. В

* Имею в виду не философский позитивизм, а научный позитивизм. Запад создал научный дух, который и там был превращен в орудие борьбы против религии и метафизики. Но Западу чужды славянские крайности; Запад создал науку религиозно и метафизически нейтральную.

70-е годы позитивизм был превращен Лавровым и Михайловским в "субъективную социологию", которая стала доморощенной, кружковой философией русской интеллигенции. Вл.Соловьев очень остроумно сказал, что русская интеллигенция всегда мыслит странным силлогизмом: человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга. И научный позитивизм был воспринят русской интеллигенцией исключительно в смысле этого силлогизма. Научный позитивизм был лишь орудием для утверждения царства социальной справедливости и для окончательного истребления тех метафизических и религиозных идей, на которых по догматическому предположению интеллигенции покоится царство зла. Чичерин был гораздо более ученым человеком и в научно-объективном смысле гораздо большим позитивистом, чем Михайловский, что не мешало ему быть метафизиком-идеалистом и даже верующим христианином. Но наука Чичерина была эмоционально далека и противна русской интеллигенции, а наука Михайловского была близка и мила. Нужно, наконец, признать, что "буржуазная" наука и есть именно настоящая, объективная наука, "субъективная" же наука наших народников и "классовая" наука наших марксистов имеют больше общего с особой формой веры, чем с наукой. Верность вышесказанного подтверждается всей историей наших интеллигентских идеологий: и материализмом 60-х годов, и субъективной социологией 70-х, и экономическим материализмом на русской почве.

Экономический материализм был так же неверно воспринят и подвергся таким же искажениям на русской почве, как и научный позитивизм вообще. Экономический материализм есть учение по преимуществу объективное, оно ставит в центре социальной жизни общества объективное начало производства, а не субъективное начало распределения. Учение это видит сущность человеческой истории в творческом процессе победы над природой, в экономическом созидании и организации производительных сил. Весь социальный строй с присущими ему формами распределительной справедливости, все субъективные настроения социальных групп подчинены этому объективному производственному началу. И нужно сказать, что в объективно-научной стороне марксизма было здоровое зерно, которое утверждал и развивал самый культурный и ученый из наших марксистов - П.Б.Струве. Вообще же экономический материализм и марксизм были у нас поняты превратно, был воспринят "субъективно" и приспособлен к традиционной психологии интеллигенции. Экономический материализм утратил свой объективный характер на русской почве, производственно-созидательный момент был отодвинут на второй план, и на первый план выступила субъективно-классовая сторона социал-демократизма. Марксизм подвергся у нас пародийческому перерождению, экономический материализм превратился в новую форму "субъективной социологии". Русскими марксистами овладела

исключительная любовь к равенству и исключительная вера в близость социалистического конца и возможность достигнуть этого конца в России чуть ли не раньше, чем на Западе. Момент объективной истины окончательно потонул в моменте субъективном, в "классовой" точке зрения и классовой психологии. В России философия экономического материализма превратилась исключительно в "классовый субъективизм", даже в классовую пролетарскую мистику. В свете подобной философии сознание не могло быть обращено на объективные условия развития России, а необходимо было поглощено достижением отвлеченного максимума для пролетариата, максимума, с точки зрения интеллигентской кружковщины, не желающей знать никаких объективных истин. Условия русской жизни делали невозможным процветание объективной общественной философии и науки. Философия и наука понимались субъективно-интеллигентски.

Неокантианство подверглось у нас меньшему искажению, так как пользовалось меньшей популярностью и распространением. Но все же был период, когда мы слишком исключительно хотели использовать неокантианство для критического реформирования марксизма и для нового обоснования социализма. Даже объективный и научный Струве в первой своей книге прегрешил слишком социологическим истолкованием теории познания Рилья, дал гносеологизму Рилья благоприятное для экономического материализма истолкование. А Зиммеля одно время у нас считали почти марксистом, хотя с марксизмом он имеет мало общего. Потом неокантианский и неохегелевский дух стал для нас орудием освобождения от марксизма и позитивизма и способом выражения назревших идеалистических настроений. Творческих же неокантианских традиций в русской философии не было, настоящая русская философия шла иным путем, о котором речь будет ниже. Справедливость требует признать, что интерес к Канту, к Фихте, к германскому идеализму повысил наш философско-культурный уровень и послужил мостом к высшим формам философского сознания.

Несравненно большему искажению подвергся у нас эмпириокритицизм. Эта отвлеченнейшая и утонченнейшая форма позитивизма, выросшая на традициях немецкого критицизма, была воспринята чуть ли не как новая философия пролетариата, с которой гг. Богданов, Луначарский и др. признали возможным обращаться по-домашнему, как с своей собственностью. Гносеология Авенариуса настолько обща, формальна и отвлеченна, что не предпрещает никаких метафизических вопросов. Авенариус прибег даже к буквенной символике, чтобы не связаться ни с какими онтологическими положениями. Авенариус страшно боится всяких остатков материализма, спиритуализма и пр. Биологический материализм так же для него неприемлем, как и всякая форма онтологизма. Кажущийся биологизм системы Авенариуса не должен вводить в заблуждение;

это чисто формальный и столь всеобщий биологизм, что его мог бы принять любой "мистик". Один из самых умных эмпириокритицистов, Корнелиус, признал даже возможным поместить в числе преднаходимого божество. Наша же марксистская интеллигенция восприняла и истолковала эмпириокритицизм Авенариуса исключительно в духе биологического материализма, так как это оказалось выгодным для оправдания материалистического понимания истории. Эмпириокритицизм стал не только философией социал-демократов, но даже социал-демократов "большевиков". Бедный Авенариус и не подозревал, что в споры русских интеллигентов "большевиков" и "меньшевиков" будет впутано его невинное и далекое от житейской борьбы имя. "Критика чистого опыта" вдруг оказалась чуть ли не "символической книгой" революционного социал-демократического вероисповедания. В широких кругах марксистской интеллигенции вряд ли читали Авенариуса, так как читать его нелегко, и многие вероятно искренно думают, что Авенариус был умнейшим "большевиком". В действительности же Авенариус так же мало имел отношения к социал-демократии, как и любой другой немецкий философ, и его философией с не меньшим успехом могла бы воспользоваться, например, либеральная буржуазия и даже оправдывать Авенариусом свой уклон "вправо". Главное же нужно сказать, что если бы Авенариус был так прост, как это представляется гг. Богданову, Луначарскому и др., если бы его философия была биологическим материализмом с головным мозгом в центре, то ему не нужно было бы изобретать разных систем С, освобожденных от всяких предпосылок, и не был бы он признан умом сильным, железно-логическим, как это теперь приходится признать даже его противникам*. Правда, эмпириокритические марксисты не называют уже себя материалистами, уступая материализм таким отсталым "меньшевикам", как Плеханов и др., но сам эмпириокритицизм приобретает у них окраску материалистическую и метафизическую. Г. Богданов усердно проповедует примитивную метафизическую отсебятину, все поминая имена Авенариуса, Маха и др. авторитетов, а г. Луначарский выдумал даже новую религию пролетариата, основываясь на том же Авенариусе. Европейские философы, в большинстве случаев отвлеченные и слишком оторванные от жизни, и не подозревают, какую роль они играют в наших кружковых, интеллигентских спорах и ссорах, и были бы очень изумлены, если бы им рассказали, как их тяжеловесные думы превращаются в легковесные брошюры.

Но уже совсем печальная участь постигла у нас Ницше. Этот одинокий ненавистник всякой демократии подвергся у нас самой беззащитной демократизации. Ницше был растаскан по частям,

* Авенариусу не удалось освободиться от "предпосылок", его гносеологическая точка зрения очень сбивчива, пахнет и "материализмом", и "спиритуализмом", и чем угодно, но не проста.

всем пригодился, каждому для своих домашних целей. Оказалось вдруг, что Ницше, который так и умер, думая, что он никому не нужен и одиноким остается на высокой горе, что Ницше очень нужен даже для освежения и оживления марксизма. С одной стороны, у нас зашевелились целые стада ницшеанцев-индивидуалистов, а с другой стороны, Луначарский приготовил винегрет из Маркса, Авенариуса и Ницше, который многим пришелся по вкусу, показался пикантным. Бедный Ницше и бедная русская мысль! Каких только блюд не подают голодной русской интеллигенции, и все она приемлет, всем питается, в надежде, что будет побеждено зло самодержавия, и будет освобожден народ. Боюсь, что и самые метафизические и самые мистические учения будут у нас также приспособлены для домашнего употребления. А зло русской жизни, зло деспотизма и рабства не будет этим побеждено, так как оно не побеждается искаженным усвоением разных крайних учений. И Авенариус, и Ницше, да и сам Маркс очень мало нам помогут в борьбе с нашим вековечным злом, исказившим нашу природу и сделавшим нас столь невосприимчивыми к объективной истине. Интересы теоретической мысли у нас были принижены, но самая практическая борьба со злом всегда принимала характер исповедания отвлеченных теоретических учений. Истинной у нас называлась та философия, которая помогала бороться с самодержавием во имя социализма, а существенной стороной самой борьбы признавалось обязательное исповедание такой "истинной" философии.

Те же психологические особенности русской интеллигенции привели к тому, что она просмотрела оригинальную русскую философию, равно как и философское содержание великой русской литературы. Мыслитель такого калибра, как Чаадаев, совсем не был замечен и не был понят даже теми, которые о нем упоминали. Казалось, были все основания к тому, чтобы Вл.Соловьева признать нашим национальным философом, чтобы около него создать национальную философскую традицию. Ведь не может же создаться эта традиция вокруг Когена, Виндельбанда или другого какого-нибудь немца, чуждого русской душе. Соловьевым могла бы гордиться философия любой европейской страны. Но русская интеллигенция Вл.Соловьева не читала и не знала, не признала его своим. Философия Соловьева глубока и оригинальна, но она не обосновывает социализма, она чужда и народничеству, и марксизму, не может быть удобно превращена в орудие борьбы с самодержавием и потому не давала интеллигенции подходящего "мировоззрения", казалась чуждой, более далекой, чем "марксист" Авенариус, "народник" Ог.Конт и др. иностранцы. Величайшим русским метафизиком был, конечно, Достоевский, но его метафизика была совсем не по плечу широким слоям русской интеллигенции, он подозревался во всякого рода "реакционностях", да и действительно давал к тому повод. С грустью нужно сказать, что метафизический дух великих русских писателей

и не почуяла себе родным русская интеллигенция, настроенная позитивно. И остается открытым, кто национальнее, писатели эти или интеллигентский мир в своем господствующем сознании. Интеллигенция и Л.Толстого не признала настоящим образом своим, но примирялась с ним за его народничество и одно время подверглась духовному влиянию толстовства. В толстовстве была все та же вражда к высшей философии, к творчеству, признание греховности этой роскоши.

Особенно печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии. А русская философия не исчерпывается таким блестящим явлением, как Вл.Соловьев. Зачатки новой философии, преодолевающие европейский рационализм на почве высшего сознания, можно найти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно крупная фигура Чичерина, у которого многому можно было бы поучиться. Потом Козлов, кн.С.Трубецкой, Лопатин, Н.Лосский, наконец, мало известный В.Несмелов - самое глубокое явление, порожденное оторванной и далекой интеллигентскому сердцу почвой духовных академий. В русской философии есть, конечно, много оттенков, но есть и что-то общее, что-то своеобразное, образование какой-то новой философской традиции, отличной от господствующих традиций современной европейской философии. Русская философия в основной своей тенденции продолжает великие философские традиции прошлого, греческие и германские, в ней жив еще дух Платона и дух классического германского идеализма. Но германский идеализм остановился на стадии крайней отвлеченности и крайнего рационализма, завершенного Гегелем. Русские философы, начиная с Хомякова, дали острую критику отвлеченного идеализма и рационализма Гегеля и переходили не к эмпиризму, не к неокритицизму, а к конкретному идеализму, к онтологическому реализму к мистическому восполнению разума европейской философии, потерявшего живое бытие. И в этом нельзя не видеть творческих задатков нового пути для философии. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру. Русская философия не давала до сих пор "мировоззрения" в том смысле, какой только и интересен для русской интеллигенции, в кружковом смысле. К социализму философия эта прямого отношения не имеет, хотя кн.С.Трубецкой и называет свое учение о соборности сознания метафизическим социализмом; политикой философия эта в прямом смысле слова не интересуется, хотя у лучших ее представителей и была скрыта религиозная жажда царства Божьего на земле. Но в русской философии есть черты, роднящие ее с русской интеллигенцией, - жажда целостного мирозерцания, органического слияния истины и добра, знания и веры. Вражду к отвлеченному рационализму можно найти даже у академически-настроенных русских философов. И я думаю, что конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог

бы стать основой нашего национального философского творчества и мог бы создать национальную философскую традицию*, в которой мы так нуждаемся. Быстросменному увлечению модными европейскими учениями должна быть противопоставлена традиция, традиция же должна быть и универсальной, и национальной, - тогда лишь она плодотворна для культуры. В философии Вл.Соловьева и родственных ему по духу русских философов живет универсальная традиция, общеевропейская и общечеловеческая, но некоторые тенденции этой философии могли бы создать и традицию национальную. Это привело бы не к игнорированию и не к искажению всех значительных явлений европейской мысли, игнорируемых и искажаемых нашей космополитически-настроенной интеллигенцией, а к более глубокому и критическому проникновению в сущность этих явлений. Нам нужна не кружковая отсебятина, а серьезная философская культура, универсальная и вместе с тем национальная. Право же, Вл.Соловьев и кн.С.Трубецкой - лучшие европейцы, чем гг.Богданов и Луначарский; они были носителями мирового философского духа и вместе с тем национальными философами, так как заложили основы философии конкретного идеализма. Исторически-выработанные пред-рассудки привели русскую интеллигенцию к тому настроению, при котором она не могла увидеть в русской философии обоснования своего правдоискательства. Ведь интеллигенция наша дорожила свободой и исповедывала философию, в которой нет места для свободы, дорожила личностью и исповедывала философию, в которой нет места для личности, дорожила смыслом прогресса и исповедывала философию, в которой нет места для смысла прогресса, дорожила соборностью человечества и исповедывала философию, в которой нет места для соборности человечества, дорожила справедливостью и всякими высокими вещами и исповедывала философию, в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы то ни было высокого. Это почти сплошная, выработанная всей нашей историей аберрация сознания. Интеллигенция, в лучшей своей части, фанатически была готова на самопожертвование и не менее фанатически исповедывала материализм, отрицающий всякое самопожертвование; атеистическая философия, которой всегда увлекалась революционная интеллигенция, не могла санкционировать никакой святыни, между тем как интеллигенция самой этой философии придавала характер священный и дорожила своим материализмом и своим атеизмом фанатически, почти католически. Творческая философская мысль должна устранить эту аберрацию сознания и вывести его из тупика. Кто знает, какая философия станет у нас модной завтра, быть может, прагматическая философия Джемса и Бергсона, которых

* Истина не может быть национальной, истина всегда универсальна, но разные национальности могут быть призваны к раскрытию отдельных сторон истины. Свойства русского национального духа указуют на то, что мы призваны творить в области религиозной философии.

используют подобно Авенариусу и др., быть может, еще какая-нибудь новинка. Но от этого мы не подвинемся ни на шаг вперед в нашем философском развитии.

Традиционная вражда русской интеллигенции к философской работе мысли сказалась и на характере новейшей русской мистики. "Новый путь", журнал религиозных исканий и мистических настроений, всего более страдал отсутствием ясного философского сознания, относился к философии почти с презрением. Замечательнейшие наши мистики - Розанов, Мережковский, Вяч.Иванов хотя и дают богатый материал для новой постановки философских тем, но сами отличаются антифилософским духом, анархическим отрицанием философского разума. Еще Вл.Соловьев, соединявший в своей личности мистику с философией, заметил, что русским свойственно принижение разумного начала. Прибавлю, что нелюбовь к объективному разуму одинаково можно пайти и в нашем "правом" лагере, и в нашем "левом" лагере. Между тем как русская мистика, по существу своему очень ценная, нуждается в философской объективации и нормировке в интересах русской культуры. Я бы сказал, что дионисическое начало мистики необходимо сочетать с аполлоническим началом философии. Любовь к философскому исследованию истины необходимо привить и русским мистикам, и русским интеллигентам-атеистам. Философия есть один из путей объективирования мистики; высшей же и полной формой такого объективирования может быть лишь положительная религия. К русской мистике русская интеллигенция относилась подозрительно и враждебно, но в последнее время начинается поворот, и есть опасение, чтобы в повороте этом не обнаружилась родственная вражда к объективному разуму, равно как и склонность самой мистики утилизировать себя для традиционных общественных целей.

Интеллигентское сознание требует радикальной реформы, и очистительный огонь философии призван сыграть в этом важном деле немалую роль. Все исторические и психологические данные говорят за то, что русская интеллигенция может перейти к новому сознанию лишь на почве синтеза знания и веры, синтеза, удовлетворяющего положительно ценную потребность интеллигенции в органическом соединении теории и практики, "правды-истины" и "правды-справедливости". Но сейчас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее*. Это внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборный. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется лишь на почве традиции универсальной и

* Смирение перед истиной имеет большое моральное значение, но не должно вести к культу мертвой, отвлеченной истины.

национальной. Укрепление такой традиции должно способствовать культурному возрождению России. Это давно желанное и радостное возрождение, пробуждение дремлющих духов требует не только политического освобождения, но и освобождения от гнетущей власти политики, той эмансипации мысли, которую до сих пор трудно было встретить у наших политических освободителей*. Русская интеллигенция была такой, какой ее создала русская история, в ее психическом укладе отразились грехи нашей болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции. Застаревшее самовластие исказило душу интеллигенции, поработило ее не только внешне, но и внутренне, так как отрицательно определило все оценки интеллигентской души. Но недостойно свободных существ во всем всегда винить внешние силы и их виной себя оправдывать. Виновата и сама интеллигенция: атеистичность ее сознания есть вина ее воли, она сама избрала путь человекопоклонства и этим исказила свою душу, умертвила в себе инстинкт истины. Только сознание виновности нашей умопостигаемой воли может привести нас к новой жизни. Мы освободимся от внешнего гнета лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, т.е. возложим на себя ответственность и перестанем во всем винить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции.

1909 г.

* Политическое освобождение возможно лишь в связи с духовным и культурным возрождением и на его основе.

В защиту права

(Интеллигенция и правосознание)

Право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святость. Значение его более относительно, его содержание создается отчасти изменчивыми экономическими и социальными условиями. Относительное значение права дает повод некоторым теоретикам определять очень низко его ценность. Одни видят в праве только этический минимум, другие считают неотъемлемым элементом его принуждение, т.е. насилие. Если это так, то нет основания упрекать нашу интеллигенцию в игнорировании права. Она стремилась к более высоким и безотносительным идеалам и могла пренебречь на своем пути этой второстепенною ценностью.

Но духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль. Право в гораздо большей степени дисциплинирует человека, чем логика и методология, или чем систематические упражнения воли. Главное же, в противоположность индивидуальному характеру этих последних дисциплинирующих систем, право — по преимуществу социальная система и притом единственная социально дисциплинирующая система. Социальная дисциплина создается только правом; дисциплинированное общество и общество с развитым правовым порядком — тождественные понятия.

С этой точки зрения и содержание права выступает в другом освещении. Главное и самое существенное содержание права составляет свобода. Правда, это свобода внешняя, относительная, обусловленная общественной средой. Но внутренняя, более безотносительная, духовная свобода возможна только при существовании свободы внешней, и последняя есть самая лучшая школа для первой.

Если иметь в виду это всестороннее дисциплинирующее значение права и отдать себе отчет в том, какую роль оно сыграло в духовном развитии русской интеллигенции, то получатся результаты крайне неутешительные. Русская интеллигенция состоит из людей, которые ни индивидуально, ни социально не дисциплинированы. И это находится в связи с тем, что русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем запоне. При

таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития.

I.

Правосознание нашей интеллигенции могло бы развиваться в связи с разработкой правовых идей в литературе. Такая разработка была бы вместе с тем показателем нашей правовой сознательности. Напряженная деятельность сознания, неустанная работа мысли в каком-нибудь направлении всегда получают свое выражение в литературе. В ней прежде всего мы должны искать свидетельства о том, каково наше правосознание. Но здесь мы наталкиваемся на поразительный факт: в нашей "богатой" литературе в прошлом нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы общественное значение. Ученые юридические исследования у нас, конечно, были, но они всегда составляли достояние только специалистов. Не они нас интересуют, а литература, приобретшая общественное значение; в ней же не было ничего такого, что способно было бы пробудить правосознание нашей интеллигенции. Можно сказать, что в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея. И теперь в той совокупности идей, из которой складывается мировоззрение нашей интеллигенции, идея права не играет никакой роли. Литература является именно свидетельницей этого пробела в нашем общественном сознании.

Как не похоже в этом отношении наше развитие на развитие других цивилизованных народов! У англичан в соответствующую эпоху мы видим, с одной стороны, трактаты Гоббса "О гражданине" и о государстве - "Левиафане" и Фильмера о "Патриархе", а с другой - сочинения Мильтона в защиту свободы слова и печати, памфлеты Лилльборна и правовые идеи уравниателей - "левеллеров". Самая бурная эпоха в истории Англии породила и наиболее крайние противоположности в правовых идеях. Но эти идеи не уничтожили взаимно друга друга, и в свое время был создан сравнительносносный компромисс, получивший свое литературное выражение в этюдах Локка "О правительстве".

У французов идейное содержание образованных людей в XVIII столетии определялось далеко не одними естественнонаучными открытиями и натурфилософскими системами. Напротив, большая часть всей совокупности идей, господствовавших в умах французов этого века просвещения, несомненно, была заимствована из "Духа законов" Монтескье и "Общественного договора" Руссо. Это были чисто правовые идеи; даже идея общественного договора, которую в середине XIX столетия неправильно истолковали в социологическом смысле определения генезиса общественной организации,

была по преимуществу правовой идеей, устанавливавшей высшую норму для регулирования общественных отношений.

В немецком духовном развитии правовые идеи сыграли не меньшую роль. Здесь к концу XVIII столетия создалась уже прочная многовековая традиция благодаря Альтужио, Пуфендорфу, Томазио и Хр.Вольфу. Наконец, в предконституционную эпоху, которая была вместе с тем и эпохой наибольшего расцвета немецкой духовной культуры, право уже признавалось неотъемлемой составной частью этой культуры. Вспомним хотя бы, что три представителя немецкой классической философии - Кант, Фихте и Гегель - уделили очень видное место в своих системах философии права. В системе Гегеля философия права занимала совершенно исключительное положение, и потому он поспешил ее изложить немедленно после логики или онтологии, между тем как философия истории, философия искусства и даже философия религии так и остались им ненаписанными и были изданы только после его смерти по запискам его слушателей. Философию права культивировали и большинство других немецких философов, таких, как Герbart, Краузе, Фриз и другие. В первой половине XIX столетия "Философия права" была, несомненно, наиболее часто встречающейся философской книгой в Германии. Но помимо этого уже во втором десятилетии того же столетия возник знаменитый спор между двумя юристами - Тибо и Савиньи - "О призвании нашего времени к законодательству и правоведению". Чисто юридический спор этот имел глубокое культурное значение; он заинтересовал все образованное общество Германии и способствовал более интенсивному пробуждению его правосознания. Если этот спор ознаменовал окончательный упадок идеи естественного права, то в то же время он привел к торжеству новой школы права - исторической. Из этой школы вышла такая замечательная книга, как "Обычное право" Пухты. С ней самым тесным образом связано развитие новой юридической школы германистов, разрабатывающих и отстаивающих германские институты права в противоположность римскому праву. Один из последователей этой школы, Безелер, в своей замечательной книге "Народное право и право юристов" оттенил значение народного правосознания еще больше, чем это сделал Пухта в своем "Обычном праве".

Ничего аналогичного в развитии нашей интеллигенции нельзя указать. У нас при всех университетах созданы юридические факультеты; некоторые из них существуют более ста лет; есть у нас и полдесятка специальных юридических высших учебных заведений. Все это составит на всю Россию около полсотни юридических кафедр. Но ни один из представителей этих кафедр не дал не только книги, но даже правового этюда, который имел бы широкое общественное значение и повлиял бы на правосознание нашей интеллигенции. В нашей юридической литературе нельзя указать даже ни одной статейки, которая выдвинула бы впервые хотя бы такую, по

существо, не глубокую, но все-таки верную и боевую правовую идею, как иерниговская "Борьба за право". Ни Чичерин, ни Соловьев не создали чего-либо значительного в области правовых идей. Да и то хорошее, что они дали, оказалось почти бесплодным: их влияние на нашу интеллигенцию было ничтожно; менее всего нашли в ней отзвук именно их правовые идеи. В последнее время у нас выдвинуты идея возрождения естественного права и идея интуитивного права. Говорить о значении их для нашего общественного развития пока преждевременно. Однако ничто до сих пор не дает основания предположить, что они будут иметь широкое общественное значение. В самом деле, где у этих идей тот внешний облик, та определенная формула, которые обыкновенно придают идеям эластичность и помогают их распространению? Где та книга, которая была бы способна пробудить при посредстве этих идей правосознание нашей интеллигенции? Где наш "Дух законов", наш "Общественный договор"?

Нам могут сказать, что русский народ вступил чересчур поздно на исторический путь, что нам незачем самостоятельно вырабатывать идеи свободы и прав личности, правового порядка, конституционного государства, что все эти идеи давно высказаны, развиты в деталях, воплощены, и потому нам остается только их заимствовать. Если бы это было даже так, то и тогда мы должны были бы все-таки пережить эти идеи; недостаточно заимствовать их, надо в известный момент жизни быть всецело охваченными ими; как бы ни была сама по себе стара та или другая идея, она для переживающего ее впервые всегда нова; она совершает творческую работу в его сознании, ассимилируясь и претворяясь с другими элементами его; она возбуждает его волю к активности, к действию; между тем правосознание русской интеллигенции никогда не было охвачено всецело идеями прав личности и правового государства, и они не пережиты вполне нашей интеллигенцией. Но это и по существу не так. Нет единых и одних <и> тех же идей свободы личности, правового строя, конституционного государства, одинаковых для всех народов и времен, как нет капитализма или другой хозяйственной или общественной организации, одинаковой во всех странах. Все правовые идеи в сознании каждого отдельного народа получают своеобразную окраску и свой собственный оттенок.

II.

Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла - отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа. По поводу этого Герцен еще в начале пятидесятых годов прошлого века писал: "правовая необеспеченность, искони тяготевшая над народом, была для него своего

рода школою. Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его ненавидеть и другую; он подчиняется им, как силе. Полное неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство". Дав такую безотрадную характеристику нашей правовой неорганизованности, сам Герцен, однако, как настоящий русский интеллигент, прибавляет: "Это тяжело и печально сейчас, но для будущего это - огромное преимущество. Ибо это показывает, что в России позади видимого государства не стоит его идеал, государство невидимое, апофеоз существующего порядка вещей".

Итак, Герцен предполагает, что в этом коренном недостатке русской общественной жизни заключается известное преимущество. Мысль эта принадлежала не лично ему, а всему кружку людей сороковых годов, и главным образом, славянофильской группе их. В слабости внешних правовых форм и даже в полном отсутствии внешнего правопорядка в русской общественной жизни они усматривали положительную, а не отрицательную сторону. Так, Константин Аксаков утверждал, что в то время, как "западное человечество" двинулось "путем внешней правды, путем государства", русский народ пошел путем "внутренней правды". Поэтому отношения между народом и Государем в России, особенно до-Петровской, основывались на взаимном доверии и на обоюдном искреннем желании пользы. "Однако, - предполагал он, - нам скажут: или народ или власть могут изменить друг другу. Гарантия нужна!" - И на это он отвечал: "Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет добра, чем стоять с помощью зла". Это отрицание необходимости правовых гарантий и даже признание их злом побудило поэта-юмориста Б.Н.Алмазова вложить в уста К.С.Аксакова стихотворение, которое начинается следующими стихами:

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал... и т.д.

В этом стихотворении в несколько утрированной форме, но по существу верно, излагались взгляды К.С.Аксакова и славянофилов.

Было бы ошибочно думать, что игнорирование значения правовых принципов для общественной жизни было особенностью славянофилов. У славянофилов оно выражалось только в более резкой форме и эпигонами их было доводимо до крайности; напр.,

К.Н.Леонтьев чуть не прославлял русского человека за то, что ему чужда "вексельная честность" западноевропейского буржуа. Но мы знаем, что и Герцен видел некоторое наше преимущество в том, что у нас нет прочного правопорядка. И надо признать общим свойством всей нашей интеллигенции непонимание значения правовых норм для общественной жизни...

III.

Основу прочного правопорядка составляет свобода личности и ее неприкосновенность. Казалось бы, у русской интеллигенции было достаточно мотивов проявлять интерес именно к личным правам. Искони у нас было признано, что все общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность. Поэтому даже смена общественных направлений у нас характеризуется заменой одной формулы, касающейся личности, другой. Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность *quantité négligeable** и отстаивавшие соборную личность. Наконец, в последнее время ницшеанство, штирнерианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодовлеющей личности, эгоистической личности и сверхличности. Трудно найти более разностороннюю и богатую разработку идеала личности, и можно было бы думать, что, по крайней мере, она является исчерпывающей. Но именно тут мы констатируем величайший пробел, так как наше общественное сознание никогда не выдвигало идеала **правовой личности**. Обе стороны этого идеала - личности, дисциплинированной правом и устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и свободно пользующейся ими, чужды сознанию нашей интеллигенции.

Целый ряд фактов не оставляет относительно этого никакого сомнения. Духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали **правовые интересы личности**, или выказывали к ним даже прямую враждебность. Так, один из самых выдающихся наших юристов-мыслителей К.Д.Кавелин уделил очень много внимания вопросу о личности вообще: в своей статье "Взгляд на юридический быт древней Руси", появившейся в "Современнике" еще в 1847 году, он первый отметил, что в истории русских правовых институтов личность заслонялась семьей, общиной, государством и не получила своего правового определения; за тем с конца шестидесятых годов он занялся вопросами психологии и этики именно потому, что надеялся найти в теоретическом выяс-

* Незначительная величина (франц.) - Ред.

нении соотношения между личностью и обществом средство к правильному решению всех наболевших у нас общественных вопросов. Но это не мешало ему в решительный момент в начале шестидесятых годов, когда впервые был поднят вопрос о завершении реформ Александра II, проявить невероятное равнодушие к гарантиям личных прав. В 1862 году в своей брошюре, изданной анонимно в Берлине, и особенно в переписке, которую он вел тогда с Герценом, он беспощадно критиковал конституционные проекты, которые выдвигались в то время дворянскими собраниями; он считал, что народное представительство будет состоять у нас из дворян и, следовательно, приведет к господству дворянства. Отвергая во имя своих демократических стремлений конституционное государство, он игнорировал, однако, его правовое значение. Для К.Д.Кавелина, поскольку он высказался в этой переписке, как бы не существует бесспорная, с нашей точки зрения, истина, что свобода и неприкосновенность личности осуществимы только в конституционном государстве, так как вообще идея борьбы за права личности была ему тогда совершенно чужда.

В семидесятых годах это равнодушие к правам личности, переходящее иногда во враждебность, не только усилилось, но и приобрело известное теоретическое оправдание. Лучшим выразителем этой эпохи был, несомненно, Н.К.Михайловский, который за себя и за свое поколение дал классический по своей определенности и точности ответ на интересующий нас вопрос. Он прямо заявляет, что "свобода - великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу", и прибавляет: "я твердо знаю, что выразил одну из интимнейших и задушевнейших идей нашего времени; ту именно, которая придает семидесятым годам оригинальную физиономию и ради которой они, эти семидесятые годы, принесли страшные, не исчислимые жертвы"*. В этих словах отрицание правового строя было возведено в систему, вполне определенно обоснованную и развитую. Вот как оправдывал Михайловский эту систему: "Скептически настроенные по отношению к принципу свободы, мы готовы были не домогаться никаких прав для себя; не привилегий только, об этом и говорить нечего, а самых даже элементарных параграфов того, что в старину называлось естественным правом. Мы были совершенно согласны довольствоваться в юридическом смысле акридами и диким медом и лично претерпевать всякие невзгоды. Конечно, это отречение было, так сказать, платоническое, потому что нам, кроме акрид и дикого меда, никто ничего и не предлагал, но я говорю о настроении, а оно именно таково было и доходило до пределов, даже мало вероятных, о чем в свое время скажет история. "Пусть секут, мужика секут же" - вот как, примерно, можно выразить это настроение в его крайнем проявлении. И все

* См. сочинения Н.К.Михайловского Т.IV. С.949.

это ради одной возможности, в которую мы всю душу клали; именно возможности непосредственного перехода к лучшему, вышшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства. Мы верили, что Россия может проложить себе новый исторический путь, особый от европейского, причем опять-таки для нас важно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа*.

Здесь высказаны основные положения народнического мировоззрения, поскольку оно касалось правовых вопросов. Михайловский и его поколение отказывались от политической свободы и конституционного государства ввиду возможности непосредственного перехода России к социалистическому строю. Но все это социологическое построение было основано на полном непонимании природы конституционного государства. Как Кавелин возражал против конституционных проектов потому, что в его время народное представительство в России оказалось бы дворянским, так Михайловский отвергал конституционное государство, как буржуазное. Вследствие присущей нашей интеллигенции слабости правового сознания тот и другой обращали внимание только на социальную природу конституционного государства и не замечали его правового характера, хотя сущность его именно в том, что оно прежде всего правовое государство. А правовой характер конституционного государства получает наиболее яркое свое выражение в ограждении личности, ее неприкосновенности и свободе.

IV.

Из трех главных определений права по содержанию правовых норм как норм, устанавливающих и ограничивающих свободу (школа естественного права и немецкие философы-идеалисты), - норм, разграничивающих интересы (Иеринг), и наконец, - норм, создающих компромисс между различными требованиями (Адольф Меркель), последнее определение заслуживает особенного внимания с социологической точки зрения. Всякий сколько-нибудь важный новоиздающийся закон в современном конституционном государстве является компромиссом, выработанным различными

*Там же. С.952. - Прим. ко 2-му изд. Статья, из которой заимствованы вышеприведенные отрывки, написана в сентябре 1880 г. В это время народническое мировоззрение утратило свой некогда цельный характер, так как более чем за два года перед тем из недр этого движения возникла партия "Народной воли" для борьбы за политическую свободу. Н.К.Михайловский сочувствовал этой борьбе, а в своей статье он уже полемизировал с славянофилами, по-прежнему доказывавшими ненужность гарантий; об отрицании необходимости политической свободы он говорит, как о факте прошлого всей народнической интеллигенции.

партиями, выражающими требования тех социальных групп или классов, представителями которых они являются. Само современное государство основано на компромиссе, и конституция каждого отдельного государства есть компромисс, примиряющий различные стремления наиболее влиятельных социальных групп в данном государстве. Поэтому современное государство с социально-экономической точки зрения только чаще всего бывает по преимуществу буржуазным, но оно может быть и по преимуществу дворянским; так, наприм., Англия до избирательной реформы 1832 года была конституционным государством, в котором господствовало дворянство, а Пруссия, несмотря на шестидесятилетнее существование конституции, до сих пор больше является дворянским, чем буржуазным государством. Но конституционное государство может быть и по преимуществу рабочим и крестьянским, как это мы видим на примере Новой Зеландии и Норвегии. Наконец, оно может быть лишено определенной классовой окраски в тех случаях, когда между классами устанавливается равновесие и ни один из существующих классов не получает безусловного перевеса. Но если современное конституционное государство оказывается часто основанным на компромиссе даже по своей социальной организации, то тем более оно является таковым по своей политической и правовой организации. Это и позволяет социалистам, несмотря на принципиальное отрицание конституционного государства, как буржуазного, сравнительно легко с ним уживаться и, участвуя в парламентской деятельности, пользоваться им как средством. Поэтому и Кавелин, и Михайловский были правы, когда предполагали, что конституционное государство в России будет или дворянским, или буржуазным; но они были неправы, когда выводили отсюда необходимость непримиримой вражды к нему и не допускали его даже как компромисс; на компромисс с конституционным государством идут социалисты всего мира.

Однако важнее всего то, что, как было отмечено выше, Кавелин, Михайловский и вся русская интеллигенция, следовавшая за ними, упускали совершенно из вида правовую природу конституционного государства. Если же мы сосредоточим свое внимание на правовой организации конституционного государства, то для уяснения его природы мы должны обратиться к понятию права в его чистом виде, т.е. с его подлинным содержанием, не заимствованным из экономических и социальных отношений. Тогда недостаточно указывать на то, что право разграничивает интересы или создает компромисс между ними, а надо прямо настаивать на том, что право только там, где есть свобода личности. В этом смысле правовой порядок есть система отношений, при которых все лица данного общества обладают наибольшей свободой деятельности и самоопределения. Но в этом смысле правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом связаны, и

социалистический строй с юридической точки зрения есть только более последовательно проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получают вполне точную правовую формулировку.

При общем убожестве правового сознания русской интеллигенции и такие вожди ее, как Кавелин и Михайловский, не могли пытаться дать правовое выражение - первый для своего демократизма, а второй для социализма. Они отказывались даже отстаивать хотя бы минимум правового порядка, и Кавелин высказывался против конституции, а Михайловский скептически относился к политической свободе. Правда, в конце семидесятых годов события заставили передовых народников и самого Михайловского выступить на борьбу за политическую свободу. Но эта борьба, к которой народники пришли не путем развития своих идей, а в силу внешних обстоятельств и исторической необходимости, конечно, не могла увенчаться успехом. Личный героизм членов партии "Народной воли" не мог искупить основного идейного дефекта не только всего народнического движения, но и всей русской интеллигенции. Наступившая во второй половине восьмидесятых годов реакция была тем мрачнее и беспросветнее, что при отсутствии каких бы то ни было правовых основ и гарантий для нормальной общественной жизни наша интеллигенция не была даже в состоянии вполне отчетливо сознавать всю бездну бесправия русского народа. Не было теоретических формул, которые определяли бы это бесправие.

Только новая волна западничества, хлынувшая в начале девяностых годов вместе с марксизмом, начала немного прояснять правовое сознание русской интеллигенции. Постепенно русская интеллигенция стала усваивать азбучные для европейцев истины, которые в свое время действовали на нашу интеллигенцию как величайшие откровения. Наша интеллигенция, наконец, поняла, что всякая социальная борьба есть борьба политическая, что политическая свобода есть необходимая предпосылка социалистического строя, что конституционное государство, несмотря на господство в нем буржуазии, предоставляет рабочему классу больше простора для борьбы за свои интересы, что рабочий класс нуждается прежде всего в неприкосновенности личности и в свободе слова, стачек, собраний и союзов, что борьба за политическую свободу есть первая и насущнейшая задача всякой социалистической партии, и т.д. и т.п. Можно было ожидать, что наша интеллигенция, наконец, признает и безотносительную ценность личности и потребует осуществления ее прав и неприкосновенности. Но дефекты правосознания нашей интеллигенции не так легко устранимы. Несмотря на школу марксизма, пройденную ею, отношение ее к праву осталось прежним. Об этом можно судить хотя бы по идеям, господствующим в нашей социал-демократической партии, к которой еще недавно примыкало боль-

шинство нашей интеллигенции. В этом отношении особенный интерес представляют протоколы так называемого Второго очередного съезда "Российской социал-демократической рабочей партии", заседавшего в Брюсселе в августе 1903 года и выработавшего программу и устав партии. От первого съезда этой партии, происходившего в Минске в 1898 году, не сохранилось протоколов; опубликованный же от его имени манифест не был выработан и утвержден на съезде, а составлен П.Б.Струве по просьбе одного члена Центрального Комитета. Таким образом, "полный текст протоколов Второго очередного съезда Р.С.-Д.Р.П.", изданный в Женеве в 1903 году, представляет первый по времени и потому особенно замечательный памятник мышления по вопросам права и политики определенной части русской интеллигенции, организовавшейся в социал-демократическую партию. Что в этих протоколах мы имеем дело с интеллигентскими мнениями, а не с мнениями членов "рабочей партии" в точном смысле слова, это засвидетельствовал участник съезда и один из духовных вождей русской социал-демократии того времени, г.Старовер (А.Н.Потресов), в своей статье "О кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии"*.

Мы, конечно, не можем отметить здесь все случаи, когда в ходе прений отдельные участники съезда обнаруживали поразительное отсутствие правового чувства и полное непонимание значения юридической правды. Достаточно указать на то, что даже идейные вожди и руководители партии часто отстаивали положения, противоречившие основным принципам права. Так, Г.В.Плеханов, который более кого бы то ни было способствовал разоблачению народных иллюзий русской интеллигенции и за свою двадцатипятилетнюю разработку социал-демократических принципов, справедливо признается наиболее видным теоретиком партии, выступил на съезде с проповедью относительности всех демократических принципов, равносильной отрицанию твердого и устойчивого правового порядка и самого конституционного государства. По его мнению, "каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что *salus populi suprema lex***". В переводе на язык революционера это значит, что успех революции - высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принципы всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демок-

* См.: *Потресов А.Н.* Этюды о русской интеллигенции: Сб.ст. СПб., 1908. С.253 и сл.

** Благо народа - высший закон (лат.) - Ред.

раты, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежавших к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила *salus revolutiae suprema lex**. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент - своего рода *chambre introuvable***, - то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели"***.

Провозглашенная в этой речи идея господства силы и захватной власти вместо господства принципов права прямо чудовищна. Даже в среде членов социал-демократического съезда, привыкших преклоняться лишь перед социальными силами, такая постановка вопроса вызвала оппозицию. Очевидцы передают, что после этой речи из среды группы "бундистов", представителей более близких к Западу социальных элементов, послышались возгласы: "не лишит ли тов. Плеханов буржуазию и свободы слова и неприкосновенности личности?" Но эти возгласы, как исходившие не от очередных ораторов, не занесены в протокол. Однако к чести русской интеллигенции надо заметить, что и ораторы, стоявшие на очереди, принадлежавшие, правда, к оппозиционному меньшинству на съезде, заявили протест против слов Плеханова. Член съезда Егоров заметил, что "законы войны одни, а законы конституции - другие, и Плеханов не принял во внимание, что социал-демократы составляют "свою программу на случай конституции". Другой член съезда Гольдблат нашел слова Плеханова "подражанием буржуазной тактики. Если быть последовательным, то, исходя из слов Плеханова, требование всеобщего избирательного права надо вычеркнуть из социал-демократической программы".

Как бы то ни было, вышеприведенная речь Плеханова, несомненно, является показателем не только крайне низкого уровня правового сознания нашей интеллигенции, но и наклонности к его извращению. Даже наиболее выдающиеся вожди ее готовы во имя временных выгод отказаться от непреложных принципов правового строя. Понятно, что с таким уровнем правосознания русская интеллигенция в освободительную эпоху не была в состоянии практически осуществить даже элементарные права личности - свободу

* Благо революции - высший закон (лат.) - Ред.

** Неуловимая палата (франц.) - Ред.

*** См.: Полн. текст протоколов 2-го очеред. съезда Р.С.-Д.Р.П. Женева, 1903. С.169-170.

слова и собраний. На наших митингах свободой слова пользовались только ораторы, угодные большинству; все несогласно мыслящие заглушались криками, свистками, возгласами "довольно", а иногда даже физическим воздействием. Устройство митингов превратилось в привилегию небольших групп, и потому они утратили большую часть своего значения и ценности, так что в конце концов ими мало дорожили. Ясно, что из привилегии малочисленных групп устраивать митинги и пользоваться на них свободой слова не могла родиться действительная свобода публичного обсуждения политических вопросов; из нее возникла только другая привилегия противоположных общественных групп получать иногда разрешение устраивать собрания.

Убожеством нашего правосознания объясняется и поразительное бесплодие наших революционных годов в правовом отношении. В эти годы русская интеллигенция проявила полное непонимание правотворческого процесса; она даже не знала той основной истины, что старое право не может быть просто отменено, так как отмена его имеет силу только тогда, когда оно заменяется новым правом. Напротив, простая отмена старого права ведет лишь к тому, что временно оно как бы не действует, но зато потом восстанавливается во всей силе. Особенно определенно это сказалось в проведении явочным порядком свободы собраний. Наша интеллигенция оказалась неспособной создать немедленно для этой свободы известные правовые формы. Отсутствие каких бы то ни было форм для собраний хотели даже возвести в закон, как это видно из чрезвычайно характерных дебатов в первой Государственной Думе, посвященных "законопроекту" о свободе собраний. По поводу этих дебатов один из членов первой Государственной Думы, выдающийся юрист, совершенно справедливо замечает, что "одно голое провозглашение свободы собраний на практике привело бы к тому, что граждане стали бы сами восставать в известных случаях против злоупотреблений этой свободой. И как бы ни были несовершенны органы исполнительной власти, во всяком случае, безопаснее и вернее поручить им дело защиты граждан от этих злоупотреблений, чем оставить это на произвол частной саморасправы". По его наблюдениям, "те самые лица, которые стояли в теории за такое невмешательство должностных лиц, на практике горько сетовали и делали запросы министрам по поводу бездействия власти каждый раз, когда власть отказывалась действовать для защиты свободы и жизни отдельных лиц". "Это была прямая непоследовательность", - прибавляет он, - объяснявшаяся "недостатком юридических сведений"*. Теперь мы дожили до того, что даже в Государственной Думе третьего созыва не существует полной и равной для всех свободы слова, так как сво-

*Новгородцев П. Законодательная деятельность Государственной Думы. См. сборник статей "Первая Государственная Дума". СПб., 1907. Вып. II. С. 22.

бода при обсуждении одних и тех же вопросов для господствующей партии и оппозиции не одинакова. Это тем более печально, что народное представительство независимо от своего состава должно отражать, по крайней мере правовую совесть всего народа, как минимум его этической совести.

V.

Правосознание всякого народа всегда отражается в его способности создавать организации и вырабатывать для них известные формы. Организации и их формы невозможны без правовых норм, регулирующих их, и потому возникновение организаций необходимо сопровождается разработкой этих норм. Русский народ в целом не лишен организаторских талантов; ему, несомненно, присуще тяготение даже к особенно интенсивным видам организации; об этом достаточно свидетельствует его стремление к общинному быту, его земельная община, его артели и т.п. Жизнь и строение этих организаций определяются внутренним сознанием о праве и неправе, живущем в народной душе. Этот по преимуществу внутренний характер правосознания русского народа был причиной ошибочного взгляда на отношение нашего народа к праву. Он дал повод сперва славянофилам, а затем народникам предполагать, что русскому народу чужды "юридические начала", что, руководясь только своим внутренним сознанием, он действует исключительно по этическим побуждениям. Конечно, нормы права и нормы нравственности в сознании русского народа недостаточно дифференцированы и живут в слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и дефекты русского народного обычного права; оно лишено единства, а еще больше ему чужд основной признак всякого обычного права - единообразное применение.

Но именно тут интеллигенция и должна была бы прийти на помощь народу и способствовать как окончательному дифференцированию норм обычного права, так и более устойчивому их применению, а также их дальнейшему систематическому развитию. Только тогда народническая интеллигенция смогла бы осуществить поставленную ею себе задачу способствовать укреплению и развитию общинных начал; вместе с тем сделалось бы возможным пересоздание их в более высокие формы общественного быта, приближающиеся к социалистическому строю. Ложная исходная точка зрения, предположение, что сознание нашего народа ориентировано исключительно этически, помешало осуществлению этой задачи и привело интеллигентские надежды к крушению. На одной этике нельзя построить конкретных общественных форм. Такое стремление противоестественно; оно ведет к уничтожению и дискредитированию этики и к окончательному притушению правового сознания.

Всякая общественная организация нуждается в **правовых нор-**

мах, т.е. в правилах, регулирующих не внутреннее поведение людей, что составляет задачу этики, а их поведение внешнее. Определяя внешнее поведение, правовые нормы однако сами не являются чем-то внешним, так как они живут прежде всего в нашем сознании и являются такими же внутренними элементами нашего духа, как и этические нормы. Только будучи выраженными в статьях законов или примененными в жизни, они приобретают и внешнее существование. Между тем, игнорируя все внутреннее или, как теперь выражаются, интуитивное право, наша интеллигенция считала правом только те внешние, безжизненные нормы, которые так легко укладываются в статьи и параграфы писаного закона или какого-нибудь устава. Чрезвычайно характерно, что паряду со стремлением построить сложные общественные формы исключительно на этических принципах, наша интеллигенция в своих организациях обнаруживает поразительное пристрастие к формальным правилам и подробной регламентации; в этом случае она проявляет особенную веру в статьи и параграфы организационных уставов. Явление это, могущее показаться непонятным противоречием, объясняется именно тем, что в правовой норме наша интеллигенция видит не правовое убеждение, а лишь правило, получившее внешнее выражение.

Здесь мы имеем одно из типичнейших проявлений низкого уровня правосознания. Как известно, тенденция к подробной регламентации и регулированию всех общественных отношений статьями писаных законов присуща полицейскому государству, и она составляет отличительный признак его в противоположность государству правовому. Можно сказать, что правосознание нашей интеллигенции и находится на стадии развития, соответствующей формам полицейской государственности. Все типичные черты последней отражаются на склонностях нашей интеллигенции к формализму и бюрократизму. Русскую бюрократию обыкновенно противопоставляют русской интеллигенции, и это в известном смысле правильно. Но при этом противопоставлении может возникнуть целый ряд вопросов: так ли уж чужд мир интеллигенции миру бюрократии; не есть ли наша бюрократия отпрыск нашей интеллигенции; не питается ли она соками из нее; не лежит ли, наконец, на нашей интеллигенции вина в том, что у нас образовалась такая могущественная бюрократия? Одно, впрочем, несомненно, — наша интеллигенция всецело проникнута своим интеллигентским бюрократизмом. Этот бюрократизм проявляется во всех организациях нашей интеллигенции и особенно в ее политических партиях.

Наши партийные организации возникли еще в дореволюционную эпоху. К ним примыкали люди искренние в своих идеальных стремлениях, свободные от всяких предрассудков и жертвовавшие очень многим. Казалось бы, эти люди могли воплотить в своих свободных организациях хоть часть тех идеалов, к которым они

стремились. Но вместо этого мы видим только рабское подражание уродливым порядкам, характеризующим государственную жизнь России.

Возьмем хотя бы ту же социал-демократическую партию. На втором очередном съезде ее, как было уже упомянуто, был выработан устав партии. Значение устава для частного союза соответствует значению конституции для государства. Тот или другой устав как бы определяет республиканский или монархический строй партии, он придает аристократический или демократический характер ее центральным учреждениям и устанавливает права отдельных членов по отношению ко всей партии. Можно было бы думать, что устав партии, состоящей из убежденных республиканцев, обеспечивает ее членам хоть минимальные гарантии свободы личности и правового строя. Но, по-видимому, свободное самоопределение личности и республиканский строй для представителей нашей интеллигенции есть мелочь, которая не заслуживает внимания; по крайней мере, она не заслуживает внимания тогда, когда требуется не провозглашение этих принципов в программах, а осуществление в повседневной жизни. В принятом на съезде уставе социал-демократической партии менее всего осуществлялись какие бы то ни было свободные учреждения. Вот как охарактеризовал этот устав Мартов, лидер группы членов съезда, оставшихся в меньшинстве: "вместе с большинством старой редакции (газеты "Искра") я думал, что съезд положит конец "осадному положению" внутри партии и введет в ней нормальный порядок. В действительности осадное положение с исключительными законами против отдельных групп продолжено и даже обострено*. Но эта характеристика несколько не смутила руководителя большинства Ленина, настоявшего на принятии устава с осадным положением. "Меня несколько не пугают, - сказал он, - страшные слова об "осадном положении", об "исключительных законах" против отдельных лиц и групп и т.п. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, мы обязаны создавать "осадное положение", и весь наш устав партии, весь наш утвержденный отныне съездом централизм есть не что иное, как "осадное положение" для столь многочисленных источников политической расплывчатости. Против расплывчатости именно и нужны особые, хотя бы и исключительные законы, и сделанный съездом шаг правильно наметил политическое направление, создав прочный базис для таких законов и таких мер"**. Но если партия, состоящая из интеллигентных республиканцев, не может обходиться у нас без осадного положения и исключительных законов, то становится понятным, почему Россия до сих пор еще управляется при помощи чрезвычайной охраны и военного положения.

* Полн. текст протоколов 2-го очеред. съезда Р.С.-Д.Р.П. Женева, 1903. С.331.

** Там же. С.333 и сл.

Для характеристики правовых понятий, господствующих среди нашей радикальной интеллигенции, надо указать на то, что устав с "осадным положением в партии" был принят большинством всего двух голосов. Таким образом, был нарушен основной правовой принцип, что уставы обществ, как и конституции, утверждаются на особых основаниях квалифицированным большинством. Руководитель большинства на съезде не пошел на компромисс даже тогда, когда для всех стало ясно, что принятие устава с осадным положением приведет к расколу в партии, почему создавшееся положение безусловно обязывало к компромиссу. В результате действительно возник раскол между "большевиками" и "меньшевиками". Но интереснее всего то, что принятый устав партии, который послужил причиной раскола, оказался совершенно негодным на практике. Поэтому менее чем через два года - в 1905 году, - на так называемом третьем очередном съезде, состоявшем из одних "большевиков" ("меньшевики" уклонились от участия в нем, заявив протест против самого способа представительства на нем), устав 1903 года был отменен, а вместо него был выработан новый партийный устав, приемлемый и для меньшевиков. Однако это уже не привело к объединению партии. Разойдясь первоначально по вопросам организационным, "меньшевики" и "большевики" довели затем свою вражду до крайних пределов, распространив ее на все вопросы тактики. Здесь уже начали действовать социально-психологические законы, приводящие к тому, что раз возникшие рознь и противоречия между людьми в силу присущих им внутренних свойств постоянно углубляются и расширяются. Правда, лица с сильно развитым сознанием должного в правовом отношении могут подавить эти социально-психологические эмоции и не дать им развиваться. Но на это способны только те люди, которые вполне отчетливо сознают, что всякая организация и вообще всякая общественная жизнь основана на компромиссе. Наша интеллигенция, конечно, на это неспособна, так как она еще не настолько выработала свое правовое сознание, чтобы открыто признавать необходимость компромиссов; у нас, у людей принципиальных, последние всегда носят скрытый характер и основываются исключительно на личных отношениях.

Вера во всемогущество уставов и в силу принудительных правил нисколько не является чертой, свойственной лишь одним русским социал-демократам. В ней сказались язвы всей нашей интеллигенции. Во всех наших партиях отсутствует истинно живое и деятельное правосознание. Мы могли бы привести аналогичные примеры из жизни другой нашей социалистической партии, социалистов-революционеров, или наших либеральных организаций, напр., "Союза освобождения", но, к сожалению, должны отказаться от этого громоздкого аппарата фактов. Обратим внимание лишь на одну в высшей степени характерную черту наших партийных организаций. Нигде не говорят так много о партийной дисциплине, как у нас; во всех партиях, на всех съездах ведутся нескончаемые рассуждения о

требованиях, предписываемых дисциплиной. Конечно, многие склонны объяснять это тем, что открытые организации для нас дело новое, и в таком объяснении есть доля истины. Но это не вся и не главная истина. Наиболее существенная причина этого явления заключается в том, что нашей интеллигенции чужды те правовые убеждения, которые дисциплинировали бы ее внутренне. Мы нуждаемся в дисциплине внешней именно потому, что у нас нет внутренней дисциплины. Тут опять мы воспринимаем право не как правовое убеждение, а как принудительное правило. И это еще раз свидетельствует о низком уровне нашего правосознания.

VI.

Характеризуя правосознание русской интеллигенции, мы рассмотрели ее отношение к двум основным видам права - к правам личности и к объективному правопорядку. В частности, мы попытались определить, как это правосознание отражается на решении вопросов организационных, т.е. основных вопросов конституционного права в широком смысле. На примере наших интеллигентских организаций мы старались выяснить, насколько наша интеллигенция способна участвовать в правовой реорганизации государства, т.е. в претворении государственной власти из власти **силы во власть права**. Но наша характеристика была бы неполна, если бы мы не остановились на отношении русской интеллигенции к суду. Судь есть то учреждение, в котором прежде всего констатируется и устанавливается право. У всех народов раньше, чем развилось определение правовых норм путем законодательства, эти нормы отыскивались, а иногда и творились путем судебных решений. Стороны, вынося спорные вопросы на решение суда, отстаивали свои личные интересы; но каждая доказывала "свое право", ссылаясь на то, что на ее стороне объективная правовая норма. Судья в своем решении давал авторитетное определение того, в чем заключается действующая правовая норма, причем опирался на общественное правосознание. Высоко держать знамя права и вводить в жизнь новое право судья мог только тогда, когда ему помогало живое и активное правосознание народа. Впоследствии эта созидательная право деятельность суда и судьбы была отчасти заслонена правотворческой законодательной деятельностью государства. Введение конституционных форм государственного устройства привело к тому, что в лице народного представительства был создан законодательный орган государства, призванный непосредственно выражать народное правосознание. Но даже законодательная деятельность народного представительства не может устранить значения суда для осуществления господства права в государстве. В современном конституционном государстве суд есть прежде всего хранитель действующего права; но затем, применяя право, он продолжает

быть и создателем нового права. Именно в последние десятилетия юристы-теоретики обратили внимание на то, что эта роль суда сохранилась за ним, несмотря на существующую систему законодательства, дающую перевес писаному праву. Этот новый с точки зрения идеи конституционного государства взгляд на суд начинает проникать и в новейшие законодательные кодексы. Швейцарский гражданский кодекс, единогласно утвержденный обеими палатами народных представителей 10-го декабря 1907 года, выражает его в современных терминах; первая статья кодекса предписывает, чтобы в тех случаях, когда правовая норма отсутствует, судья решал на основании правила, которое он установил бы, "если бы был законодателем". Итак, у наиболее демократического и передового европейского народа судья признается таким же выразителем народного правосознания, как и народный представитель, призванный законодательствовать; иногда отдельный судья имеет даже большее значение, так как в некоторых случаях он решает вопрос единолично, хотя и не окончательно, ибо благодаря инстанционной системе, дело может быть перенесено в высшую инстанцию. Все это показывает, что народ с развитым правосознанием должен интересоваться и дорожить своим судом, как хранителем и органом своего правопорядка.

Каково же, однако отношение, нашей интеллигенции к суду? Отметим, что организация наших судов, созданная Судебными Уставами Александра II 20-го ноября 1864 г., по принципам, положенным в ее основание, вполне соответствует тем требованиям, которые предъявляются к суду в правовом государстве. Суд с такой организацией вполне пригоден для насаждения истинного правопорядка. Деятели судебной реформы были воодушевлены стремлением путем новых судов подготовить Россию к правовому строю. Первые реорганизованные суды по своему личному составу вызывали самые радужные надежды. Сперва и наше общество отнеслось с живым интересом и любовью к нашим новым судам. Но теперь, спустя более сорока лет, мы должны с грустью признать, что все это была иллюзия, и у нас нет хорошего суда. Правда, указывают на то, что с первых же лет вступления в жизнь Судебных Уставов и до настоящего времени они подвергались неоднократно так называемой "порче". Это совершенно верно; "порча" производилась главным образом в двух направлениях: во-первых, целый ряд дел, преимущественно политических, был изъят из ведения общих судов и подчинен особым формам следствия и суда; во-вторых, независимость судей все более сокращалась, и суды становились во все более зависимое положение. Правительство преследовало при этом исключительно политические цели. И замечательно, что оно сумело загипнотизировать внимание нашего общества в этом направлении, и последнее интересовалось только политической ролью суда. Даже на суд присяжных у нас существовало только две точки зрения: или политическая, или общегуманитарная; в лучшем случае в суде при-

сяжных у нас видели суд совести в смысле пассивного человеколюбия, а не деятельного правосознания. Конечно, может быть, по отношению к уголовному суду политическая точка зрения при наших общественных условиях была неизбежна. Здесь борьба за право не обходимо превращалась в борьбу за тот или иной политический идеал.

Но поразительно равнодушие нашего общества к гражданскому суду. Широкие слои общества совсем не интересуются его организацией и деятельностью. Наша общая пресса никогда не занимается его значением для развития нашего права, она не сообщает сведений о наиболее важных с правовой точки зрения решениях его, и если упоминает о нем, то только из-за сенсационных процессов. Между тем, если бы наша интеллигенция контролировала и регулировала наш гражданский суд, который поставлен в сравнительно независимое положение, то он мог бы оказать громадное влияние на упрочение и развитие нашего правопорядка. Когда говорят о неустойчивости у нас гражданского правопорядка, то обыкновенно указывают на дефектность нашего материального права. Действительно, наш свод законов гражданских архаичен, кодекса торгового права у нас совсем нет, и некоторые другие области гражданского оборота почти не регулированы точными нормами писаного права. Но тем большее значение должен был бы иметь у нас гражданский суд. У народов с развитым правосознанием, как, напр., у римлян и англичан, при тех же условиях развивалась стройная система неписаного права, а у нас гражданский правопорядок остается все в том же неустойчивом положении. Конечно, и у нас есть право, созданное судебными решениями; без этого мы не могли бы существовать, и это вытекает уже из факта известного постоянства в деятельности судов. Но ни в одной стране практика верховного кассационного суда не является такой неустойчивой и противоречивой, как у нас; ни один кассационный суд не отменяет так часто своих собственных решений, как наш сенат. В последнее время и на решения Гражд.Кассац. Департамента Сената сильно влияли мотивы, совершенно чуждые праву; вспомним хотя бы резкую перемену фронта с 1907 г. по отношению к 683 ст. нашего свода законов гражданских, регулирующей вопрос о вознаграждении лиц, потерпевших при эксплуатации железных дорог. Но несомненно, что в непостоянстве нашего верховного кассационного суда виновато в значительной мере и наше общество, равнодушное к прочности и разумности господствующего среди него гражданского правопорядка. Даже наши теоретики-юристы мало этим интересуются, и потому наша сенатская кассационная практика почти совсем не разработана. У нас нет даже специальных органов печати для выполнения этих задач; так, единственная наша еженедельная газета "Право", посвященная отстаиванию и разработке формального права, существует только десять лет.

Невнимание нашего общества к гражданскому правопорядку тем поразительнее, что им затрагиваются самые насущные и жизненные интересы его. Это вопросы повседневные и будничные; от решения их зависит упорядочение нашей общественной, семейной и материальной жизни.

Каково правосознание нашего общества, таков и наш суд. Только из первых составов наших реформированных судов можно назвать единичные имена лиц, оказавших благотворное влияние на наше общественное правосознание; в последние же два десятилетия из наших судов не выдвинулся ни один судья, который приобрел бы всеобщую известность и симпатии в русском обществе; о коллегиях судей, конечно, нечего и говорить. "Судья" не есть у нас почетное звание, свидетельствующее о беспристрастии, бескорыстии, высоком служении только интересам права, как это бывает у других народов. У нас не существует нелицеприятного уголовного суда; даже более, наш уголовный суд превратился в какое-то орудие мести. Тут, конечно, политические причины играют наиболее решающую роль. Но и наш гражданский суд стоит далеко не на высоте своих задач. Невежество, небрежность некоторых судей прямо поразительны, большинство же относится к своему делу, требующему неустанной работы мысли, без всякого интереса, без вдумчивости, без сознания важности и ответственности своего положения. Люди, хорошо знающие наш суд, уверяют, что сколько-нибудь сложные и запутанные юридические дела решаются не на основании права, а в силу той или иной случайности. В лучшем случае талантливый и работающий поверенный выдвигает при разборе дела те или другие детали, свидетельствующие в пользу его доверителей. Однако часто решающим элементом является даже не видимость права или кажущееся право, а совсем посторонние соображения. В широких слоях русского общества отсутствует и истинное понимание значения суда, и уважение к нему; это особенно сказывается на двух элементах из общества, участвующих в каждом суде - свидетелях и экспертах. Чрезвычайно часто в наших судах приходится убеждаться, что свидетели и эксперты совсем не сознают своей настоящей задачи - способствовать выяснению истины. Насколько легкомысленно некоторые круги нашего общества относятся к этой задаче, показывают такие невероятные, но довольно ходячие термины, как "достоверный" или "честный лжесвидетель". "Скорого суда" для гражданских дел у нас уже давно нет; наши суды завалены такой массой дел, что дела, проходящие через все инстанции, тянутся у нас около пяти лет. Нам могут возразить, что непомерная обремененность суда является главной причиной небрежного и трафаретного отношения судей к своему делу. Но ведь при подготовленности и осведомленности судей, при интересе к суду как со стороны его представителей, так и со стороны общества, работа спорилась бы, дела решались бы и легче, и лучше, и скорей. Наконец, при этих условиях интересы правопорядка приобрели бы настолько решающее

значение, что и количественный состав наших судов не мог бы оставаться в теперешнем неудовлетворительном положении.

Судебная реформа 1864 года создала у нас и свободных служителей права - сословие присяжных поверенных. Но и здесь приходится с грустью признать, что, несмотря на свое существование более сорока лет, сословие присяжных поверенных мало дало для развития нашего правосознания. У нас были и есть видные уголовные и политические защитники; правда, среди них встречались горячие проповедники гуманного отношения к преступнику, но большинство - это лишь борцы за известный политический идеал, если угодно, за "новое право", а не "за право" в точном смысле слова. Чересчур увлеченные борьбой за новое право, они часто забывали об интересах права формального или права вообще. В конце концов, они иногда оказывали плохую услугу и самому "новому праву", так как руководились больше соображениями политики, чем права. Но еще меньше пользы принесло наше сословие присяжных поверенных для развития гражданского правопорядка. Здесь борьба за право чересчур легко вытесняется другими стремлениями, и наши видные адвокаты сплошь и рядом превращаются в простых дельцов. Это несомненное доказательство того, что атмосфера нашего суда и наше общественное правосознание не только не оказывают поддержки в борьбе за право, но часто даже влияют в противоположном направлении.

Суд не может занимать того высокого положения, которое ему предназначено, если в обществе нет вполне ясного сознания его настоящих задач. Что такого сознания у нашей интеллигенции нет, доказательства этого неисчислимы. Из всей массы их возьмем хотя бы взгляды, высказанные случайно в нашей Государственной Думе членами ее, как выразителями народного правосознания. Так, член второй Думы Алексинский, представитель крайней левой, грозит врагам народа судом его и утверждает, что "этот суд страшнее всех судов". Через несколько заседаний в той же Думе представитель крайней правой Шульгин оправдывает военно-полевые суды тем, что они лучше "народного самосуда", и уверяет, что последствием отмены военно-полевых судов "будет самосуд в самом ужасном виде", от которого пострадают и невиновные. Это употребление всеу слова "суд" показывает, однако, что представления наших депутатов о суде отражают еще мировоззрение той эпохи, когда суды приговаривали отдавать осужденных "на поток и разграбление".

Нельзя винить одни лишь политические условия в том, что у нас плохие суды; виноваты в этом и мы сами. При совершенно аналогичных политических условиях у других народов суды все-таки отстаивали право. Поговорка - "есть судья в Берлине" - относится ко концу XVIII и к первой половине XIX столетия, когда Пруссия была еще абсолютно монархическим государством.

Все сказанное о низком уровне правосознания нашей интелли-

генции сказано не в суд и не в осуждение. Поражение русской революции и события последних лет - уже достаточно жестокий приговор над нашей интеллигенцией. Теперь интеллигенция должна уйти в свой внутренний мир, вникнуть в него для того, чтобы освежить и оздоровить его. В процессе этой внутренней работы должно, наконец, пробудиться и истинное правосознание русской интеллигенции. С верой, что близко то время, когда правосознание нашей интеллигенции сделается созидателем и творцом нашей новой общественной жизни, с горячим желанием этого были написаны и эти строки. Путем ряда горьких испытаний русская интеллигенция должна прийти к познанию, наряду с абсолютными ценностями - личного самоусовершенствования и правственного миропорядка - также и ценностей относительных - самого обыденного, но прочного и ненарушимого правопорядка*.

1909 г.

*Примеч. ко 2-му изд. Многие считают, что несправедливо обвинять нашу интеллигенцию в слабости правосознания, так как в этом виновата не она, а внешние условия - бесправие, которое господствует у нас в жизни. Отрицать влияние этих условий невозможно, и оно отмечено в моей статье. Но нельзя их винить во всем, нельзя успокаиваться на признании того, что "наша государственная жизнь слишком долго - в целом ряде поколений - нас не воспитывала, а развращала", что "на общем пренебрежении к началу законности, на сознании его бессилия и ненужности воспитывались целые поколения русских людей" (см. *Маклаков В. Законность в русской жизни*//Вестн.Евр. 1909, май. С.273-274). Если мы сознали это зло, то с ним нельзя больше мириться; наша совесть не может быть спокойной, и мы должны в самих себе бороться с развращающим нас началом. Недостойно мыслящих людей говорить: мы развращены и будем развращаться, по ка не устранят развращающей нас причины, - и всякий человек обязан сказать: я не должен больше развращаться, так как я сознал, что меня развращает и где причина моего развращения. Мы должны теперь напрячь все силы своей мысли, своего чувства и своей воли, чтобы освободить свое сознание от пагубного влияния неблагоприятных условий. Вот почему задача времени в том, чтобы пробуждать правосознание русской интеллигенции и вызывать его к жизни и деятельности.

Этика нигилизма

(К характеристике нравственного мировоззрения
русской интеллигенции)

*Не вокруг творцов нового шума, - вокруг
творцов новых ценностей вращается мир;
он вращается и слышит о.*

*- И если кто идет в огонь за свое учение
- что это доказывает? Поистине, важнее,
чтобы из собственного пламени души рож-
далось собственное учение.*

Фр. Ницше. Also sprach Zarathustra

Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и пути к его возрождению. Это - крушение многообещающего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием, и последовавший за этим событием быстрый развал наиболее крепких нравственных традиций и понятий в среде русской интеллигенции. Оба свидетельствуют, в сущности, об одном, оба обнажают скрытую дотоле картину бессилия, непроизводительности и несостоятельности традиционного морального и культурно-философского мировоззрения русской интеллигенции. Что касается первого факта - неудачи русской революции, то банальное "объяснение" его злокозненностью "реакции" и "бюрократии" неспособно удовлетворить никого, кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса. Оно не столько фактически неверно, сколько ошибочно методологически. Это вообще есть не теоретическое **объяснение**, а лишь весьма одностороннее и практически вредное моральное **вменение** факта. Конечно, бесспорно, что партия, защищающая "старый порядок" против освободительного движения, сделала все, от нее зависящее, чтобы затормозить это движение и отнять от него его плоды. Ее можно обвинять в эгоизме, государственной близорукости, в пренебрежении к интересам народа, но возлагать на нее ответственность за неудачу борьбы, которая велась прямо против нее и все время была направлена на ее уничтожение, - значит рассуждать или просто недобросовестно, или ребячески-бессмысленно; это приблизительно равносильно обвинению японцев в печальном исходе русско-японской войны. В этом распространенном стремлении успокаиваться во всех случаях на дешевой мысли, что "виновато начальство", сказывается оскорбительная рабья психология, чуждая сознания личной ответственности и привыкшая свое благо и зло приписывать всегда милости или

гневу посторонней, внешней силы. Напротив, к настоящему положению вещей безусловно и всецело применимо утверждение, что "всякий народ имеет то правительство, которого он заслуживает". Если в дореволюционную эпоху фактическая сила старого порядка еще не давала права признать его внутреннюю историческую неизбежность, то теперь, когда борьба, на некоторое время захватившая все общество и сделавшая его голос политически решающим, закончилась неудачей защитников новых идей, общество не в праве снимать с себя ответственность за уклад жизни, выросший из этого брожения. Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не простое несчастье; с исторической и моральной точки зрения это есть его грех. И так как в конечном счете все движение как по своим целям, так и по своей тактике было руководимо и определяется духовными силами интеллигенции - ее верованиями, ее жизненным опытом, ее оценками и вкусами, ее умственным и нравственным укладом, - то проблема политическая само собою становится проблемой культурно-философской и моральной, вопрос о неудаче интеллигентского дела наталкивает на более общий и важный вопрос о ценности интеллигентской веры.

К той же проблеме подводит и другой отмеченный нами факт. Как могло случиться, что столь, казалось, устойчивые и крайние нравственные основы интеллигенции так быстро и радикально расшатались? Как объяснить, что чистая и честная русская интеллигенция, воспитанная на проповеди лучших людей, способна была хоть на мгновение опуститься до грабежей и животной разнузданности? Отчего политические преступления так незаметно слились с уголовными и отчего "санинство"¹ и вульгаризованная "проблема пола" как-то идейно сплелись с революционностью? Ограничиться моральным осуждением таких явлений было бы не только мало производительно, но и привело бы к затемнению их наиболее характерной черты; ибо поразительность их в том и состоит, что это - не простые нарушения нравственности, возможные всегда и повсюду, а бесчинства, претендующие на идейное значение и проповедуемые как новые идеалы. И вопрос состоит в том, отчего такая проповедь могла иметь успех и каким образом в интеллигентском обществе не нашлось достаточно сильных и устойчивых моральных традиций, которые могли бы энергично воспрепятствовать ей. Прочувствовать этот вопрос - значит непосредственно понять, что в интеллигентском мирозерцании, по меньшей мере, не все обстоит благополучно. Кризис политический и кризис нравственный одинаково настойчиво требуют вдумчивого и беспристрастного пересмотра духовной жизни русской интеллигенции.

Нижеследующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи - именно попытке критически уяснить и оценить нравственное мировоззрение интеллигенции. Конечно, конкретно различные стороны духовной жизни не существуют обособленно; живую душу нельзя разлагать на отдельные части и скла-

дывать из них, подобно механизму, - мы можем лишь мысленно выделять эти части искусственно изолирующим процессом абстракции. В частности, нравственное мировоззрение так тесно вплетено в целостный душевный облик, так неразрывно связано, с одной стороны, с религиозно-философскими верованиями и оценками, и с другой стороны, с непосредственными психическими импульсами, с общим мироощущением и жизненным чувством, что самостоятельное теоретическое его изображение неизбежно должно оставаться схематичным, быть не художественным портретом, а лишь пояснительным чертежом; и чистый, изолированный анализ его, сознательно и до конца игнорирующий его жизненную связь с другими, частью обосновывающими его, частью из него вытекающими духовными мотивами, здесь вообще и невозможен, и нежелателен. Чрезвычайно трудно распутать живой клубок духовной жизни и проследить сплетение образующих его отдельных нитей - морально-философских мотивов и идей; здесь можно наперед рассчитывать лишь на приблизительную точность. Но и несовершенная попытка анализа весьма важна и настоятельно необходима. Нравственный мир русской интеллигенции - который в течение многих десятилетий остается в существенных чертах неизменным, при всем разнообразии исповедовавшихся интеллигенцией социальных верований - сложился в некоторую обширную и живую систему, в своего рода организм, упорствующий в бытии и исполненный инстинкта самосохранения. Чтобы понять болезни этого организма - очевидные и угрожающие симптомы которых мы только что указали, - надо попытаться мысленно анатомировать его и подойти хотя бы к наиболее основным его корням.

I.

Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас пугны особые, настоячивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектировано, чтобы вообще дать почувствовать, что в жизни существуют или, по крайней мере, мыслимы еще иные ценности и мерила, кроме нравственных, что наряду с добром душе доступны еще идеалы истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги. Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания,

бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет. Начиная с восторженного поклонения естествознанию в 60-х годах и кончая самоновейшими научными увлечениями вроде эмпириокритицизма, наша интеллигенция искала в мыслителях и их системах не истины научной, а пользы для жизни, оправдания или освящения какой-либо общественно-моральной тенденции. Именно эту психологическую черту русской интеллигенции Михайловский пытался обосновать и узаконить в своем пресловутом учении о "субъективном методе". Эта характерная особенность русского интеллигентского мышления - неразвитость в нем того, что Ницше называл интеллектуальной совестью, - настолько общеизвестна и очевидна, что разногласия может вызывать, собственно, не ее констатирование, а лишь ее оценка. Еще слабее, пожалуй, еще более робко, заглушенно и неуверенно звучит в душе русского интеллигента голос совести эстетической. В этом отношении Писарев, с его мальчишеским развенчанием величайшего национального художника, и вся писаревщина, это буйное восстание против эстетики, были не просто единичным эпизодом нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым стеклом, которое собрало в одну яркую точку лучи варварского иконоборства, неизменно горящие в интеллигентском сознании. Эстетика есть неизбежная и опасная роскошь, искусство допустимо лишь как внешняя форма для нравственной проповеди, т.е. допустимо именно не чистое искусство, а его тенденциозное искажение - таково верование, которым в течение долгих десятилетий было преисполнено наше прогрессивное общественное мнение и которое еще теперь, когда уже стало зазорным открытое его исповедание, омрачает своей тенью всю нашу духовную жизнь. Что касается ценностей религиозных, то в последнее время принято утверждать, что русская интеллигенция глубоко религиозна и лишь по недоразумению сама того не замечает; однако этот взгляд целиком покоится на неправильном словоупотреблении. Спорить о словах - бесполезно и скучно. Если под религиозностью разуместь фанатизм, страстную преданность излюбленной идее, граничащую с *idée fixe* и доводящую человека, с одной стороны, до самопожертвования и величайших подвигов и, с другой до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей, - то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей степени. Но ведь понятие религии имеет более определенное значение, которого не может вытеснить это - часто, впрочем, неизбежное и полезное - вольное метафорическое словоупотребление. При всем разнообразии религиозных воззрений, религия всегда означает веру в реальность абсолютно-ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и идеальная правда духа. Религиозное умонастроение сводится именно к сознанию космического, сверхчелове-

ческого значения высших ценностей, и всякое мировоззрение, для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл, будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была психологическая сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов. И если интеллигентское жизнепонимание чуждо и враждебно теоретическим и эстетическим мотивам, то еще сильнее оно отталкивает от себя и изгоняет мотивы и ценности религиозного порядка. Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд ради призрачных интересов и забав роскоши; но кто любит Бога, того считают прямым врагом народа. И тут - не простое недоразумение, но одно лишь безмыслие и близорукость, в силу которых укрепился исторически и теоретически несостоятельный догмат о вечной, имманентной "реакционности" всякой религии. Напротив, тут обнаруживается внутренне неизбежное, метафизическое отталкивание двух мирозерцаний и мироощущений - исконная и непримиримая борьба между религиозным настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь с сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и универсальную опору - и настроением нигилистическим, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно лишь "человеческое, слишком человеческое". Пусть догмат о неизбежной связи между религией и реакцией есть лишь наивное заблуждение, основанное на предвзятости мысли и историческом невежестве. Однако в суждении, что любовь к "небу" заставляет человека совершенно иначе относиться к "земле" и земным делам, содержится бесспорная и глубоко важная правда. Религиозность несовместима с признанием абсолютного значения за земными, человеческими интересами, с нигилистическим и утилитаристическим поклонением внешним жизненным благам. И здесь мы подошли к самому глубокому и центральному мотиву интеллигентского жизнепонимания.

Морализм русской интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее нигилизма. Правда, рассуждая строго логически, из нигилизма можно и должно вывести и в области морали только нигилизм же, т.е. аморализм, и Штирнеру не стоило большого труда разъяснить этот логический вывод Фейербаху и его ученикам². Если бытие лишено всякого внутреннего смысла, если субъективные человеческие желания суть единственный разумный критерий для практической ориентировки человека в мире, то с какой стати должен я признавать какие-либо обязанности, и не будет ли моим законным правом простое эгоистическое наслаждение жизнью, бесхитростное и естественное "carpe diem"*? Наш Базаров также, конечно, был неопровержимо логичен, когда отказывался служить интересам мужика и высказывал полнейшее равнодушие к тому человеческому благополучию, которое должно наступить, когда из него, Базарова, "будет лопух расти". Ниже мы увидим, что это противоре-

* Лови момент (лат.). - Ред.

чие весьма ощутительно сказывается в реальных плодах интеллигентского мировоззрения. Однако если мы сделаем в этом пункте логический скачок, если от эгоизма мы как-нибудь доберемся психологически до альтруизма и от заботы о моем собственном "я" - до заботы о насущном хлебе для всех или большинства или, говоря иначе, если здесь мы заменим рациональное доказательство иррациональным инстинктом родовой или общественной солидарности, то весь остальной характер мировоззрения русской интеллигенции может быть выведен с совершенной отчетливостью из ее нигилизма.

Поскольку вообще с нигилизмом соединима **общеобязательная и обязывающая вера**, этой верой может быть только морализм.

Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных (объективных) ценностей. Человеческая деятельность руководится, вообще говоря, или стремлением к каким-либо **объективным** ценностям (каковыми могут служить, напр., теоретическая научная истина, или художественная красота, или объект религиозной веры, или государственное могущество, или национальное достоинство и т.п.), или же мотивами субъективного порядка, т.е. влечением удовлетворить личные потребности, свои и чужие. Всякая вера, каково бы ни было ее содержание, создает соответствующую себе мораль, т.е. возлагает на верующего известные обязанности и определяет, что в его жизни, деятельности, интересах и побуждениях должно почитаться добром и что - злом. Мораль, опирающаяся на веру в объективные ценности, на признание внутренней святости какой-либо цели, является в отношении этой веры служебным средством, как бы технической нормой и гигиеной плодотворной жизни. Поэтому, хотя жизнь всякого верующего подчинена строгой морали, но в ней мораль имеет не самодовлеющее, а лишь опосредствованное значение; каждое моральное требование может быть в ней обосновано и выведено из конечной цели, и потому само не претендует на мистический и непререкаемый смысл. И только в том случае, когда объектом стремления является благо относительное, лишенное абсолютной ценности, - а именно удовлетворение субъективных человеческих нужд и потребностей - мораль - в силу некоторого, логически неправомерного, но психологически неизбежного процесса мысли - абсолютизируется и кладется в основу всего практического мировоззрения.

Где человек должен подчинить непосредственные побуждения своего "я" не абсолютной ценности или цели, а по существу равноценным с ними (или равно ничтожным) субъективным интересам "ты" - хотя бы и коллективного, - там обязанности самоотречения, бескорыстия, аскетического самоограничения и самопожертвования необходимо принимают характер абсолютных, самодовлеющих велений, ибо в противном случае они никого не обязывали бы и никем бы не выполнялись. Здесь абсолютной ценностью признается не цель или идеал, а само служение им; и если штирнеровский вопрос: "почему "я" менее ценно, чем "ты", и должно приноситься ему

в жертву?" остается без ответа, то, в предупреждение подобных дерзких недоумений, нравственная практика именно и окружает себя тем более мистическим и непреложным авторитетом. Это умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием, лишенным веры в абсолютные ценности, можно назвать **морализмом**, и именно такой нигилистический морализм и образует существо мировоззрения русского интеллигента.

Символ веры русского интеллигента есть **благо народа**, удовлетворение нужд "большинства". Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того - то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей - он даже прямо боится и ненавидит их. Нельзя служить одновременно двум богам, и если Бог, как это уже открыто поведал Максим Горький, "суть пародушко", то все остальные боги - лжебоги, идолы или дьяволы. Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т.е. общением с Богом, - все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками. Поэтому все это отвергается, частью как глупость или "суеверие", частью как безнравственное направление воли. Это, конечно, не означает, что русской интеллигенции **фактически** чужды научные, эстетические, религиозные интересы и переживания. Духа и его искренних запросов умертвить нельзя, и естественно, что живые люди, облекшие свою душу в моральный мундир "интеллигента", сохраняют в себе все чувства, присущие человеку. Но эти чувства живут в душе русского интеллигента приблизительно так, как чувство жалости к врагу - в душе воина, или как стремление к свободной игре фантазии - в сознании строго-научного мыслителя: именно как незаконная, хотя и неискоренимая слабость, как нечто - в лучшем случае - лишь терпимое. Научные, эстетические, религиозные переживания всегда относятся здесь, так сказать, к частной, интимной жизни человека; более терпимые люди смотрят на них, как на роскошь, как на забаву в часы досуга, как на милое чудачество; менее терпимые осуждают их в других и стыдливо прячут в себе. Но интеллигент, как интеллигент, т.е. в своей сознательной вере и общественной деятельности, должен быть чужд их - его мировоззрение, его идеал враждебны этим сторонам человеческой жизни. От науки он берет несколько популяризованных, искаженных или *ad hoc** изобретенных положений, и хотя нередко даже гордится "научностью" своей веры, но с негодованием отвергает и научную критику, и всю чистую, незаинтересованную работу научной мысли; эстетика же и религия вообще ему не пужны. Все это - и чистая наука, и искусство, и религия - несовместимо с морализмом, с служением народу;

*Для данного случая (лат.). - Ред.

все это опирается на любовь к объективным ценностям и, следовательно, чуждо, а тем самым и враждебно той утилитарной вере, которую исповедует русский интеллигент. Религия служения земным нуждам и религия служения идеальным ценностям сталкиваются здесь между собой, и сколь бы сложно и многообразно ни было их иррациональное психологическое сплетение в душе человека-интеллигента, в сфере интеллигентского сознания их столкновение приводит к полнейшему истреблению и изгнанию идеальных запросов во имя цельности и чистоты моралистической веры.

Нигилистический морализм есть основная и глубочайшая черта духовной физиономии русского интеллигента: из отрицания объективных ценностей вытекает обожествление субъективных интересов ближнего ("народа"), отсюда следует признание, что высшая и единственная задача человека есть служение народу, а отсюда в свою очередь, следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже только не содействует осуществлению этой задачи. Жизнь не имеет никакого объективного, внутреннего смысла; единственное благо в ней есть материальная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей; поэтому человек обязан посвятить все свои силы улучшению участи большинства, и все, что отвлекает его от этого, есть зло и должно быть беспощадно истреблено - такова странная, логически плохо обоснованная, но психологически крепко спаянная цепь суждений, руководящая всем поведением и всеми оценками русского интеллигента. Нигилизм и морализм, безверие и фанатическая суровость нравственных требований, беспринципность в метафизическом смысле - ибо нигилизм и есть отрицание принципиальных оценок, объективного различия между добром и злом - и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических принципов, т.е. по существу условных и непринципиальных требований - это своеобразное, рационально непостижимое и вместе с тем жизненно-крепкое слияние антагонистических мотивов в могучую психическую силу и есть то умонастроение, которое мы называем нигилистическим морализмом.

II.

Из этого умонастроения вытекают или с ним связаны другие черты интеллигентского мировоззрения, и прежде всего то существенное обстоятельство, что русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие **культуры** в точном и строгом смысле слова. Это суждение может показаться неправильным; ибо кто больше говорит о желательности культуры, об отсталости нашего быта и необходимости поднять его на высший уровень, чем именно русский интеллигент? Но и тут дело не в словах, а в понятиях и реальных оценках. Русскому человеку не родственно и не дорого, его сердцу мало говорит то чистое понятие культуры, которое уже органически укоренилось в сознании образованного европейца. Объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной,

совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многосторонняя работа поднятия коллективного бытия на объективно-высшую ступень - таково жизненное и могущественное по своему влиянию на умы понятие культуры, которым вдохновляется европеец. Это понятие опять-таки целиком основано на вере в **объективные ценности** и служении им, и культура в этом смысле может быть прямо определена, как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. С этой точки зрения культура существует не для чьего-либо блага или пользы, а лишь для самой себя; культурное творчество означает совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей и в качестве такового есть само по себе высшая и самодовлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, культура, как она обычно понимается у нас, целиком отмечена печатью утилитаризма. Когда у нас говорят о культуре, то разумеют или железные дороги, канализацию и мостовые, или развитие народного образования, или совершенствование политического механизма, и всегда при этом нам преподносят нечто полезное, некоторое **средство** для осуществления иной цели - именно удовлетворения субъективных жизненных нужд. Но исключительно утилитарная оценка культуры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исключительно утилитарная оценка науки или искусства разрушают самое существо того, что зовется наукой и искусством. Именно этому чистому понятию культуры нет места в умонастроении русского интеллигента: оно чуждо ему психологически и враждебно метафизически. Убогость, духовная нищета всей нашей жизни не дает у нас возникнуть и укрепиться непосредственной любви к культуре, как бы убивает инстинкт культуры и делает невосприимчивым к идее культуры; и наряду с этим нигилистический морализм сеет вражду к культуре, как к своему метафизическому антиподу. Поскольку русскому интеллигенту вообще доступно чистое понятие культуры, оно ему глубоко антипатично. Он инстинктивно чувствует в нем врага своего мирозерцания; культура есть для него ненужное и нравственно непозволительное барство; он не может дорожить ею, так как не признает ни одной из тех объективных ценностей, совокупность которых ее образует. Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа; культ **опрощения** есть не специфически-толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского умонастроения, логически вытекающее из нигилистического морализма. Наша историческая, бытовая непривычка к культуре и метафизическое отталкивание интеллигентского мирозерцания от идеи культуры психологически срастаются в одно целое и сотрудничают в увековечении низкого культурного уровня всей нашей жизни*.

* О наших так называемых "культурных работниках" будет сказано ниже.

Если мы присоединим эту характерную противокультурную тенденцию к намеченным выше чертам нигилистического морализма, то мы получим более или менее исчерпывающую схему традиционного интеллигентского мирозерцания, самое подходящее обозначение для которого есть **народничество**. Понятие "народничества" соединяет все основные признаки описанного духовного склада - **нигилистический утилитаризм**, который отрицает все абсолютные ценности и единственную нравственную цель усматривает в служении субъективным, материальным интересам "большинства" (или народа), **морализм**, требующий от личности строгого самопожертвования, безусловного подчинения собственных интересов (хотя бы высших и чистейших) делу общественного служения, и, наконец, **противокультурную тенденцию** - стремление превратить всех людей в "рабочих", сократить и свести к минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства и солидарности в осуществлении моральных требований. Народничество в этом смысле есть не определенное социально-политическое направление, а широкое духовное течение, соединяемое с довольно разнообразными социально-политическими теориями и программами. Казалось бы, с народничеством борется марксизм; и действительно, с появлением марксизма впервые прозвучали чуждые интеллигентскому сознанию мотивы уважения к культуре, к повышению производительности (материальной, а с ней и духовной), впервые было отмечено, что моральная проблема не универсальна, а в известном смысле даже подчинена проблеме культуры, и что аскетическое самоотречение от высших форм жизни есть всегда зло, а не благо. Но эти мотивы не долго доминировали в интеллигентской мысли; победоносный и всепожирающий народнический дух поглотил и ассимилировал марксистскую теорию, и в настоящее время различие между народниками сознательными и народниками, исповедующими марксизм, сводится в лучшем случае к различию в политической программе и социологической теории, и совершенно не имеет значения принципиального культурно-философского разногласия. По своему этическому существу русский интеллигент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остается упорным и закоренелым народником; его Бог есть народ, его единственная цель есть счастье большинства, его мораль состоит в служении этой цели, соединенном с аскетическим самоограничением и ненавистью или пренебрежением к самоценным духовным запросам. Эту народническую душу русский интеллигент сохранил в неприкосновенности в течение ряда десятилетий, несмотря на все разнообразие политических и социальных теорий, которые он исповедовал; до последних дней народничество было всеобъемлющей и непоколебимой программой жизни интеллигента, которую он свято оберегал от искушений и нарушений, в исполнении которой он видел единственный разумный смысл своей жизни и по чистоте которой он судил других людей.

Но этот общий народнический дух выступает в истории русской

интеллигенции в двух резко различных формах - в форме непосредственного альтруистического служения нуждам народа и в форме религии абсолютного осуществления народного счастья. Это различие есть, так сказать, различие между "любовью к ближнему" и "любовью к дальнему" в пределах общей народнической этики. Нужно сказать прямо: ныне почти забытый, довольно редкий и, во всяком случае, вытесненный из центра общественного внимания тип так называемого "культурного работника", т.е. интеллигента, который, воодушевленный идеальными побуждениями, шел "в народ", чтобы помогать крестьянину в его текущих насущных нуждах своими знаниями и своей любовью, - этот тип есть высший, самый чистый и морально-ценный плод нашего народничества. Собственно "культурными деятелями" эти люди назывались по недоразумению; если в программу их деятельности входило, как существенный пункт, распространение народного образования, то здесь, как и всюду в народничестве, культура понималась исключительно утилитарно; их вдохновляла не любовь к чистому знанию, а живая любовь к людям, и народное образование ценилось лишь как одно из средств (хотя бы и важнейшее) к поднятию народного благосостояния; облегчение народной нужды во всех ее формах и каждодневных явлениях было задачей жизни этих бескорыстных, исполненных любовью людей. В этом движении было много смешного, наивного, одностороннего и даже теоретически и морально ошибочного. "Культурный работник" разделял все заблуждения и односторонности, присущие народнику вообще; он часто шел в народ, чтобы каяться и как бы отмаливать своей деятельностью "грех" своего прежнего участия в более культурных формах жизни; его общение с народом носило отчасти характер сознательного слияния с мужицкой стихией, руководимого верой, что эта стихия есть вообще идеальная форма человеческого существования; поглощенный своей задачей, он, как монах, с осуждением смотрел на суетность всех стремлений, направленных на более отдаленные и широкие цели. Но все это искупалось одним: непосредственным чувством живой любви к людям. В этом типе народническая мораль выявила и воплотила все, что в ней было положительного и плодотворного; он как бы вобрал в себя и действительно развил самый питательный корень народничества - альтруизм. Такие люди, вероятно, еще рассеяны поодиночке в России; но общественно-моральное течение, их создавшее, давно уже иссякло и было частью вытеснено, частью искажено и поглощено другой разновидностью народничества - религией абсолютного осуществления народного счастья. Мы говорим о том воинствующем народничестве, которое сыграло такую неизмеримо важную роль в общественной жизни последних десятилетий в форме революционного социализма. Чтобы понять и оценить эту самую могущественную и, можно сказать, роковую для современной русской культуры форму народничества, нужно проследить те духовные соединительные пути, через которые моральный источник интеллигентского умонастроения вливается в русло социализма и революционизма.

III.

Нигилистический морализм или утилитаризм русской интеллигенции есть не только этическое учение или моральное настроение, он состоит не в одном лишь установлении нравственной обязанности служения народному благу, психологически он сливается также с мечтой или верой, что цель нравственных усилий - счастье народа - может быть осуществлена, и притом в абсолютной и вечной форме. Эта вера психологически действительно аналогична религиозной вере, и в сознании атеистической интеллигенции заменяет подлинную религию. Здесь именно и обнаруживается, что интеллигенция, отвергая всякую религию и метафизику, фактически всецело находится во власти некоторой социальной метафизики, которая притом еще более противоречит ее философскому нигилизму, чем исповедуемое ею моральное мировоззрение. Если мир есть хаос и определяется только слепыми материальными силами, то как возможно надеяться, что историческое развитие неизбежно приведет к царству разума и устройению земного рая? Как мыслимо это "государство в государстве", эта покоряющая сила разума среди стихии слепоты и бессмыслия, этот безмятежный рай человеческого благополучия среди всемогущего хаотического столкновения космических сил, которым нет дела до человека, его стремлений, его бедствий и радостей? Но жажда общечеловеческого счастья, потребность в метафизическом обосновании морального идеала так велика, что эта трудность просто не замечается, и атеистический материализм спокойно сочетается с крепчайшей верой в мировую гармонию будущего; в так называемом "научном социализме", исповедуемом огромным большинством русской интеллигенции, этот метафизический оптимизм мнит себя даже "научно доказанным". Фактически корни этой "теории прогресса" восходят к Руссо и к рационалистическому оптимизму XVIII века. Современный социальный оптимизм, подобно Руссо, убежден, что все бедствия и несовершенства человеческой жизни проистекают из ошибок или злобы отдельных людей или классов. Природные условия для человеческого счастья в сущности всегда налицо; нужно устранить только несправедливость насильников или непонятную глупость насилуемого большинства, чтобы основать царство земного рая. Таким образом, социальный оптимизм опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья есть с этой точки зрения проблема внешнего устройства общества, а так как счастье обеспечивается материальными благами, то это есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности овладеть ими, чтобы обеспечить человеческое благополучие. Таков несложный, но могущественный ход мысли, который соединяет нигилистический морализм с религией социализма. Кто раз был соблазнен этой оптимистической верой, того уже не может удовлетворить непосред-

ственное альтруистическое служение, изо дня в день, ближайшим нуждам народа; он упоен идеалом радикального и универсального осуществления народного счастья - идеалом, по сравнению с которым простая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей и волнений текущего дня не только бледнеет и теряет моральную привлекательность, но кажется даже вредной растратой сил и времени на мелкие и бесполезные заботы, изменой, ради немногих ближайших людей, всему человечеству и его вечному спасению. И действительно, воинствующее социалистическое народничество не только вытеснило, но и морально очернило народничество альтруистическое, признав его плоской и дешевой "благотворительностью". Имея простой и верный ключ к универсальному спасению человечества, социалистическое народничество не может смотреть иначе, чем с пренебрежением и осуждением, на будничную и не знающую завершения деятельность, руководимую непосредственным альтруистическим чувством. Это отношение столь распространено и интенсивно в русской интеллигенции, что и сами "культурные работники" по большей части уже стыдятся открыто признать простой, реальный смысл своей деятельности и оправдываются ссылкой на ее пользу для общего дела всемирного устройства человечества.

Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм - стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист - не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою **идею** - именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны - виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет никакого действительного аффекта; последних он ненавидит, и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устройению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится **революционером**.

Тут необходимо сделать оговорку. Говоря о революционности, как типичной черте умонастроения русской интеллигенции, мы разумеем не участие ее в политической революции, а имеем в виду исключительно ее морально-общественное мировоззрение. Можно

участвовать в революции, не будучи революционером по мировоззрению, и, наоборот, можно быть принципиально революционером и, по соображениям тактики и целесообразности, отвергать необходимость или своевременность революционных действий. Революция и фактическая деятельность, преследующая революционные, в отношении существующего строя цели, суть явления политического порядка и, в качестве таковых, лежат всецело за пределами нашей темы. Здесь же мы говорим о революционности лишь в смысле **принципиального революционизма**, разумея под последним убеждение, что основным и внутренне необходимым средством к осуществлению морально-общественного идеала служит социальная борьба и насильственное разрушение существующих общественных форм. Это убеждение входит, как существенная сторона, в мировоззрение социалистического народничества и имеет в нем силу религиозного догмата. Нельзя понять моральной жизни русской интеллигенции, не учтя этого догмата и не поняв его связи с другими сторонами интеллигентской *profession de foi**.

В основе революционизма лежит тот же мотив, который образует и движущую силу социалистической веры: социальный оптимизм и опирающаяся на него **механико-рационалистическая теория счастья**. Согласно этой теории, как мы только что заметили, внутренние условия для человеческого счастья всегда налицо, и причины, препятствующие устройению земного рая, лежат не внутри, а вне человека - в его социальной обстановке, в несовершенствах общественного механизма. И так как причины эти внешние, то они и могут быть устранены внешним, механическим приемом. Таким образом, работа над устройением человеческого счастья с этой точки зрения есть по самому своему существу не творческое или созидательное, в собственном смысле, дело, а сводится к расчетке, устранению помех, т.е. к разрушению. Эта теория - которая, кстати сказать, обыкновенно не формулируется отчетливо, а живет в умах как бессознательная, самоочевидная и молчаливо подразумеваемая истина, - предполагает, что гармоническое устройство жизни есть как бы естественное состояние, которое неизбежно и само собой должно установиться, раз будут отменены условия, преграждающие путь к нему; и прогресс не требует, собственно, никакого творчества или положительного построения, а лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград. "*Der Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust*"**, - говорил Бакунин; но из этого афоризма давно уже исчезло ограничительное "*auch*", - и разрушение признано не только одним из приемов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или, вернее, целиком заняло его место. Здесь перед нами отголосок того руссоизма, который вселял в Робеспьера уверенность, что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно установить царство разума. Револю-

* Кредо (франц.). - Ред.

** Страсть к разрушению есть также и творческая страсть (нем.). - Ред.

ционный социализм исполнен той же веры. Чтобы установить идеальный порядок, нужно "экспроприировать экспроприрующих", а для этого добиться "диктатуры пролетариата", а для этого уничтожить те или другие политические и вообще внешние преграды. Таким образом, революционизм есть лишь отражение метафизической абсолютизации ценности разрушения. Весь политический и социальный радикализм русской интеллигенции, ее склонность видеть в политической борьбе, и притом в наиболее резких ее приемах - заговоре, восстании, терроре и т.п., - ближайших и важнейших путь к народному благу всецело исходит из веры, что борьба, уничтожение врага, насильственное и механическое разрушение старых социальных форм сами собой обеспечивают осуществление общественного идеала. И это совершенно естественно и логично с точки зрения механико-рационалистической теории счастья. Механика не знает творчества нового в собственном смысле. Единственное, что человек способен делать в отношении природных веществ и сил, это - давать им иное, выгодное ему распределение и разрушать вредные для него комбинации материи и энергии. Если смотреть на проблему человеческой культуры как на проблему механическую, то и здесь нам останутся только две задачи - разрушение старых вредных форм и перераспределение элементов, установление новых, полезных комбинаций из них. И необходимо совершенно иное понимание человеческой жизни, чтобы сознать несостоятельность одних этих механических приемов в области культуры и обратиться к новому началу - началу творческого созидания.

Психологическим побуждением и спутником разрушения всегда является **ненависть**, и в той мере, в какой разрушение заслоняет другие виды деятельности, ненависть занимает место других импульсов в психической жизни русского интеллигента. Мы уже упомянули в другой связи, что основным действенным аффектом народника-революционера служит ненависть к врагам народа. Мы говорим это совсем не с целью "опозорить" интеллигента или морально осуждать его за это. Русский интеллигент по натуре, в большинстве случаев, мягкий и любвеобильный человек, и если ненависть укрепились в его душе, то виною тому не личные его недостатки, и это вообще есть не личная или эгоистическая ненависть. Вера русского интеллигента обязывает его ненавидеть; ненависть в его жизни играет роль глубочайшего и страстного этического импульса и, следовательно, субъективно не может быть вменена ему в вину. Мало того, и с объективной точки зрения нужно признать, что такое, обусловленное этическими мотивами чувство ненависти часто бывает морально ценным и социально полезным. Но, исходя не из узко-моралистических, а из более широких философских соображений, нужно признать, что, когда ненависть укрепляется в центре духовной жизни и поглощает любовь, которая ее породила, то происходит вредное и ненормальное перерождение нравственной личности. Повторяем, ненависть соответствует разрушению и есть

двигатель разрушения, как любовь есть двигатель творчества и укрепления. Разрушительные силы нужны иногда в экономии человеческой жизни и могут служить творческим целям; но замена всего творчества разрушением, вытеснение всех социальнo-гармонизирующих аффектов дисгармоническим началом ненависти есть искажение правильного и нормального отношения сил в нравственной жизни. Нельзя расходовать, не накапливая; нельзя развивать центробежные силы, не парализуя их соответственным развитием сил центростремительных; нельзя сосредоточиваться на разрушении, не оправдывая его творчеством и не ограничивая его узкими пределами, в которых оно действительно нужно для творчества; и нельзя ненавидеть, не подчиняя ненависти, как побочного спутника, действительному чувству любви.

Человеческая, как и космическая, жизнь проникнута началом борьбы. Борьба есть как бы имманентная форма человеческой деятельности, и к чему бы человек ни стремился, что бы ни созидал, он всюду наталкивается на препятствия, встречается с врагами, и должен постоянно менять плуг и серп на меч и копьё. И тем не менее сохраняется коренное различие между трудом созидующим и трудом-борьбой, между работой производительной и военным делом; лишь первая ценна сама по себе и приносит действительные плоды, тогда как последнее нужно только для первой и оправдывается ею. Это соотношение применимо ко всем областям человеческой жизни. Внешняя война бывает нужна для обеспечения свободы и успешности национальной жизни, но общество погибает, когда война мешает ему заниматься производительным трудом; внутренняя война - революция - может всегда быть лишь временно необходимым злом, но не может без вреда для общества долго препятствовать социальному сотрудничеству; литература, искусство, наука, религия вырождаются, когда в них борьба с чужими взглядами вытесняет самостоятельное творчество новых идей; нравственность гибнет, когда отрицательные силы порицания, осуждения, негодования начинают преобладать в моральной жизни над положительными мотивами любви, одобрения, признания. Всюду борьба есть хотя и необходимая, но непосредственно не производительная форма деятельности, не добро, а лишь неизбежное зло, и если она вытесняет подлинно производительный труд, это приводит к обнищанию и упадку соответствующей области жизни. Производство и война суть как бы символы двух исконных начал человеческой жизни, и нормальное отношение между ними, состоящее в подчинении второго начала первому, есть всегда условие прогресса, накопления богатства, материального и духовного, - условие действительного успеха человеческой жизни. Подводя итог развитию выше, мы можем теперь сказать: основная морально-философская ошибка революционизма есть абсолютизация начала борьбы и обусловленное ею пренебрежение к высшему и универсальному началу производительности.

Если из двух форм человеческой деятельности - разрушения и

созидания, или борьбы и производительного труда - интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ (материальных и духовных) - именно **распределения и производства** - она также признает исключительно первое. Подобно борьбе или разрушению, распределение, в качестве механического перемещения уже готовых элементов, также противостоит производству в смысле творческого созидания нового. Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Правда, в качестве социально-политической программы социализм предполагает реорганизацию всех сторон хозяйственной жизни; он протестует против мнения, что его желания сводятся лишь к тому, чтобы отнять богатство у имущих и отдать его неимущим. Такое мнение действительно содержит искажающее упрощение социализма как социологической или экономической теории; тем не менее оно совершенно точно передает морально-общественный дух социализма. Теория хозяйственной организации есть лишь техника социализма; душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять блага у одних и отдать их другим. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще **созидать**, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Социалистическая вера - не источник этого одностороннего обоготворения начала распределения; наоборот, она сама опирается на него и есть как бы социологический плод, выросший на метафизическом древе механистической этики. Превознесение распределения зачет производства вообще не ограничивается областью материальных благ; оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области, так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устройства. Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение; интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей; развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры ей гораздо менее дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди масс. Т. наз. "культурная деятельность" сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созиданию, а почетное имя культурного деятеля заслуживает у нас не тот, кто творит культуру - ученый, художник, изобретатель, философ, - а тот, кто раздает массе по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризует, пропагандирует.

В оценке этого направления приходится повторить в иных словах то, что мы говорили только что об отношении между борьбой и

производительным трудом. Распределение, бесспорно, есть необходимая функция социальной жизни, и справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип. Но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь - надо созидать, производить. Без правильного обмена веществ организм не может существовать, но ведь, в конце концов, он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, - доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, - в конце концов, подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету. Социалистическая интеллигенция, растрчивая огромные, сосредоточенные в ней силы на непроизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распределения, и не участвуя в созидании народного достояния, остается в метафизическом смысле бесплодной и, вопреки своим заветным и ценнейшим стремлениям, ведет паразитическое существование на народном теле. Пора, наконец, понять, что наша жизнь не только несправедлива, но прежде всего бедна и убога; что нищие не могут разбогатеть, если посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют; что пресловутое различие между "национальным богатством" и "народным благосостоянием" - различие между накоплением благ и доставлением их народу - есть все же лишь относительное различие и имеет реальное и существенное значение лишь для действительно богатых наций, так что если иногда уместно напоминать, что национальное богатство само по себе еще не обеспечивает народного благосостояния, то для нас бесконечно важнее помнить более простую и очевидную истину, что вне национального богатства вообще немислимо народное благосостояние. Пора во всей экономии национальной культуры сократить число посредников, транспортеров, сторожей, администраторов и распределителей всякого рода и увеличить число подлинных производителей. Словом, от распределения и борьбы за него пора перейти к культурному творчеству, к созиданию богатства.

IV.

Но чтобы созидать богатство, нужно любить его. Понятие богатства мы берем здесь не в смысле лишь материального богатства, а в том широком философском его значении, в котором оно объемлет владение и материальными, и духовными благами, или, точнее, в котором материальная обеспеченность есть лишь спутник и симво-

личный показатель духовной мощи и духовной производительности. В этом смысле метафизическая идея богатства совпадает с идеей культуры, как совокупности идеальных ценностей, воплощаемых в исторической жизни. Отсюда, в связи с вышесказанным, ясно, что забвение интеллигенцией начала производительности или творчества ради начала борьбы и распределения есть не теоретическая ошибка, не просто неправильный расчет путей к осуществлению народного блага, а опирается на моральное или религиозно-философское заблуждение. Оно вытекает в последнем счете из нигилистического морализма, из непризнания абсолютных ценностей и отращения к основанной на них идее культуры. Но в этой связи в нигилистическом морализме открывается новый и любопытный идейный оттенок.

Русская интеллигенция не любит богатства. Она не ценит прежде всего богатства духовного, культуры, той идейной силы и творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечению мира, к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии и морали; и - что всего замечательнее - эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатство материальное, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры. Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не самое богатство; скорее она даже ненавидит и боится его. В ее душе любовь к бедным обращается в любовь к бедности. Она мечтает накормить всех бедных, но ее глубочайший неосознанный метафизический инстинкт противится насаждению в мире действительного богатства. "Есть только один класс людей, которые еще более своекорыстны, чем богатые, и это - бедные", - говорит Оскар Уайльд в своей замечательной статье "Социализм и душа человека". Напротив, в душе русского интеллигента есть потаенный уголок, в котором глухо, но властно и настойчиво звучит обратная оценка: "есть только одно состояние, которое хуже бедности, и это - богатство". Кто умеет читать между строк, тому нетрудно подметить это настроение в делах и помышлениях русской интеллигенции. В этом внутренне противоречивом настроении проявляется то, что можно было бы назвать основной антиномией интеллигентского мировоззрения: сплетение в одно целое непримиримых начал нигилизма и морализма. Нигилизм интеллигенции ведет ее к утилитаризму, заставляет ее видеть в удовлетворении материальных интересов единственное подлинно нужное и реальное дело; морализм же влечет ее к отказу от удовлетворения потребностей, к упрощению жизни, к аскетическому отрицанию богатства. Это противоречие часто обходится тем, что разнородные мотивы распределяются по различным областям; аскетизм становится идеалом личной жизни и обосновывается моралистическим соображением о непроизводительности личного пользования жизненными благами, пока они не стали всеобщим достоянием, тогда как конечным и, так сказать, принципиальным идеалом остается богатство и широчайшее удовлетворение по-

требностей. И большинство интеллигентов сознательно исповедует и проповедует именно такого рода рациональное сочетание личного аскетизма с универсальным утилитаризмом; оно образует также, по-видимому, исходную рациональную посылку в системе интеллигентского мировоззрения. Однако логическое противоречие между нигилизмом и морализмом, о котором мы говорили в начале статьи, конечно, этим не уничтожается, а лишь обходится; каждое из этих двух начал содержит в себе, в конечном счете, некоторый самодовлеющий и первичный мотив, который поэтому естественно стремится всецело овладеть сознанием и вытеснить противоположный. Если в мире нет общеобязательных ценностей, а все относительно и условно, все определяется человеческими потребностями, человеческой жадой счастья и наслаждения, то во имя чего я должен отказываться от удовлетворения моих собственных потребностей? Таков аргумент нигилизма, разрушающий принципы морализма; эта тенденция литературно олицетворена в нигилистическом (в узком смысле) типе Базарова, и в жизни сказалась особенно широко в наши дни в явлениях "санинства", вульгаризованного "нищанства" (не имеющего, конечно, ничего общего с Ницше и - более правомерно - называющего себя также "штирнерианством", "экспроприаторством" и т.п.

Однако классический тип русского интеллигента несомненно тяготеет к обратному соотношению - к вытеснению нигилизма морализмом, т.е. к превращению аскетизма из личной и утилитарно обоснованной практики в универсальное нравственное настроение. Эта тенденция была выражена сознательно только в кратком эпизоде толстовства, и это совершенно естественно: ибо аскетизм, как сознательное вероучение, должен опираться на религиозную основу. Но бессознательно она, можно сказать, лежит в крови всей русской интеллигенции. Аскетизм из области личной практики постепенно переходит в область теории или, вернее, становится хотя и не обоснованной, но всеобъемлющей и самодовлеющей верой, общим духовным настроением, органическим нравственным инстинктом, определяющим все практические оценки. Русский интеллигент испытывает положительную любовь к упрощению, обеднению, сужению жизни; будучи социальным реформатором, он вместе с тем и прежде всего - монах, ненавидящий мирскую суету и мирские забавы, всякую роскошь, материальную и духовную, всякое богатство и прочность, всякую мощь и производительность. Он любит слабых, бедных, нищих телом и духом, не только как несчастных, помочь которым значит сделать из них сильных и богатых, т.е. уничтожить их как социальный или духовный тип, - он любит их именно как идеальный тип людей. Он хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна и верит, что все богатые - злы, а все бедные - хорошие и добрые; он стремится к "диктатуре пролетариата", мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть - злом и всех властвующих - насильниками. Он хочет дать народу просвещение, духовные блага

и духовную силу, но в глубине души считает и духовное богатство роскошью и верит, что чистота помыслов может возместить и перевесить всякое знание и умение. Его влечет идеал простой, бесхитростной, убогой и невинной жизни; Иванушка-дурачок, "блаженненький", своей сердечной простотой и святой наивностью побеждающий всех сильных, богатых и умных, - этот общерусский национальный герой есть и герой русской интеллигенции. Именно потому она и ценит в материальной, как и в духовной области, одно лишь распределение, а не производство и накопление, одно лишь равенство в пользовании благами, а не самое обилие благ; ее идеал - скорее невинная, чистая, хотя бы и бедная жизнь, чем жизнь действительно богатая, обильная и могущественная. И если в оценке материального богатства аскетизм сталкивается с утилитаризмом и противодействует ему, так что создается как бы состояние неустойчивого равновесия, то в оценке богатства духовного или общей идеи культуры аскетическое самоограничение, напротив, прямо поддерживается нигилистическим безверием и материализмом, и оба мотива сотрудничают в обосновании отрицательного отношения к культуре, в принципиальном оправдании и укреплении варварства.

Подводя итоги сказанному, мы можем определить классического русского интеллигента как вопиющего монаха нигилистической религии земного благополучия. Если в таком сочетании признаков содержатся противоречия, то это - живые противоречия интеллигентской души. Прежде всего, интеллигент и по настроению, и по складу жизни - монах. Он сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной исторической бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний и благочестивой веры. Интеллигенция есть как бы самостоятельное государство, особый мирок, со своими строжайшими и крепчайшими традициями, со своим этикетом, со своими нравами, обычаями, почти со своей собственной культурой; и можно сказать, что нигде в России нет столь незыблемо-устойчивых традиций, такой определенности и строгости в регулировании жизни, такой категоричности в расценке людей и состояний, такой верности корпоративному духу, как в том всероссийском духовном монастыре, который образует русская интеллигенция. И этой монашеской обособленности соответствует монашески-суровый аскетизм, прославление бедности и простоты, уклонение от всяких соблазнов суетной и греховной мирской жизни. Но, уединившись в своем монастыре, интеллигент не равнодушен к миру; напротив, из своего монастыря он хочет править миром и посадить в нем свою веру; он - воинствующий монах, монах-революционер. Все отношение интеллигенции к политике, ее фанатизм и нетерпимость, ее непрактичность и неумелость в политической деятельности, ее невыносимая склонность к фракционным раздорам, отсутствие у нее государственного смысла - все это вытекает из монашески-религиозного ее духа, из того, что для нее политическая деятельность имеет целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную, в мирском смысле, реформу, сколько - истребить врагов веры

и насильственно обратить мир в свою веру. И наконец, содержание этой веры есть основанное на религиозном безверии обоготворение земного, материального благополучия. Все одушевление этой монашеской армии направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание земного рая сытости и обеспеченности; все трансцендентное, потустороннее и подлинно-религиозное, всякая вера в асбсолютные ценности есть для нее прямой и ненавистный враг. С аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом, питаемым сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком "человеческих" забот о "едином хлебе". Весь аскетизм, весь религиозный пыл, вся сила самопожертвования и решимость жертвовать другими - все это служит осуществлению тех субъективных, относительных и преходящих интересов, которые только и может признавать нигилизм и материалистическое безверие. Самые мирские дела и нужды являются здесь объектом религиозного служения, подлежат выполнению по универсальному плану, предначертанному метафизическими догмами и неуклонными монашескими уставами. Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов объявляет миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды.

V.

Естественно, что такое скопление противоречий, такое расхождение принципиально антагонистических мотивов, слитых в традиционном интеллигентском умонастроении, должно было рано или поздно сказаться и своей взаимно-отталкивающей силой, так сказать, взорвать и раздробить это умонастроение. Это и произошло, как только интеллигенции дано было испытать свою веру на живой действительности. Глубочайший культурно-философский смысл судьбы общественного движения последних лет именно в том и состоит, что она обнаружила несостоятельность мировоззрения и всего духовного склада русской интеллигенции. Вся слепота и противоречивость интеллигентской веры была выявлена, когда маленькая, подпольная секта вышла на свет Божий, приобрела множество последователей и на время стала идейно влиятельной и даже реально могущественной. Тогда обнаружилось, прежде всего, что монашеский аскетизм и фанатизм, монашеская нелюдимость и ненависть к миру несовместимы с реальным общественным творчеством. Это - одна сторона дела, которая до некоторой степени уже признана и учтена общественным мнением. Другая, по существу более важная сторона, еще доселе не оценена в должной мере. Это - противоречие между морализмом и нигилизмом, между общеобязательным, религиозно-абсолютным характером интеллигентской веры и нигилистически-беспринципным ее содержанием. Ибо это

противоречие имеет отнюдь не одно лишь теоретическое или отвлеченное значение, а приносит реальные и жизненно-гибельные плоды. Непризнание абсолютных и действительно общеобязательных ценностей, культ материальной пользы большинства обосновывают примат силы над правом, догмат о верховенстве классовой борьбы и "классового интереса пролетариата", что на практике тождественно с идолопоклонническим обоготворением интересов партии; отсюда - та беспринципная, "готтентотская" мораль, которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их партийной пользы или партийного вреда; отсюда - чудовищная, морально недопустимая непоследовательность в отношении к террору правому и левому, к погромам черным и красным, и вообще не только отсутствие, но и принципиальное отрицание справедливого, объективного отношения к противнику*. Но этого мало. Как только ряды партии расстроились частью неудачами, частью притоком многочисленных, менее дисциплинированных и более первобытно мыслящих членов, та же беспринципность привела к тому, что нигилизм классовый и партийный сменился нигилизмом личным, или попросту хулиганским насильничеством. Самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет - то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнузданными любителями полового разврата, - этот факт все же с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры, именно ее нигилизмом; и это необходимо признать открыто, без злорадства, но с глубочайшей скорбью. Самое ужасное в этом факте именно в том и состоит, что нигилизм интеллигентской веры как бы сам невольно санкционирует преступность и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности и прогрессивности.

Такие факты, как, с одной стороны, полное бесплодие и бессилие интеллигентского сознания в его соприкосновении с реальными силами жизни, и с другой - практически обнаружившаяся

*С.замечательной проницательностью эта беспринципность русской интеллигенции была уже давно подмечена покойным А.И.Эртелем и высказана в одном, недавно опубликованном, частном письме от 1892 г.: "Всякий протест, если он претендует на плодотворность, должен вытекать... из философии-религиозных убеждений самого протестующего. Большею частью наши протестанты сами не отдают себе отчета, почему их возмущает произвол, насилие, бесцеремонность власти, потому что, возмущаясь этим в данном случае, они этим же самым восторгаются в другом случае, лишь бы вместо Победоносцева был подставлен Гамбетта или кто-нибудь в таком же роде... Основной рычаг общественного поведения должен быть установлен без всякого отношения к "злобе дня", - он должен определяться не статистикой, не положением крестьянского быта, не теми или иными дефектами государственного хозяйства и вообще политики, но философски-религиозным пониманием своего личного назначения". (Письма А.И.Эртеля. М., 1909. 294-5).

нравственная гнилость некоторых его корней, не могут пройти бесследно. И действительно, мы присутствуем при развале и разложении традиционного интеллигентского духа; законченный и целостный, несмотря на все свои противоречия, моральный тип русского интеллигента, как мы старались изобразить его выше, начинает исчезать на наших глазах и существует скорее лишь идеально, как славное воспоминание прошлого; фактически он уже потерял прежнюю неограниченную полноту своей власти над умами и лишь редко воплощается в чистом виде среди подрастающего ныне поколения. В настоящее время все перепуталось; социал-демократы разговаривают о Боге, занимаются эстетикой, братаются с "мистическими анархистами"³, теряют веру в материализм и примиряют Маркса с Махом и Ницше; в лице синдикализма начинает приобретать популярность своеобразный мистический социализм; "классовые интересы" каким-то образом сочетаются с "проблемой пола" и декадентской поэзией, и лишь немногие старые представители классического народничества 70-х годов уныло и бесплодно бродят среди этого нестройно-пестрого смешения языков и вер, как последние экземпляры некогда могучего, но уже непроизводительного и вымирающего культурного типа. Этому кризису старого интеллигентского сознания нечего удивляться, и еще менее есть основание скорбеть о нем; напротив, надо удивляться тому, что он протекает как-то слишком медленно и бессознательно, скорее в форме непроизвольной органической болезни, чем в виде сознательной культурно-философской перестройки; и есть причины жалеть, что, несмотря на успехи в разложении старой веры, новые идеи и идеалы намечаются слишком слабо и смутно, так что кризису пока не предвидится конца.

Для ускорения этого мучительного переходного состояния необходимо одно: сознательное уяснение тех моральных и религиозно-философских основ, на которых зиждутся господствующие идеи. Чтобы понять ошибочность или односторонность какой-либо идеи и найти поправку к ней, по большей части достаточно вполне отчетливо осознать ее последние послышки, как бы прикоснуться к ее глубочайшим корням. В этом смысле недостаточный интерес к моральным и метафизическим проблемам, сосредоточение внимания исключительно на технических вопросах о средствах, а не на принципиальных вопросах о конечной цели и первой причине есть источник живучести идейного хаоса и сумятицы. Быть может, самая замечательная особенность новейшего русского общественного движения, определившая в значительной мере и его судьбу, есть его философская непродуманность и недоговоренность. В отличие, напр., от таких исторических движений, как великая английская или великая французская революции, которые пытались осуществить новые, самостоятельно продуманные и созданные философские идеи и ценности, двинуть народную жизнь по еще непроторенным путям, открытым в глубоких и смелых исканиях творческой политической мысли, - наше общественное

движение руководилось старыми мотивами, заимствованными на веру, и притом не из первоисточников, а из вторых и третьих рук. Отсутствие самостоятельного идейного творчества в нашем общественном движении, его глубоко консервативный в философском смысле характер есть факт настолько всеобщий и несомненный, что он даже почти не обращает на себя ничего внимания и считается естественным и нормальным. Социалистическая идея, владеющая умами интеллигенции, целиком, без критики и проверки, заимствована ею в том виде, в каком она выкристаллизовалась на Западе в результате столетнего брожения идей. Корни ее восходят, с одной стороны, к индивидуалистическому рационализму XVIII в.⁴, и с другой - к философии реакционной романтики⁵, возникшей в результате идейного разочарования исходом великой французской революции. Веруя в Лассалю и Маркса, мы, в сущности, веруем в ценности и идеи, выработанные Руссо и де Местром, Гольбахом и Гегелем, Берком и Бентамом, питаемся обьедками с философского стола XVIII и начала XIX века. И, воспринимая эти почтенные идеи, из которых большинство уже перешагнуло за столетний возраст, мы совсем не останавливаемся сознательно на этих корнях нашего мирозерцания, а пользуемся их плодами, не задаваясь даже вопросом, с какого дерева сорваны последние и на чем основана их слепо исповедуемая нами ценность. Для этого философского безмыслия весьма характерно, что из всех формулировок социализма подавляющее господство над умами приобрело учение Маркса, - система, которая, несмотря на всю широту своего научного построения, не только лишена какого бы то ни было философского и этического обоснования, но даже принципиально от него отрекается (что не мешает ей, конечно, фактически опираться на грубые и непроверенные предпосылки материалистической и сенсуалистической веры). И поскольку в наше время еще существует стремление к новым ценностям, идейный почин, жажда устроить жизнь сообразно собственным, самостоятельно продуманным понятиям и убеждениям, этот живой духовный трепет инстинктивно сторонится от большой дороги жизни и замыкается в обособленной личности; или же - что еще хуже, - если ему иногда удастся прорваться сквозь толщу господствующих идей и обратить на себя внимание, - воспринимается поверхностно, чисто литературно, становится ни к чему не обязывающей модной новинкой и уродливо сплетается с старыми идейными традициями и привычками мысли.

Но здесь, как и всюду, надлежит помнить проникновенные слова Ницше: "Не вокруг творцов нового шума - вокруг творцов новых ценностей вращается мир!" Русская интеллигенция, при всех недочетах и противоречиях ее традиционного умонастроения, обладала доселе одним драгоценным формальным свойством: она всегда искала веры и стремилась подчинить вере свою жизнь. Так и теперь она стоит перед величайшей и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми. Правда,

этот поворот может оказаться столь решительным, что, совершив его, она вообще перестанет быть "интеллигенцией" в старом, русском, привычном смысле слова. Но это - к добру! На смену старой интеллигенции, быть может, грядет "интеллигенция" новая, которая очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив неприкосновенным благородный оттенок его значения. Порвав с традицией ближайшего прошлого, она может поддержать и укрепить традицию более длительную и глубокую, и через семидесятые годы подать руку тридцатым и сороковым годам, возродив в новой форме, что было вечного и абсолютно-ценного в исканиях духовных пионеров той эпохи. И если позволительно афористически наметить, в чем должен состоять этот поворот, то мы закончим наши критические размышления одним положительным указанием. От непроизводительного, противокультурного **нигилистического морализма** мы должны перейти к творческому, созидающему культуру **религиозному гуманизму**.

1909 г.

Интеллигенция и революция*

Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевскому бунту? Зато в этих революциях, неспособных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов.

Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей степени поучительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении, непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: "смута" была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598-1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.

Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с "ворами" первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те "последние люди московского государства", которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и, под предводительством Минина

* Настоящие размышления представляют написанные два года тому назад наброски главы из той задуманной мною книги, в которой я хотел подвести итоги нашего культурного и политического развития и дать оценку пережитой нами революцией.

Примеч. ко 2-му изд. Перепечатывается без всяких изменений.

и Пожарского, довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным "воровством" анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей до-петровской "смуты", в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное...

Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные. Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу "господ". И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно жестокое, совершенно "воровское" по своим приемам, так же бессильно, как и первая волна, разбилось о государственную мощь.

В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598-1613 гг. и от разиновщины. Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих движений и в особенности пугачевщины громадны: они могут быть выражены в двух словах - освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19-го февраля 1861 г. Неудача его "воровского" движения была неизбежна: если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для государств и верховной власти - по причинам экономическим и иным - странно трудным делом, то **против** государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения было не только погублено, но и извращено в свою противоположность "воровскими" противогосударственными методами борьбы за него.

Носителем этого противогосударственного "воровства" было как в XVII, так и в XVIII в. "казачество". "Казачество" в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем, всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя.

Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены, как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются **одинокими**, пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который - как ни мало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении - в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент - интеллигенция.

Слово "интеллигенция" может употребляться, конечно, в раз-

личных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда.

Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской "Странной истории" помещик-откупщик: "'У нас смирно; губернатор-меланхолик, губернский предводитель - холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите". Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупками, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие".

Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.

Мы разумеем под этим наименованием даже не "образованный класс". В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере "образованный класс" составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.

Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она вполне естественно является громадной.

Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении.

С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революции 1905-07 гг.

Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40 - х гг.

В облике интеллигенции как идейно-политической силы в русском историческом развитии можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текущий - содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.

Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исторически это

различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же, как принципиальное признание необходимости общественной власти (т.е. в сущности государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и ступшевывается перед враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм с его учением о классовой борьбе и государстве, как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства. Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического.

В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это, в сущности, - применение к русской интеллигенции того же самого воззрения, - на мой взгляд поверхностного и не выдерживающего критики, - которое привело Соловьева к его известной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западноевропейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым воспоена вся наша интеллигенция.

Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, формально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда ("все или ничего!"), запечатлен указанным выше противоречием, и оно вовсе не носит отвлеченного характера: его жизненный смысл пронизывает всю деятельность интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии.

Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, как последний, стремятся к наибольшей полноте и красоте индивидуальной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и безыдейно.

После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии

должна быть, не может не быть, вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества, или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без идеи Бога и не может быть ее без идеи личного подвига.

Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и стоит вне русской интеллигенции.

Основная философия социализма, идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основателем социализма является последователь французских просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности.

Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философия всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, - есть "Царство Божие внутри вас есть".

Для религиозного мирозерцания не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания*.

Социализм в его чисто-экономическом учении не противоречит никакой религии, но он, как таковое, не есть вовсе религия. Верить ("верую, Господи, и исповедую") в социализм религиозный человек не может, так же, как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы.

Восприятие русскими передовыми умами западноевропейского атеистического социализма - вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы "полевления" Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев - это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем

* Ср. мою статью о Льве Толстом в "Русской Мысли" (август 1908 г.).

философском смысле есть подлинная духовная стихия, которую живут и Бакунины в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто "историческое" различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу.

В 60-х годах с их развитием журналистики и публицистики "интеллигенция" явственно отделяется от образованного класса, как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически-обусловленный факт конфликта людей разных формаций, культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему существу своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный тип.

В дальнейшем развитии русской общественной мысли Михайловский, напр., был типичный интеллигент, конечно, гораздо более тонкого индивидуального чекана, чем Чернышевский, но все-таки с головы до ног интеллигент. Совсем наоборот, Владимир Соловьев вовсе не интеллигент. Очень мало индивидуально похожий на Герцена Салтыков так же, как он, вовсе не интеллигент, но тоже носит на себе, и весьма покорно, мундир интеллигента. Достоевский и Толстой каждый по-разному срывают с себя и далеко отбрасывают этот мундир. Между тем весь русский либерализм - в этом его характерное отличие от славянофильства - считает своим долгом носить интеллигентский мундир, хотя острая отщепенская суть интеллигента ему совершенно чужда. Загадочный лик Глеба Успенского тем и загадочен, что его истинное лицо все прикрыто какими-то интеллигентскими масками.

* *
*

В безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции - ключ к пониманию пережитой и переживаемой нами революции.

После пугачевщины и до этой революции все русские политические движения были движениями образованной и привилегиро-

ванной части России. Такой характер совершенно явственно присуш офицерской революции декабристов.

Бакунин в 1862 г. думал, что уже тогда началось движение социальное и политическое в самых народных массах. Когда началось движение, прорвавшееся в 1905 г. революцией, об этом можно, пожалуй, долго и бесконечно спорить, но когда Бакунин говорил в 1862 г.: "Многие рассуждают о том, будет ли в России уже теперь революция", и продолжал: "В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не решится созвать всенародную земскую думу" - то он, конечно, не думал, что революция затянется более чем на сорок лет.

Только в той революции, которую пережили мы, интеллигентская мысль соприкоснулась с народной - впервые в русской истории в таком смысле и в такой форме.

Революция бросилась в атаку на политический строй и социальный уклад самодержавно-дворянской России.

Дата 17 октября 1905 года знаменует собой принципиальное коренное преобразование сложившегося веками политического строя России. Преобразование это произошло чрезвычайно быстро в сравнении с тем долгим предшествующим периодом, когда вся политика власти была направлена к тому, чтобы отрезать нации все пути к подготовке и осуществлению этого преобразования. Перелом произошел в кратковременную эпоху доверия и был, конечно, обусловлен банкротством внешней политики старого порядка.

Быстрота, с которой разыгралось в особенности последнее действие преобразования, давшее под давлением стихийного порыва, вдохновлявшего всеобщую стачку, акт 17 октября, подействовала опьяняюще на интеллигенцию. Она вообразила себя хозяином исторической сцены, и это всецело определило ту "тактику", при помощи которой она приступила к осуществлению своих идей. Общую характеристику этих идей мы уже дали. В сочетании этой тактики с этими идеями, а вовсе не в одной тактике - ключ к пониманию того, что произошло.

Актом 17 октября по существу и формально революция должна была бы завершиться. Невыносимое в национальном и государственном смысле положение вещей до 17 октября состояло в том, что жизнь народа и развитие государства были абсолютно замкнуты самодержавием в наперед установленные границы. Все, что не только юридически, но и фактически раздвигало или хотя бы угрожало в будущем раздвинуть эти границы, не терпелось и подвергалось гонению. Я охарактеризовал и заключил эту политику в предисловии к заграничному изданию знаменитой записки Витте о самодержавии и земстве. Крушение этой политики было неизбежно и, в связи с усложнением общественной жизни и с войной, оно совершилось, повторяем, очень быстро.

В момент государственного преобразования 1905 года отщепенские идеи и отщепенское настроение всецело владели широкими кругами русских образованных людей. Исторически, веками сла-

гавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ею уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции. Речь шла о том, чтобы, по подлинному выражению социал-демократической публицистики того времени, "последним пинком раздавить гадину". И такие заявления делались тогда, когда еще не было созвано народное представительство, когда действительное настроение всего народа и, главное, степень его подготовки к политической жизни, его политическая выдержка никому еще не были известны. Никогда никто еще с таким бездумным легкомыслием не призывал к величайшим политическим и социальным переменам, как наши революционные партии и их организации в дни свободы. Достаточно указать на то, что ни в одной великой революции идея низвержения монархии не являлась наперед выброшенным лозунгом. И в Англии XVII века, и во Франции XVIII века ниспровержение монархии получилось в силу рокового сцепления фактов, которых никто не предвидел, никто не призывал, никто не "делал".

Недолговечная английская республика родилась после веков существования парламента в великой религиозно-политической борьбе усилиями людей, вождь которых является, быть может, самым сильным и ярким воплощением английской государственной идеи и поднял на небывалую высоту английскую мощь. Французская монархия пала вследствие своей чисто политической неподготовленности к тому государственному перевороту, который она сама начала. А основавшаяся на ее месте республика, выкованная в борьбе за национальное бытие, как будто явилась только для того, чтобы уступить место новой монархии, которая в конце концов пала в борьбе с внешними врагами. Наполеон I создал вокруг себя целую легенду, в которой его личность тесно сплелась с идеей мощи и величия государства, а восстановленная после его падения династия была призвана и посажена на престол чужеземцами и в силу этого уже с самого начала своей реставрации была государственно слаба. Но Бурбоны, в лице Орлеанов, конечно, вернулись бы на французский трон после 1848 года, если бы их не предупредил Наполеонид, сильный национально-государственным обаянием первой Империи. Падение же Наполеона III на этой подготовленной к государственным переворотам почве было обусловлено полным, беспримерным в истории военным разгромом государства. Так в новейшей французской истории почти в течение целого столетия продолжался политический круговорот от республики к монархии и обратно, круговорот, полный великих государственных событий.

Чужой революционный опыт дает наилучший комментарий к нашему русскому. Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того, чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе.

В ту борьбу с исторической русской государственностью и с "буржуазным" социальным строем, которая после 17-го октября была поведена с еще большею страстностью и в гораздо более революционных формах, чем до 17 октября, интеллигенция внесла огромный фанатизм ненависти, убийственную прямолинейность выводов и построений, и ни грама - религиозной идеи.

Религиозность или безрелигиозность интеллигенции, по-видимому, не имеет отношения к политике. Однако только по-видимому. Не случайно, что русская интеллигенция, будучи безрелигиозной в том неформальном смысле, который мы отстаиваем, в то же время была мечтательна, неделовита, легкомысленна в политике. Легковерие без веры, борьба без творчества, фанатизм без энтузиазма, нетерпимость без благоговения - словом тут была и есть налицо вся форма религиозности без ее содержания. Это противоречие, конечно, свойственно по существу всякому окрашенному материализмом и позитивизмом радикализму. Но ни над одной живой исторической силой оно не тяготело и не тяготеет в такой мере, как над русской интеллигенцией. Радикализм или максимализм может находить себе оправдание только в религиозной идее, в поклонении и служении какому-нибудь высшему началу. Во-первых, религиозная идея способна смягчить углы такого радикализма, его жесткость и жестокость. Но кроме того, и это самое важное, религиозный радикализм апеллирует к внутреннему существу человека, ибо с религиозной точки зрения проблема внешнего устройства жизни есть нечто второстепенное. Поэтому как бы решительно ни ставил религиозный радикализм политическую и социальную проблему, он не может не видеть в ней проблемы воспитания человека. Пусть воспитание это совершается путем непосредственного общения человека с Богом, путем, так сказать, надчеловеческим, но все-таки это есть воспитание и совершенствование человека, обращающееся к нему самому, к его внутренним силам, к его чувству ответственности.

Наоборот, безрелигиозный максимализм, в какой бы то ни было форме, отмечает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве, заменяя его внешним устройством жизни.

Говоря о том, что русская интеллигенция идейно отрицала или отрицает личный подвиг и личную ответственность, мы, по-видимому, приходим в противоречие со всей фактической историей служения интеллигенции народу, с фактами героизма, подвижничества и самоотвержения, которыми отмечено это служение. Но нужно понять, что фактическое упражнение самоотверженности не означает вовсе признания идеи личной ответственности, как начала, управляющего личной и общественной жизнью. Когда интеллигент размышлял о своем долге перед народом, он никогда не додумывался до того, что выражающаяся в начале долга идея личной ответственности должна быть адресована не только к нему, интелли-

генту, но и к народу, т.е. ко всякому лицу, независимо от его происхождения и социального положения. Аскетизм и подвижничество интеллигенции, полагавшей свои силы на служение народу, несмотря на всю свою привлекательность, были, таким образом, лишены принципиального морального значения и воспитательной силы.

Это обнаружилось с полной ясностью в революции. Интеллигентская доктрина служения народу не предполагала никаких обязанностей у народа и не ставила ему самому никаких воспитательных задач. А так как народ состоит из людей, движущихся интересами и инстинктами, то, просочившись в народную среду, интеллигентская идеология должна была дать вовсе не идеалистический плод. Народническая, не говоря уже о марксистской, проповедь в исторической действительности превращалась в разнуздание и деморализацию.

Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия. Предъявляя самые радикальные требования, во имя их призывая народ к действиям, наша радикальная интеллигенция совершенно отрицала воспитание в политике и ставила на его место возбуждение. Но возбуждение быстро сыграло свою роль и не могло больше ничего дать. Когда оно спало, момент был пропущен, и воцарилась реакция. Дело, однако, вовсе не в том только, что пропущен был момент.

В настоящее время отвратительное торжество реакции побуждает многих забывать или замалчивать ошибки пережитой нами революции. Не может быть ничего более опасного, чем такое забвение, ничего более легкомысленного, чем такое замалчивание. Такому отношению, которое нельзя назвать иначе, как политическим импрессионизмом, необходимо противопоставить поднимающийся над впечатлениями текущего момента анализ морального существа того политического кризиса, через который прошла страна со своей интеллигенцией во главе.

Чем вложились народные массы в этот кризис? Тем же, чем они влагались в революционное движение XVII и XVIII веков, своими социальными страданиями и стихийно выраставшими из них социальными требованиями, своими инстинктами, аппетитами и ненавистями. Религиозных идей не было никаких. Это была почва, чрезвычайно благодарная для интеллигентского безрелигиозного радикализма, и он начал оперировать на этой почве с уверенностью, достойной лучшего применения.

Прививка политического радикализма интеллигентских идей к социальному радикализму народных инстинктов совершалась с ошеломляющей быстротой. В том, как легко и стремительно стала интеллигенция на эту стезю политической и социальной революции, настрадавшихся народных масс, заключалась не просто политическая ошибка, не просто грех тактики. Тут была ошибка моральная. В основе тут лежало представление, что "прогресс" общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой,

которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению.

Политическое легкомыслие и неделовитость присоединились к этой основной моральной ошибке. Если интеллигенция обладала формой религиозности без ее содержания, то ее "позитивизм", наоборот, был чем-то совершенно бесформенным. То были "положительные", "научные" идеи без всякой истинной положительности, без знания жизни и людей, "эмпиризм" без опыта, "рационализм" без мудрости и даже без здравого смысла.

РевOLUTIONЮ делали плохо. В настоящее время с полной ясностью раскрывается, что в этом делании революции играла роль ловко инсценированная провокация. Это обстоятельство, однако, только ярко иллюстрирует поразительную неделовитость революционеров, их практическую беспомощность, но не в нем суть дела. Она не в том, как делали революцию, а в том, что ее вообще делали. Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании. Война раскрыла глаза народу, пробудила национальную совесть, и это пробуждение открывало для работы политического воспитания такие широкие возможности, которые обещали самые обильные плоды. И вместо этого что же мы видели? Две всеобщие стачки с революционным взвинчиванием рабочих масс (совесть рабочих депутатов!), ряд военных бунтов, бессмысленных и жалких, московское восстание, которое было гораздо хуже, чем оно представилось в первый момент, бойкот выборов в Первую думу и подготовка (при участии провокации!) дальнейших вооруженных восстаний, разразившихся уже после роспуска Государственной Думы. Все это должно было терроризировать и в конце концов смести власть. Власть была, действительно, терроризирована. Явились военно-полевые суды и бесконечные смертные казни. И затем государственный испуг превратился в нормальное политическое состояние, в котором до сих пор пребывает власть, в котором она осуществила изменение избирательного закона, - теперь требуются годы, чтобы сдвинуть страну с этой мертвой точки.

Итак, безрелигиозное отщепенство от государства, характерное для политического мировоззрения русской интеллигенции, обусловило и ее моральное легкомыслие, и ее неделовитость в политике.

Что же следует из такого диагноза болезни? Прежде всего - и это я уже подчеркнул выше, - вытекает то, что недуг заложен глубоко, что смешно, рассуждая о нем, говорить о политической тактике. Интеллигенции необходимо пересмотреть все свое мирозерцание и в том числе подвергнуть коренному пересмотру его главный устой - то социалистическое отрицание личной ответственности, о котором мы говорили выше. С выпутием этого камня - а он должен быть вынут - рухнет все здание этого мирозерцания.

При этом самое положение "политики" в идейном кругозоре интеллигенции должно измениться. С одной стороны, она перестанет

быть той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни областью, которою она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устройства общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью независимой от нее политики должно кончиться.

К политике в умах русской интеллигенции установилось в конце концов извращенное и в корне противоречивое отношение. Сводя политику к внешнему устройству жизни - чем она с технической точки зрения на самом деле и является, - интеллигенция в то же время видела в политике альфу и омегу всего бытия своего и народного (я беру тут политику именно в широком смысле внешнего общественного устройства жизни). Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель, - явное, хотя и постоянно в человеческом обиходе встречающееся, извращение соотношения между средством и целью.

Подчинение политики идее воспитания вырывает ее из той изолированности, на которую политику необходимо обрекает "внешнее" ее понимание.

Нельзя политику, так понимаемую, свести просто к состязанию общественных сил, напр., к борьбе классов, решаемой в конце концов физическим превосходством. С другой стороны, при таком понимании невозможно политике во внешнем смысле подчинять всю духовную жизнь.

Воспитание, конечно, может быть понимаемо тоже во внешнем смысле. Его так и понимает тот социальный оптимизм, который полагает, что человек всегда готов, всегда достаточно созрел для лучшей жизни, и что только неразумное общественное устройство мешает ему проявить уже имеющиеся налицо свойства и возможности. С этой точки зрения "общество" есть воспитатель, хороший или дурной, отдельной личности. Мы понимаем воспитание совсем не в этом смысле "устройства" общественной среды и ее педагогического воздействия на личность. Это есть "социалистическая" идея воспитания, не имеющая ничего общего с идеей воспитания в религиозном смысле. Воспитание в этом смысле совершенно чуждо социалистического оптимизма. Оно верит не в устройство, а только в творчество, в положительную работу человека над самим собой, в борьбу его внутри себя во имя творческих задач...

Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются.

Есть основание думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция "обуржуазится", т.е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе.

Но может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот, который явится результатом борьбы идей. Только этот переворот и представляет для нас интерес в данном случае. Какой горизонт можно поставить ему?

В интеллигенции началось уже глубокое брожение, зародились новые идеи, а старые идейные основы поколеблены и скомпрометированы. Процесс этот только что еще начался, и какие успехи он сделает, на чем он остановится, в настоящий момент еще нельзя сказать. Но и теперь уже можно сказать, что, поскольку русская идейная жизнь связана с духовным развитием других, дальше нас ушедших стран, процессы, в них происходящие, не могут не отражаться на состоянии умов в России. Русская интеллигенция, как особая культурная категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только "образованный класс" и разные в нем направления.

Для духовного развития Запада нет в настоящую эпоху процесса более знаменательного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма. Социализм, разлагаясь, поглощается социальной политикой. Бентам победил Сеп-Симона и Маркса. Последнее усилие спасти социализм - синдикализм - есть, с одной стороны, попытка романтического возрождения социализма, откровенного возведения его к стихийным иррациональным началам, а с другой стороны, он означает столь же откровенный призыв к варварству. Совершенно ясно, что это усилие бессильно и бесплодно.

При таких условиях социализм вряд ли может оставаться для тех элементов русского общества, которые составляют интеллигенцию, живой водой их духовно-общественного бытия*.

Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Нет на Западе того чувствилища, которое представляет интеллигенция. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перипетий. Но, если наша "интеллигенция" может быть более чувствительна к кризису социализма, чем "западные" люди, то, с другой стороны, самый кризис у нас и для нас прикрыт нашей злосчастной "политикой", возрождением недобитого абсолютизма и разгулом реакции. На Западе принципиальное значение проблем и органический характер кризиса гораздо яснее.

Такой идейный кризис нельзя лечить ни ромашкой тактических директив, ни успокоительным режимом безыдейной культурной работы. Нам нужна, конечно, упорная работа над культурой. Но именно для того, чтобы в ней не потеряться, а устоять, нужны идеи, творческая борьба идей.

1909 г.

* См. мою статью "Facies hippocratica" в "Русской Мысли". 1907, окт.

Интеллигенция и народное хозяйство

Все перечувствованное и передуманное за последние 5 лет, весь этот огромный проделанный нами исторический опыт требует, чтобы мы его осмыслили.

Было бы ошибочно думать, что мы пережили только "политические" годы и нуждаемся только в политическом поучении, в политических выводах. Более того, можно сказать, что в некоторых отношениях чисто политическая точка зрения пока бесплодна. Бесплодна потому, что, как ни ясны некоторые политические цели, никто не может пока указать ясных политических путей к этим целям. Сравнительно с до-октябрьским прошлым¹ Россия сделала огромный принципиальный шаг вперед в политическом отношении. Но, сделав этот шаг, она очутилась перед культурными проблемами, которые, казалось, были оттеснены на задний план политическим вопросом. Если прежде можно было сказать - и, по крайней мере, психологически это было верно, - что никакой культурный прогресс невозможен без решительного, принципиального политического разрыва с прошлым, - то теперь так же решительно можно утверждать, что никакой политический шаг вперед невозможен вне культурного прогресса; без такого прогресса всякое политическое завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе.

Из фатального круга двух основных политических положений: 1) необходима конституция, прочный правовой порядок и 2) правительство, которое в политическом смысле держит в своих руках положение, ведет всякую иную, только не конституционно-зидительную и конституционно-консервативную политику, оно - пленник и исполнительный орган реакции, - из этого фатального круга самого по себе невозможно извлечь ничего положительного. Все свести к критике правительства, значило бы безмерно преувеличивать значение данного правительства и власти вообще: источник неудач, разочарований и поражений, постигших Россию, лежит гораздо глубже. Даже если бы каким-нибудь чудом политический вопрос оказался разрешенным, решение его лишь более выпукло выдвинуло бы значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество должно задуматься над самим собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо себе осмыслить во всем его национальном значении.

Потерпело крушение целое мирозосерцание, которое оказалось несостоятельным. Основами этого мирозосерцания были две идеи

или, вернее, сочетание двух идей: 1) идеи личной безответственности и 2) идеи равенства. Применение этих идей к общественной жизни заполнило и окрасило собой нашу революцию.

И тут прежде всего внимание останавливается на судьбах русского народного хозяйства. В основе всякого экономического прогресса лежит вытеснение менее производительных общественно-экономических систем более производительными. Это не общее место, а очень тяжеловесная истина. Ее нельзя и не следует понимать "материалистически", как делает школьный марксизм. Более производительная система не есть нечто мертвое, лишенное духовности. Большая **производительность** всегда опирается на более высокую личную **годность**. А личная **годность** есть совокупность определенных духовных свойств: выдержки, самообладания, добросовестности, расчетливости. Прогрессирующее общество может быть построено только на идее личной **годности**, как основе и мерило всех общественных отношений. Если в идее свободы и своеобразия личности был заключен вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной **годности** перед нами вечный реалистический момент либерального мирозерцания.

Идею **годности** англичане выражают словом: *efficiency*, немцы - словом *Tüchtigkeit*. Француз просто скажет: *forse* и будет прав. Ибо **годность** - сила.

В русской революции идея личной **годности** была совершенно погашена. Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. Идея личной безответственности есть прямая противоположность идее личной **годности**. Я требую того-то и того-то, совершенно независимо от того, могу ли я оправдать это требование своим личным поведением, во имя равенства всех людей - говорит идея личной безответственности. Я требую того-то и того-то, и берусь оправдать это требование своим личным поведением - говорит идея личной **годности**. Эти противоположения могут показаться отвлеченными, но мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской действительности.

Я нарочно не употребляю слова "социализм", хотя идея безответственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой популярной кличкой, в которую каждый влагает свой смысл. Дело тут в идеях не как отвлеченных построениях, а как живых силах. Если идея личной **годности** есть идея "буржуазная", то я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий - органический "буржуа", который в своем поведении так же не может отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может разучиться передвигаться на двух ногах.

Русская интеллигенция воспиталась на идее безответственного равенства. И потому она никогда не способна была понимать самого существа экономического развития общества. Ибо экономический прогресс общества основан на торжестве более производительной хозяйственной системы над менее производительной, а элементом более производительной системы является всегда человеческая личность, отмеченная более высокой степенью годности.

Так, русская интеллигенция в ее целом не понимала и до сих пор не понимает значения и смысла промышленного капитализма. Она видела в нем только "неравное распределение", "хищничество" или "хапанье" и не видела в его торжестве победы более производительной системы, не понимала его роли в процессе хозяйственного воспитания и самовоспитания общества. Подчеркивая это, я повторяю то, на чем я настаивал около 15 лет тому назад в своих "Критических заметках"². Но следует откровенно сказать: проповедь и успехи марксизма в этом пункте по существу прошли почти бесследно для русской интеллигентской мысли. Более того, самый марксизм в своем широком общественном выражении, в русской социал-демократии, оказался лишь особой перелицовкой старого народничества.

В том, о чем я говорю, я вижу один из глубоких идейных корней тех неудач, которые постигли наше общественное движение. Значение того, как думает интеллигенция, чрезвычайно велико. О том, что между народом и интеллигенцией существует идейная пропасть, в настоящее время могут говорить только черносотенцы или те черносотенцы наизнанку, которые, по-видимому, рекрутируются из бывших декадентских кругов. Замечательный исторический и социологический урок русской революции заключается именно в том, что она показала, с какой легкостью закрылась эта пресловутая "пропасть": идеи интеллигенции поразительно быстро проникли в народные массы и действительно заразили их. В силу этого ответственность интеллигенции за свое "умоначертание" чрезвычайно велика. Оно перестало быть просто интеллигентским делом.

Для того чтобы не оставалось никакого недоразумения, я должен сказать что, на мой взгляд, в основе столкновений общественно-экономических мирозерцаний лежат различные религиозные мирозерцания. В основе нашего интеллигентского экономического мирозерцания может лежать либо тот безрелигиозный механический рационализм, из которого выросла доктрина западноевропейского социализма, своего рода общественный атеизм, либо то религиозное народничество, самым ярким вы-

разителем которого является Лев Толстой и для которого идеал человека - "Иванушка-дурачок". Оба эти, резко, до враждебности различные мировоззрения сходятся в одном, что они не уважают и не любят в человеке "силы" и не различают в людях "качества", т.е. именно того, в чем суть идеи личной годности.

* *
*

Для тех, кто стоит на этой идее, имеющей, по моему глубочайшему убеждению, религиозный корень, должно быть ясно, что русская интеллигенция нуждается в коренной перестройке всего своего общественно-экономического мировоззрения. Я думаю, что такая перестройка уже совершается.

Этот идейный процесс не может не иметь огромного реального значения. Рядом с тем тупиком, в который зашла интеллигентская мысль, с тем кризисом, который она переживает - встает другой кризис, это - тот кризис, в котором находится все наше народное хозяйство. Помимо причин случайных и временных - кризис этот обуславливается в конце концов недостаточной производительностью народного труда. Если главный идейный дефект интеллигенции состоит в неуважении к идее производительности, то ясно, что этот дефект может только подчеркивать и обострять жалкое положение народного хозяйства, движущей силой которого могут быть только человек и его дух.

Выход из этого положения заключается в коренном принципиальном, идейном изменении отношения интеллигенции к производительному процессу в обществе. В особенности это верно по отношению к промышленности, которая и у нас в целом уже давно сложилась в капиталистические формы. Интеллигенция, как таковая, иногда по найму служит производству, но в общественном смысле она всегда рассматривала и рассматривает до сих пор этот процесс только под углом зрения "распределения" или "потребления". Она остается не только чуждой, но, в сущности, враждебной его творческой, активной стороне, тому, что в нем есть "производство", т.е. создание благ и приращение ценностей, питание и совершенствование хозяйства.

Она должна понять, что производительный процесс есть не "хищничество", а творчество самых основ культуры.

С другой стороны, практические, экономически ответственные деятели этого процесса, занимающие в нем "хозяйское" положение, не могут мыслить себя просто как представители групповых или

классовых интересов. Интерес имеет лишь постольку оправдание, отстаивание его есть лишь постольку культурное дело, поскольку в основе самого интереса лежит известное общественное служение, осуществление известной функции, имеющей творческое значение для общества в его целом.

В возбуждении той основной для всей общественной жизни функции, которую выполняет национальное производство, в окрылении ее широкими идеями и перспективами состоит, на мой взгляд, самая настоятельная задача современности. Без осуществлений этой задачи невозможно оздоровление национальной жизни.

К этой задаче нельзя подступиться ни с идеей безответственного равенства, ни с идеей классовой борьбы, ни с идеей опеки, осуществляемой над обществом стоящею вне этого общества властью. Ей соответствуют только идея и идеал наивысшей производительности и ее основы - наивысшей личной годности.

Развитие производительных сил страны должно быть понято и признано, как национальный идеал и национальное служение. Развитие это может осуществляться только на основе свободной дисциплины труда, немыслимой вне идеи личной годности.

При свете этих общих идей задача экономического оздоровления России, не теряя нисколько связи с реальными условиями русской жизни, не может не явиться задачей в высокой степени идеальной и идеалистической. И этот двойной характер - реальный и идеальный - она должна сохранять. Хозяйственную жизнь страны нельзя, конечно, строить на отвлеченных идеях, лишенных связи с жизнью и игнорирующих даже человеческую природу. Но, с другой стороны, окрылить общество и явиться творческой силой может только широкая, истинно-национальная и истинно-государственная задача, в осуществлении которой реальные личные и групповые интересы сливались бы в национальное служение.

1908 г.

Интеллигенция и социализм

Социалистические симпатии русской интеллигенции составляют одну из ее наиболее характерных отличительных черт. Можно быть различного мнения относительно глубины и серьезности этих симпатий; но не подлежит сомнению, что в среднем русском интеллигенте не заметно ничего похожего на враждебное отношение к социализму, которое так часто приходится встречать в представителях образованных классов Запада. Русский интеллигент, если он вообще не чужд общественных интересов, обычно более или менее сочувствует, а иногда и фанатически привержен социализму. Это настолько бросается в глаза, что почти не требует доказательств.

Причины полубессознательного тяготения нашей интеллигенции к социализму коренятся очень глубоко в условиях нашего общественного развития. У нас много спорили и спорят об особенностях исторического развития России сравнительно с Западом. Но среди этих особенностей есть, однако, одна, которой нельзя не заметить. Бюхер схематизировал хозяйственную историю Запада как последовательную смену трех ступеней хозяйства - замкнутого хозяйства, городского и народного. Под городским хозяйством он понимал хозяйство средневекового города, с типичной для него цеховой организацией мелкого промышленного производства - ремесла. Средневековый город, цеховое ремесло были почвой, из которой выросла вся цивилизация Запада, весь этот в высшей степени своеобразный общественный уклад, который поднял человечество на небывалую культурную высоту. Город создал новый общественный класс, которому суждено было занять первенствующее место в общественной жизни Запада - буржуазию. Достигнув экономического преобладания, буржуазия стала и политически господствующей силой и вместе посетительницей культуры и знания.

Все это достаточно известно. Не менее известно и то, что историческое развитие России шло совершенно иным путем. Россия не проходила стадии городского хозяйства, не знала цеховой организации промышленности - и в этом заключается самое принципиальное, самое глубокое отличие ее от Запада, отличие, из которого проистекли, как естественное последствие, все остальные. Не зная городского хозяйственного строя, Россия не знала и той своеобразной промышленной культуры, которая явилась отправной точкой дальнейшей хозяйственной истории Запада; благодаря этому в России не могла получить значительного развития и та общественная группа, которая на Западе явилась главным фактором хозяйственного прогресса - буржуазия.

Конечно, у нас был свой старинный капиталистический класс в виде торговцев. Но это было нечто совершенно особое и отнюдь не похожее на промышленную буржуазию Запада. Наш торговый капитал уже по самой своей природе не мог создать повой социально-

экономической организации, подобной средневековому цеху, и вообще не принес с собой никакой новой культуры. И потому несмотря на прочное место, которое в строе нашего общественного хозяйства занял торговый капитал, у нас не было капиталистической культуры и не было буржуазии в западноевропейском смысле слова.

Особое значение имело отсутствие у нас мелкой буржуазии. В западноевропейском хозяйственном укладе именно мелкая буржуазия в течение целого ряда веков играла руководящую роль. Мелкие промышленники и торговцы составляли главную массу городского населения. Именно из их среды и выходили по преимуществу люди либеральных профессий и вообще представители умственного труда. Мелкая буржуазия играла промежуточную роль между высшими классами и пародными массами и соединяла все слои населения в одно целое национальной культуры. Крупная буржуазия приобретает существенное значение в хозяйственном строе Запада только с возникновением фабричного производства и до настоящего времени не может вполне оттеснить на задний план мелкую буржуазию. Именно мелкая буржуазия, ее культурный идеал, ее исторически сложившиеся духовные черты, вкусы и привычки по преимуществу определяют собой духовную физиономию образованного человека Запада и в наше время.

Но если у нас не было буржуазии вообще, то в особенности не было мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия была всецело созданием городского цехового строя, которого Россия, даже в каких-либо зачатках, совершенно не знала. Крупный торговый капитал у нас имелся налицо - но не было ничего похожего на мелкокапиталистическую промышленную культуру Запада. И потому культурный тип русского образованного человека должен был приобрести существенно иные черты, чем культурный тип образованного человека Запада.

"Пора прийти к покойному и смиренному сознанию, - писал 60 лет тому назад Герцен, - что мещанство - окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие. С одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой - неимущие мещане, которые хотя и вырвать их достояние, но не имеют силы на это"¹.

Строки эти в высшей степени характерны. Присмотревшись к духовному облику западноевропейца, типичный русский интеллигент Герцен нашел, что всем классам западноевропейского общества, несмотря на огромные различия между ними, обще то, что можно назвать "мещанством" - иначе говоря, психические черты мелкого буржуа. Как известно, каждому наблюдателю всего более бросаются в глаза в наблюдаемой им новой среде именно те ее особенности, которыми наиболее она отличается от особенностей привычной среды данного наблюдателя. И если русскому интеллигенту западноевропейское общество кажется прежде всего "мещанским", то это доказывает, что его собственная среда этими признаками не обладает.

И действительно, общественная среда, создавшая русского интеллигента, не имела ничего общего с мелкой буржуазией Запада. Одним из первых русских интеллигентов был Петр, сознавший необходимость усвоения западноевропейского просвещения. Чтобы быть могущественным, государство должно иметь в своем распоряжении образованных людей. Допетровская Русь таковыми не располагала. Отсюда возникает чрезвычайно важная задача для государственной власти - создать кадры образованных людей, которые могли бы нести государеву службу. Служба эта была естественной повинностью служилого сословия - дворянства. И вот дворянство, под непосредственным давлением правительства, мало-помалу начинает усваивать науку Запада.

Наша интеллигенция первой половины XIX века еще всецело дворянская и чиновничья интеллигенция. Образованные классы русского общества в это время почти совпадают с офицерством и чиновничеством, которыми держалось русское государство. Плата за обучение в средних и высших учебных заведениях была очень невелика; в то же время всякий получивший образование легко приобретал доступ к сравнительно хорошо оплачиваемой государственной службе и, достигая посредством чинов дворянства, приобщался к господствующему сословию.

При таком положении дела масса образованного общества должна была сливаться с чиновничеством, и только среди богатого дворянства могли встречаться образованные люди, не несшие государственной службы.

Эта дворянская и чиновничья интеллигенция, жившая или службой государству, или получавшая доходы от труда своих крепостных, не могла не сложиться в совершенно иной культурный тип, чем образованные люди Запада, вышедшие из буржуазных классов и тесно связанные с ними всеми своими интересами. С декабристов начинается сознательная борьба русского общества с русским самодержавием и все растущее оппозиционно-революционное движение. Его средой было вначале преимущественно богатое дворянство, в котором сосредоточивался к этому времени цвет нашей интеллигенции. Движение декабристов было не совсем чуждо классовой дворянской окраски, но основные мотивы его не имел и ничего общего с классовыми интересами дворянства. В лице Пестеля оно выставило требование не только политического преобразования русского государства и отмены крепостного права, но и широкой аграрной реформы на началах права каждого на землю. Трудно сказать, являлась ли земельная реформа Пестеля продуктом его собственного творчества или была заимствована им у современных ему французских и английских социалистов. Во всяком случае, в лице самого выдающегося из декабристов мы впервые видим русского интеллигента с социальными идеалами, приближавшимися к социализму.

Несколько позже социализм уже в своем подлинном виде пус-

кает ростки на русской почве. Кружок Герцена-Огарева жадно усваивает учение французского социализма, и социализм начинает в России свою историю, ограничивая сферу своего влияния вплоть до самого новейшего времени почти исключительно интеллигенцией. Широкие народные массы не имеют ничего общего с социалистическими увлечениями небольшой кучки интеллигентов; но зато в этой немногочисленной общественной среде гонимое учение приобретает верных адептов, жертвующих всем на алтаре своей социальной веры.

Почему же социализм нашел себе благодарную почву именно среди русской интеллигенции? Русский интеллигент был и остается, как указывал еще Герцен, удивительно свободным в культурном отношении существом. На Западе существовала и существует могучая историческая национальная культура, посетительницей которой была в новейшее время по преимуществу буржуазия; образованные классы Запады еще недавно тесно примыкали по всем своим интересам к буржуазии. Напротив, русский интеллигент стоял вне влияния буржуазной культуры уже по одному тому, что таковой у нас не было. Что же касается до русской исторической культуры, выразившейся преимущественно в создании огромного деспотического государства, то вражда к этой культуре есть одна из характернейших черт интеллигента, восстававшего на русское историческое государство и в течение уже многих поколений ведущего с ним борьбу. Борьба эта, требующая огромного напряжения духовных сил, требует и энтузиазма, а таковой дается только верой в определенный социальный идеал. Что же могло явиться таким идеалом для русского интеллигента? Идеал либерализма уже давно потерял свою действительную силу и ни в ком энтузиазма не вызывал; уже давно никто не верит, что политическая и гражданская свобода, как бы широка она ни была, могла сама по себе привести к удачному разрешению социальных вопросов нашего времени и общему благополучию. Идеал мощного национального государства не мог находить ни малейшего отклика в душе интеллигента, ведущего с этим самым государством упорную борьбу. Таким образом, только для идеала социализма душа русского интеллигента была открыта.

Будучи культурно совершенно свободен, русский интеллигент, в лице своих руководящих представителей, естественно прилепился духом к тому социальному идеалу, который обещает всего более в смысле улучшения условий общественной жизни. Западноевропейцу не приходилось выбирать для себя мировоззрение и социальный идеал; он получил их в готовом виде из окружающей его социальной среды. Напротив, русский интеллигент оторван от своей исторической почвы и потому выбирал себе тот социальный идеал, который казался всего более обоснованным с рационалистической точки зрения. Таким космополитическим, сверхнациональным и сверхисторическим идеалом является социалистический идеал.

На Западе линия общественного развития направляется созна-

тельной борьбой классов за свои классовые интересы. Все классы населения принимают участие в политической жизни и стремятся подчинить своим интересам государственную власть. На почве этой борьбы возникает внутри каждого класса сильное чувство классовой солидарности, побуждающее каждого отдельного представителя класса не только за страх, но и за совесть отстаивать интересы своего класса. Каждый класс имеет своих убежденных, искренних идеологов, бескорыстно увлеченных красотой того культурного типа, выразителем которого является данный класс. И это увлечение вполне понятно, так как всякая мощная историческая культура имеет свою особую, специфическую, незаменимую прелесть и красоту, свой собственный аромат.

Вполне понятна психология потомка крестоносцев, погибавшего во Франции в эпоху террора за монархию и католическую веру. Точно так же огромные культурные заслуги буржуазии объясняют идейную преданность буржуазным идеалам среднего западноевропейца. Культурные традиции каждого класса настолько могущественны, что только исключительные личности находят силы их порвать.

Совсем иное мы видели в России. Масса общества совсем не жила политической жизнью; господствующие классы не нуждались в борьбе за свои интересы, так как эти интересы достаточно охранялись правительственной властью. Отсюда слабость классовой солидарности. А общий низкий уровень культуры препятствовал идеализации классового типа. Благодаря этому люди господствующих классов русского общества были гораздо менее связаны культурными традициями и интересами своих классов, чем на Западе.

На Западе социализм уже давно стал реальной и очень серьезной угрозой интересам господствующих классов. С социализмом ведет борьбу не только западноевропейское государство, но прежде всего само общество в лице руководящих классов. Напротив, в России, вплоть до новейшего времени, имущие классы не имели ровно никакого основания опасаться какого-либо реального ущерба своим интересам от социализма, не переходившего за пределы интеллигентской идеологии; не привыкнув к идеологической защите своих интересов, не имея классовой организации и не нуждаясь в ней, они не могли дать никакого духовного отпора идеям социализма, овладевавшим умами отдельных представителей дворянской интеллигенции. И потому мы наблюдали в России странное, с западноевропейской точки зрения, зрелище революционного социализма, распространившегося в среде интеллигенции господствующего дворянского класса. Декабристы были первыми такими революционерами из дворянства, и даже по преимуществу высшего, богатого дворянства. Но они еще были чужды в своей массе социалистических идей. Затем, со времени Герцена и Белинского, социализм становится излюбленным мировоззрением нашей оппозиционной интеллигенции, сохранявшей вплоть до 60-х годов дво-

рянско-чиновничий характер.

Однако пока классовый состав нашей интеллигенции не испытал существенного изменения, социалистическим увлечениям была доступна лишь ничтожная часть наших образованных людей. Мало-помалу состав нашей интеллигенции изменяется - в 60-е годы в нее вливается широкой волной "разночинец", вышедший из среды "народа", испытавший на себе весь гнет нужды и не обладавший никакими наследственными имениями и капиталами, становился социалистом без всякой внутренней борьбы с самим собой. И вот, начиная с 60-х годов, социализм становится в России мировоззрением широких групп интеллигенции.

Рецепция социализма интеллигентом-разночинцем произошла с большой легкостью в силу целого ряда благоприятствовавших этому условий. Разночинец вышел из "народа", не терял с ним связи, и потому "народолюбие" являлось такой же его естественной чертой, как "буржуазный дух" западноевропейца. Будучи народолюбив, разночинец в то же время, как человек книжный и не занимающийся хозяйственной деятельностью (учитель, врач, земский служащий, журналист и т.п.), был непрактичен и прямолинеен. Главное же, он был проникнут революционным духом и относился с величайшим отвращением к историческим формам русской жизни, среди которых он чувствовал себя решительным отщепенцем. Так сложился тип русского интеллигента-отщепенца, которого С.Л.Франк в "Вехах" остроумно определяет, как "воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия".

"Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов, - говорит тот же автор о русских интеллигентах, - объявляет миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды. Все одушевление этой монашеской армии направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание земного рая сытости и обеспеченности; все трансцендентное, потустороннее и подлинно религиозное, всякая вера в абсолютные ценности есть для нее прямой и ненавистный враг"².

В этом есть несомненная доля истины; конечно, русский интеллигент-социалист борется за земные, здешние, а не потусторонние блага; конечно, его религиозное воодушевление питается не трансцендентными мотивами. Напрасно только С.Л.Франк говорит о "насильственном" облагодетельствовании мира - огромное большинство человечества отнюдь не считает удовлетворение "земных, материальных нужд" ничтожной и пустой венцью, как наш идеалистический философ. Поэтому, стремясь сделать людей сытыми, социалисты-интеллигенты находятся в полном согласии с пожеланиями большинства и, значит, в насилии над ним не нуждаются.

Когда-то П.Б.Струве объявил русскую интеллигенцию в

социологическом смысле "quantite negligeable"*. Теперь авторы "Вех" видят в интеллигенции огромную и притом гибельную для России силу. "Худо ли это или хорошо, - говорит С.Н.Булгаков, - но судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции"; если интеллигенция не изменит своего духовного облика, то "в союзе с татарщиной, которой еще так много в нашей государственности и общенности, погубит Россию"³. В чем будет заключаться "гибель России" ни С.Н.Булгаков, ни другие авторы "Вех" не поясняют. Повидимому, эту гибель они усматривают в распадении русского государства, как естественном результате торжества революции, которую они признают всецело созданием интеллигенции.

Однако положение является не совсем безнадежным, и авторы "Вех" призывают интеллигенцию к покаянию и исправлению. Основная ошибка интеллигенции, как поясняется в предисловии к "Вехам", заключается в непризнании того, что "внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе - на признании безусловного примата общественных форм, - представляется внутренне-ошибочной и практически-бесплодной". Исходя из этого убеждения, авторы "Вех" рассчитывают на возможность возрождения интеллигенции к новой жизни: интеллигенции, говорит П.Б.Струве, "необходимо пересмотреть все свое мирозерцание и в том числе подвергнуть коренному пересмотру его главный устой - социалистическое отрицание личной ответственности... С вынутием этого камня - а он должен быть вынут - рухнет все здание этого мирозерцания. При этом самое положение "политики" в идейном кругозоре интеллигенции должно измениться. С одной стороны, она перестанет быть той изолированной и независимой от всей прочей духовной жизни областью, которой она была до сих пор. Ибо в основу и политики ляжет идея не внешнего устройства общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека. А с другой стороны, господство над всей прочей духовной жизнью независимой от нее политики должно кончиться"⁴.

Итак, коренная ошибка интеллигентского мирозерцания найдена, и интеллигенция должна усвоить новую, неизвестную ей истину, открытую авторами "Вех" и являющуюся "их общей платформой" - "признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами жизни". Но, Боже мой! до какой степени эта "истина" не нова, до какой степени избит этот аргумент, неизменно выдвигавшийся во все времена противниками общественных реформ. Можно было думать, что мы уже переросли старый спор на тему о том, что важнее - улучшение внешних форм общественного устройства людей или духовное развитие самого че-

* Незначительная величина (франц.). - Ред.

ловека, иначе говоря, общественные реформы или самосовершенствование человеческой личности. Ничего не может быть бесплоднее и бессодержательнее этого спора, основанного на разрывании и противопоставлении друг другу вещей, в действительности неразрывно связанных между собой и взаимно обуславливающих друг друга. В этом споре предполагается, что общественные формы и человеческая личность представляют собой две совершенно независимые друг от друга социологические категории, причем сторонники примата общественных форм утверждают, что личность создается общественными формами, сторонники противоположного взгляда - что общественные формы создаются личностью. Обе стороны одинаково правы и неправы - и личность и общественные формы обуславливают и определяют друг друга. Уровень развития личности обуславливает собой строй общежития - так, напр., совершенно невозможно представить себе каких-нибудь бушменов или австралийских дикарей живущими политической жизнью англичан - имеющими парламент, колониальную империю и пр. Но, с другой стороны, совершенно ясно и то, что общественные формы определяют собой уровень развития личности; совестно и доказывать подобные трюизмы. Неужели авторы "Вех" серьезно думают, что, напр., уровень просвещения несколько не влияет на высоту развития личности. А разве распространение просвещения в данном обществе не находится в связи с "внешними формами жизни" и т.д. По мнению П.Б.Струве, в основу политики должна лечь "идея не внешнего устройства общественной жизни, а внутреннего совершенствования человека". Итак, политика не должна прежде всего, стремиться к "внешнему устройству общественной жизни!"⁵. Но разве это будет политика, а не ее упразднение?

Впрочем, относятся ли сами авторы "Вех" серьезно к тому, что они объявляют своей "общей платформой"? По отношению к П.Б.Струве это подвержено большому сомнению. По его мнению, русской интеллигенции предстоит уничтожение, она должна "перестать существовать, как некая особая культурная категория"⁶. А это произойдет потому, что "в процессе экономического развития интеллигенция "обуржуазится", т.е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределиться по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе"⁷.

Итак, с одной стороны, "первенство духовной жизни над внешними формами жизни", с другой - "приспособление духовной физиономии к данному социальному укладу". С одной стороны, политика должна отказаться от "идеи внешнего устройства жизни", с другой же стороны, это самое "внешнее устройство жизни" должно

изменить духовный облик интеллигенции в желательном смысле! Может ли внутреннее противоречие и непоследовательность своим собственным отправным посылакам идти дальше?

Итак, П.Б.Струве не совсем забыл свои марксистские увлечения и по-прежнему возлагает свои главные надежды на "экономическое развитие России". Примат же "духовной жизни над общественными формами" играет роль некоторого инородного тела в системе воззрений нашего автора - и мы вряд ли будем к нему несправедливы, если придадим гораздо больше значения его призыву к буржуазному перерождению русской интеллигенции, чем к ее внутреннему духовному очищению. На последнее бывший редактор "Освобождения", прошедший реалистическую школу Маркса, вряд ли может возлагать такие надежды, как г.Гершензон, для которого русская интеллигенция есть только "кучка искалеченных душ", "сонмище больных, изолированных в родной стране"⁸. П.Б.Струве теперь прекрасно знает, что русская интеллигенция представляет собой огромную общественную силу, созданную условиями исторического развития России, и что изменение духовного облика интеллигента возможно лишь как результат изменения общественных форм русской жизни.

Более полувека тому назад гениальный русский интеллигент, ознакомившись со строем жизни западноевропейца, был поражен "мещанством" всего его жизненного уклада. "Мещанство" было наиболее ненавистно Герцену как выражение смерти духа при внешней сытости и довольстве. В отсутствии "мещанства" Герцен видел самую существенную отличительную черту и самое существенное преимущество русского интеллигента перед образованным человеком Запада. П.Б.Струве готов признать, что русскому интеллигенту чуждо мещанство, но в этом и видит все несчастье, возлагая надежды именно на усвоение интеллигентом мещанства. В самом деле, не должно ли развитие капитализма привести к тому, что и русский интеллигент "обуржуазится", проникнется мещанским духом и, таким образом, утратит свои черты воинствующего монаха, столь антипатичные авторам "Вех"?

И это, действительно, центральный вопрос будущности нашей интеллигенции. Если духовный облик русского интеллигента испытает глубокое внутреннее перерождение, то только в силу изменения социального уклада России, а отнюдь не под влиянием самопроизвольного внутреннего творчества человеческой личности. И многое, по-видимому, говорит в пользу прогноза Струве. Среди самой интеллигенции, в особенности, среди марксистов, убеждение в неизбежности предстоящего буржуазного перерождения интеллигенции очень распространено. При этом обыкновенно ссылаются на пример Запада. На Западе образованные классы, по обычному мнению, тесно примыкают к буржуазии и составляют ее неразлучную часть; по мере усвоения Россией западноевропейских общественных форм следует того же ожидать и относительно России.

Вопрос этот, как я сказал, имеет огромную важность для всего

нашего будущего. И мне кажется, упрощенное марксистское решение его, которое усваивает безо всякой критики и Струве, мало обоснованным.

Прежде всего, действительно ли на Западе нет ничего аналогичного нашей интеллигенции? Правда, большинство представителей образованных классов западноевропейского общества сравнительно с нашими интеллигентами кажутся пропихнутыми буржуазным духом. Вопрос, однако, заключается в том, в каком направлении изменяются духовные черты образованных классов Запада под влиянием хода исторического развития.

Как известно, слово "интеллигенция" вошло в особенно широкое употребление именно в России. П.Д.Боборыкин приписывает себе введение его в обиход нашего языка, причем для нашего словоупотребления характерно, что термин "интеллигенция" обычно употребляется у нас для обозначения не столько определенной социально-экономической, сколько социально-этической категории. Под интеллигенцией у нас обычно понимают не вообще представителей умственного труда ("мыслящий пролетариат", как определял разночинную интеллигенцию Писарев), а преимущественно людей определенного социального мировоззрения, определенного морального облика. Интеллигент - это "критически-мыслящая личность" в смысле Лаврова, человек, восставший на предрассудки и культурные традиции современного общества, ведущий с ними борьбу во имя идеала всеобщего равенства и счастья. Интеллигент - отщепенец и революционер, враг рутины и застоя, искатель новой правды. И если такое социально-этическое понимание данного термина незаметно сливается в общественном сознании с совершенно иным социально-экономическим его пониманием (интеллигенция, как группа представителей умственного труда), то это указывает, что в России "мыслящий пролетариат" или хотя бы руководящие, наиболее влиятельные его представители в большей или меньшей степени характеризуются вышеуказанными моральными чертами.

Напротив, неупотребительность или малая употребительность термина "интеллигенция" на Западе указывала на то, что обычный тип представителей умственного труда в западноевропейском обществе не выделялся особыми чертами из других общественных групп. Но в высшей степени характерно, что за последние годы положение изменилось. Во Франции все чаще и чаще говорят об "intellectuels" как своеобразной общественной группе, в Германии рассуждения об "Intelligenz" стали занимать видное место в социал-демократической литературе. В руководящем органе немецкого марксизма "Die Neue Zeit" появляется за последние 15 лет ряд статей, посвященных вопросу об интеллигенции, причем вопрос этот обсуждается и на партийных съездах.

Интеллигенция как особый класс, говорит Каутский в своей статье "Die Intelligenz und die Socialdemocratie"⁹, есть сравнительно новое явление, созданное развитием капиталистического хозяйства. Чем больше развивается капиталистическое хозяйство, тем больше

увеличивается и спрос на высший, квалифицированный умственный труд, исполняемый по найму, как и всякий другой труд. Таким образом создается особая общественная группа интеллигенции, в лице которой "формируется новое и беспрерывно увеличивается среднее сословие, рост которого при известных условиях может покрывать убыль среднего сословия от упадка мелкого производства". Этот новый класс отличается от всяких других классов "своим более широким духовным горизонтом, своей более развитой способностью к отвлеченному мышлению и отсутствию общих классовых интересов. Все это делает то, что она есть тот класс населения, который легче всего может подняться над классовой и сословной ограниченностью, чувствовать себя идеалистически чуждым интересам минуты или классового эгоизма, имея в виду и представляя одни лишь длящиеся интересы всего общества в его целом".

Значительная часть этого класса по своим условиям жизни и интересам приближается к пролетариату. Вообще же интеллигенция, в силу отсутствия своих особых классовых интересов, склонна к выдвиганию на первый план мотивов морального характера. "Интеллигенция есть масть катедер-социализма и социал-реформизма, принимающего, в зависимости от различных политических социальных моментов, самые различные формы - государственного социализма, культа рабочих союзов и кооперативного движения, национализации земли и этизирования классовой борьбы и т.д."

Те же мысли относительно этого "нового среднего сословия" - интеллигенции - Каутский повторяет и во многих других своих статьях, указывая, как на новое и характерное явление, на все усиливающееся тяготение образованных классов западноевропейского общества, даже в тех слоях его, которые не имеют ничего общего с пролетариатом, к социализму. "В среде буржуазной интеллигенции, - пишет он, напр., в брошюре "Социальная революция"¹⁰ - заметно усиливаются симпатии к пролетариату и социализму... Не имея никаких определенных классовых интересов и будучи по своей профессии всего более способны воспринимать теоретические воззрения, интеллигенты всего скорее могут склониться на сторону определенных партий под влиянием научных соображений. Для них должны сделаться ясными теоретическое банкротство буржуазной экономики и теоретическое превосходство перед нею социализма. При этом они все более и более начинают чувствовать, что другие общественные классы стремятся все более и более принижать искусство и науку".

Точно так же и другие немецкие авторы указывают на растущее тяготение образованных классов немецкого общества к социализму. "В настоящее время, - пишет, напр., Мауренбрехер, - уже гораздо больше социалистически мыслящих юристов, врачей и т.д., нежели двадцать пять - тридцать лет тому назад, а еще больше вполне сочувствующих рабочему движению, но никакими внешними проявлениями не обнаруживающих своих симпатий... Вся интеллигенция

придет к пролетариату, как только обнаружится, что на всяком ином пути обесцениваются выводы наших наук и мощные силы нашей культуры"¹¹.

И во Франции наблюдается усиленный прилив людей умственного труда в социалистическую партию, что вызывает сочувствие одних и недовольство других, так как интеллигенты вносят нечто новое в деятельность партии. Ревизионист Жорес констатирует, напр., с большим удовлетворением, что "буржуазная интеллигенция, оскорбленная обществом, основанным на грубых меркантильных интересах и разочарованная в буржуазном господстве, присоединяется к социализму". Иначе к этому относится ортодоксальный марксист Лафарг. "Французский социализм, - пишет он, - только что пережил кризис, который, что бы там ни говорили, вызван был не столько общим ростом нашей партии, сколько наплывом в ее ряды несметного числа буржуазной интеллигенции... Благодаря Жоресу питомцы нормальной школы наводнили социалистическую партию".

Итак, на Западе не только не наблюдается, что образованные классы все резче и резче отделяются от пролетариата и глубже проникаются буржуазным духом, а заметно совершенно обратное. Социалистические партии не только Германии и Франции, но и всего остального мира, в усиленной степени притягивают к себе интеллигенцию, что вызывает тревогу представителей ортодоксального марксизма (Каутский не меньше Лафарга усматривает в приливе интеллигенции известную опасность для социал-демократии). Но каковы бы ни были последствия для западноевропейского социалистического движения формирования в среде западноевропейского общества особой общественной группы - интеллигенции - и вовлечения ее в сферу социализма, самый факт такого формирования не может подлежать сомнению.

Хотя бы представление о западноевропейском социализме, как опирающемся исключительно на пролетариат слишком упрощает действительное положение дела и не соответствует фактам. На самом деле в состав социалистических партий любой западноевропейской страны входят представители различных общественных классов, а главными руководителями партии являются преимущественно интеллигенты, вышедшие из рядов средней и мелкой буржуазии. Наиболее чистый классовый характер имеет германская социал-демократия, но и относительно Германии считают, что не менее трети германского промышленного пролетариата голосует за кандидатов буржуазных партий, и не меньше полумиллиона голосов, из числа подаваемых за социал-демократических избирателей, принадлежит избирателям не рабочего класса. Во Франции, и особенно, Италии, в состав социалистических избирателей входит гораздо большая доля непролетарских голосов. Что касается до Англии, то такая видная социалистическая организация, как "Фабрианское общество", почти целиком состоит из представителей интеллигенции.

Вообще рост рабочего и социалистического движения силой естественного процесса вовлекает в ряды социализма все те слои населения, интересы которых не прямо противоположны интересам пролетариата. Что касается до группы людей умственного труда, то уже помимо высших моральных и интеллектуальных интересов, даже узкие экономические толкают значительную часть их на сближение с рабочим классом. Рост рабочего движения в его различных формах создает огромный запрос на интеллигентный труд. Взять хотя бы быстро растущую во всех странах Западной Европы рабочую прессу, расходящуюся в миллионах экземпляров. Лет сорок тому назад социалистические литераторы должны были поневоле писать в буржуазных органах - так как никаких других не было. Теперь имеются сотни и тысячи органов, посвященных интересам рабочего класса - и значит, многие тысячи писателей и журналистов, работающих в этих органах.

А рост профессионального и кооперативного движения! Какое огромное число интеллигентов требуется для исполнения разнообразных функций, создаваемых этими мощными экономическими организациями, объединяющими миллионы представителей трудящихся классов. Успехи политических партий социализма требуют своих интеллигентных работников. Точно так же и расширение муниципального хозяйства - развитие так называемого муниципального социализма - приводит к тому, что все большая доля людей умственного труда применяет свой труд на службе общественных учреждений, принципиально имеющих в виду не капиталистическую выгоду, а интересы населения. Все это достаточно объясняет наблюдающееся за последнее время на Западе тяготение людей умственного труда к трудящимся массам. Таков необходимый результат повсеместной демократизации общественной жизни, растущего влияния жизни народных масс во всех сферах.

"Мещанство" западноевропейца, поразившее Герцена, и глубоко укоренившееся в мелкобуржуазном укладе экономического и социального строя западноевропейского общества, уступает напору новых социальных отношений. С одной стороны, растет крупное капиталистическое хозяйство, пролетариализующее мелкого производителя и подрывающее прежние источники благополучия представителей либеральных профессий, вышедших из рядов средней и мелкой буржуазии, с другой - растут новые формы жизни, отрицающие капиталистический строй, ведущие с ним принципиальную борьбу. И духовный облик западноевропейца меняется.

Таким образом, и на Западе, под влиянием естественного хода развития социальных отношений, появляется "интеллигенция" в нашем русском смысле слова, напоминающая многими своими чертами нашу русскую интеллигенцию, интеллигенция, не только не примыкающая по своим интересам к буржуазному классу, но ведущая с ним борьбу. Правда, Струве находит, что "для духовного развития Запада нет в настоящее время процесса более знамена-

тельного и чреватого последствиями, чем кризис и разложение социализма"¹². Но в чем усматривает Струве это разложение, я решительно недоумеваю. Несомненно, марксизм переживает кризис - но марксизм не может быть отождествляем с социализмом, социализм существовал до Маркса и останется после того, как марксизм будет изжит и превзойден. Кризис марксизма, в моих глазах, является показателем не упадка, а дальнейшего роста социализма. Разложение социализма Струве усматривает в развитии социальной политики. Этой точки зрения я тоже не в силах понять. Социально-политические меры охраны интересов рабочего класса принимаются под влиянием давления рабочего класса; и если мы являемся в настоящее время свидетелями социально-политических мер такого огромного принципиального значения, как пенсия для престарелых в Англии, первые попытки широкой общественной организации борьбы с безработицей, 8-часовой рабочий день для горнорабочих и пр., то это является, в моих глазах, доказательством не "разложения социализма", а огромной силы и практического влияния социалистических идей. О том же свидетельствует и последний английский "социалистический" бюджет, вызвавший такое энергичное сопротивление со стороны высшей аристократии и буржуазии. Чего стоит хотя бы обложение налогом "незаслуженного прироста" ценности земли! Профессиональное и кооперативное движение продолжают развиваться и вовлекать в сферу своего влияния все новые слои населения. Точно так же растет и число социалистических избирателей, как показывает хотя бы огромный рост социал-демократических голосов за последний год в Германии. В Англии только за последние годы возникла в парламенте влиятельная рабочая партия. Все это, по-видимому, отнюдь не свидетельствует о разложении и упадке западноевропейского социализма.

Возьмемся, однако, к России. Можно ли ожидать, что русская интеллигенция, как "особая культурная категория", благодаря ее буржуазному перерождению перестанет существовать? Нельзя отрицать, что некоторые из условий, выработавших своеобразный моральный облик русского интеллигента, должны перестать действовать под влиянием изменения условий русской общественной жизни. Наибольшее значение имеет в этом отношении привлечение русского общества к участию в политической жизни страны. Необходимым следствием этого должно явиться более сознательное отношение к своим классовым интересам со стороны всех классов общества, более резкая классовая дифференцированность русского общества. Пока политика делалась в России где-то в высших сферах, помимо всякого участия общества, последнее не чувствовало потребности в сознательной защите своих классовых интересов. Поэтому господствующие классы духовно мало поддерживали правительственную политику, служившую их собственным интересам, и обнаруживали большую терпимость к идейным течениям, направленным против их интересов. Этому положению дел должен

прийти конец - господствующие классы должны собственными силами защищать свои интересы, и прежний добродушный индифферентизм должен смениться сознательным отпором с их стороны всем тем общественным элементам, которые идут вразрез с их интересами.

Спрос на идеологическую защиту интересов господствующих классов должен вызвать и соответствующее предложение - следует ожидать, что известная часть русской интеллигенции возьмет на себя эту защиту - "обуржуазится", как надеется Струве. Все это весьма возможно, даже почти несомненно, и спора возбуждать не может. Самое появление группы "Вех" является иллюстрацией этого процесса. Но вопрос заключается в размерах, глубине указанного процесса. Прекратит ли существование русская интеллигенция как группа с идеалистическими, неклассовыми интересами, или же от нее отколется некоторая часть, которая сознательно станет защищать интересы господствующих классов, а остальная масса интеллигенции сохранит свой прежний идеалистический облик?

Ход исторического развития привел на Западе к тому, что от буржуазии откололась группа представителей умственного труда и стала заметно сближаться с народными массами. Процесс этот был вызван изменившимися условиями общественной жизни, и прежде всего экономическим и духовным ростом рабочего класса и его социального влияния. Можно ли ожидать, что в России историческое развитие пойдет в обратном направлении и что в то самое время, как на Западе наблюдается освобождение людей умственного труда от подчинения буржуазии, формирование интеллигенции в нашем, русском смысле, у нас интеллигенция без остатка "обуржуазится" и перестанет существовать "как некая особая культурная категория"?

Для авторов "Вех", которые верят в "первенство духовной жизни над внешними формами жизни" и в то же время непопятным образом именно в мещанстве, буржуазности усматривают торжество "духовной жизни", буржуазное перерождение интеллигенции одновременно с ростом сознательности и активности народных масс может казаться вполне вероятным. Но для тех, кто стоит на почве исторического реализма, нечто подобное является крайне неправдоподобным. Русская интеллигенция, с ее своеобразным моральным обликом, есть результат всего нашего исторического развития после Петра, наиболее характерный продукт нашей новейшей истории. Культурные образования, слагавшиеся веками, обладают большой живучестью. Если даже новые условия общественной жизни для них неблагоприятны, они могут жить по традиции долгое время после того, как исчезли силы, их создавшие. Изменение культурных привычек, установившихся симпатий, вкусов, мировоззрения обширной общественной группы не может совершиться в несколько лет.

В данном же случае новые социальные формы жизни отнюдь не требуют уничтожения внеклассовой интеллигенции. Пусть наша общественная жизнь приближается к западноевропейской; но ведь

на Западе именно и замечается за последние годы формирование общественной группы, многими своими чертами напоминающей нашу интеллигенцию. Если экономическое и политическое обновление России в некоторых отношениях неблагоприятно внеклассовой идеологии интеллигенции, то, с другой стороны, это самое обновление создает новую почву для приложения интеллигентных сил к работе на пользу народных масс. Обновление России невозможно без поднятия народных масс. Одним из главных кадров нашей демократической интеллигенции является так называемый "третий элемент" - земские служащие; развитие общественной жизни должно создать усиленный спрос на земских работников, число которых должно значительно увеличиться. Вместе с тем в демократическом земстве будущего (а без такого демократического земства нечего и думать о водворении в нашей жизни политической свободы) интересы народных масс будут гораздо влиятельнее и сильнее, чем в сословно-дворянском земстве последних десятилетий. Почему же земские работники должны "обуржуазиться", перестать служить народным интересам?

Экономический рост России должен выразиться, между прочим, в росте кооперативного движения, что опять создаст новый спрос на интеллигентные силы. Затем рабочее движение, которое не может не приобрести широких размеров при малейшем ослаблении репрессий и задержек, сдавливающих теперь его со всех сторон, явится новым притягательным центром для разночинной интеллигенции. Словом, чем большую роль в общем строе нашей социальной жизни будут играть интересы народных масс, тем сильнее будет вовлекаться и интеллигенция в сферу этих интересов.

Правда, для всего этого необходимо, чтобы Россия усвоила основы действительной политической свободы; только в этом случае возможно демократическое земство, широкое рабочее движение и пр. Но ведь если наша жизнь по-прежнему будет оставаться в железных тисках и мы будем иметь то подобие конституционализма, которое имеем теперь, то будут действовать и прежние условия, создавшие тип интеллигента-отщепенца.

Таким образом, русскую интеллигенцию хоронить не приходится. Конечно, ее мирозерцание не есть нечто, не подлежащее изменению и развитию; новые условия жизни должны внести и новые черты в ее духовный облик. Но утверждать, что эти новые черты должны выразиться в усвоении "буржуазного духа", нет решительно никаких оснований. Переживаемый нами теперь упадок духа и всеобщий распад имеют вполне временный и преходящий характер и усматривать в них какое-либо коренное изменение духовного облика нашего интеллигента так же неосновательно, как было неосновательно в восьмидесятые годы заключать о невозможности нового общественного подъема.

О путях и задачах русской интеллигенции

I.

В 1909 г. появился сборник статей о русской интеллигенции под заглавием "Вехи". Участники этого сборника писали свои статьи, как они высказали это в предисловии к сборнику, не с высокомерным презрением к прошлому русской интеллигенции, а "с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны". Они хотели призвать русскую интеллигенцию к пересмотру тех верований, которыми она до того жила, которые привели ее к великим разочарованиям 1905 г. и которые, как предвидели они, должны были привести к еще более тягостным разочарованиям в будущем. Сами видные представители русской интеллигенции, они не ставили себе целью отворратить интеллигенцию от присущей ей задачи сознательного строительства жизни. Они не звали ее ни к отказу от работы творческого сознания, ни к отречению от веры в свое жизненное призвание. Они хотели лишь указать, что путь, по которому шло до сих пор господствующее течение русской интеллигенции, есть неправильный и гибельный путь, и что для нее возможен и необходим иной путь, к которому ее давно призывали ее величайшие представители, такие, как Чаадаев, Достоевский, Влад.Соловьев. Если вместо этого она избрала в свои руководители Бакунина и Чернышевского, Лаврова и Михайловского, это великое несчастье и самой интеллигенции, и нашей родины. Ибо это есть путь отпадения, отщепенства от положительных начал жизни. Разорвать с этой традицией, ведущей к бездне и гибели, вернуться к объективным основам истории - вот задача, которую русская интеллигенция должна себе поставить. Те два пути, которые открываются перед нею, отличаются между собою как пути жизни и смерти. Надо сделать выбор; с этим связана и судьба России. Таковы были выводы сборника "Вехи".

Что же ответила на эти вещи призывы русская интеллигенция? К сожалению, приходится засвидетельствовать, что ее ответом было единодушное осуждение того круга мыслей, который принесли "Вехи". Интеллигенции нечего пересматривать и нечего менять - таков был общий голос критики: она должна продолжать свою работу, ни от чего не отказываясь и твердо имея в виду свою цель. Все сошлись на том, что общее направление "Вех" явилось порождением реакции, последствием уныния и усталости. Но нигде, быть может, общее мнение о "Вехах" не было выражено с такой резкой отчетливостью, как в одной из статей столь тонкого критика, каким следует признать проф. Виппера. По обыкновению историка ища примеров

в прошлом, проф. Виппер находит еще в Древней Греции полное соответствие с нашим расколом в интеллигентской среде. "Два типа интеллигенции, которые отмечены современными нам судьями ее, даны уже там за 2400 лет до нашего времени: одной, которая зажигает светоч знания для всех и отдает свои силы делу необозримой массы безвестных работников жизни, и другой, которая прячет свою струйку света только для себя, только для самоусовершенствования, только для выработки внутренних сокровищ своей души. Сколько раз ни повторялась в истории культурного общества эта смена двух интеллигенций, повторялось и еще одно явление, которое мы только что пережили у себя. Интеллигенция второго типа, появившись на сцене после разгрома первой... принималась проклинать своих предшественников, осмеивать их, объявлять их дело безбожным и разрушительным". И в качестве практического заключения проф. Виппер повторял то, что в то время говорили столь многие: "наша великая страна во многом глубоко несчастлива, но одно в ней здорово, сильно и обещает выход и освобождение - это мысль и порыв ее интеллигенции"*.

Не будем говорить о том, насколько правильна сделанная здесь характеристика двух типов интеллигенции в применении к Древней Греции, и насколько образы Сократа и Платона вмещаются в рамки, данные проф. Виппером. Нас интересует здесь другое: каким образом "жгучая тревога за будущее родной страны", которая руководила сотрудниками "Вех", могла быть принята за желание "спрятать свою струйку света только для себя, только для самоусовершенствования". И как могло случиться, что после тех сильных и жестоких ударов, которые нанесены были "Вехами" самоуверенности интеллигентского сознания, проф. Виппер мог утверждать, что в нашей великой и несчастной стране сильными и здоровыми являются только мысль и порыв нашей интеллигенции.

Обдумывая эти вопросы, я должен сказать, что в данном случае мы имеем дело с очевидным недоразумением, и притом не только со стороны проф. Виппера. И участники "Вех" некоторыми своими разногласиями были повинны в том, что их стремления истолковали столь неправильно, что их, пламенных патриотов, зачислили в разряд ревнителей доктрины личного самоусовершенствования. Достаточно прочесть статью П.Б.Струве, чтобы понять, что самое горячее его стремление - найти новые пути политики, открыть более правильные и прочные приемы общественного строительства. Но, просматривая статью г.Гершензона, мы готовы допустить, что у проф. Виппера были известные данные для его заключений, что в этой статье действительно можно найти основания для того, чтобы протестовать против психологии индивидуализма, вытекающей из потревоженного в своем уединении морального или эстетического чувства. И когда тот же г.Гершензон в предисловии к "Вехам" говорил о "первенстве духовной жизни над внешними формами обще-

* Проф. P.Vipper. Две интеллигенции и другие очерки. М., 1912. С.24-25.

жития", когда он утверждал, выдавая это за общее убеждение авторов "Вех", что "внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия, и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства"¹, тут было более чем недоразумение: в этих немногих словах несомненно заключается и значительная доза того самого отщепенства, отчуждения от государства, которое П.Б.Струве осуждает в "Вехах" как основной грех русской интеллигенции. Противопоставлять духовную жизнь личности внешним формам общежития и самодовлеющим началам политического порядка - это значит с другого конца повторять ту самую ошибку, в которую впадают проповедники всемогущества политических форм. Самодовлеющих начал политического порядка в действительности не существует: их можно мыслить таковыми только в отвлечении. И те, кто о них говорит, для того ли, чтобы возвеличить их значение, или для того, чтобы противопоставить им единственно прочный базис внутренней жизни личности, оказываются одинаково неправыми, ибо они одинаково погрешают против той элементарной истины государственной науки, что общественные формы жизни составляют лишь часть духовной жизни личности, ее символ и результат.

Но в утверждениях, высказанных некоторыми из участников "Вех", были и другие недоразумения, которые невольно вызвали справедливые возражения и нарекания. В "Вехах" постоянно говорится о грехах и заблуждениях *русской* интеллигенции, и в характеристике ее путей и стремлении сотрудники сборника обнаруживают большую критическую проницательность; но они не ставят, однако, естественного и неизбежного вопроса: только ли русская интеллигенция повинна в уклонении от правильного пути? Крушение ее идеалов не есть ли частный случай общего кризиса интеллигентского сознания, которое всегда и везде при подобных условиях приходит к тем же результатам и кончает тем же крахом своих надежд и упований? По знаменательному стечению обстоятельств пять лет спустя после того, как появились русские "Вехи", во Франции вышли в свет свои французские "Вехи": я имею в виду книгу Эдуарда Бертра *"Les méfaits des intellectuels"** "с обширным предисловием Жоржа Сореля (1914 г.). Как в наших "Вехах", так и здесь авторами явились бывшие видные представители социализма, сами пережившие все увлечения интеллигентского сознания и познавшие всю его тщету и недостаточность. Требование Сореля от Декарта обратиться к Паскалю, подобно соответствующим лозунгам Струве и Булгакова, также намечает два русла в сознании французской мысли - одно, идущее от рационалистического корня, другое - от мистического. Как в русских "Вехах", так и во французских, рационалистическое течение интеллигентского сознания резко осужда-

*"Преступления интеллектуалов" (франц.). - Ред.

ется и выдвигается совершенно иное духовное направление с новыми исходными точками зрения.

Но, если подобные сдвиги и переломы интеллигентского сознания представляют собою явление общее, а не специально-русское, нельзя ли найти какое-либо более широкое определение для того направления интеллигентской мысли, которое вообще и всегда приводит ее к крушению? И нельзя ли указать более точное разграничение между различными течениями в интеллигенции? Не ответив на эти вопросы, мы рискуем придать всему нашему рассуждению публицистический характер, связать его с временными затруднениями и разочарованиями, вместо того чтобы возвести его к некоторой общей философской основе. Мы рискуем также и потерять руководящую нить для того, чтобы знать, какую именно интеллигенцию мы осуждаем, и за что мы ее осуждаем. Участники "Вех", ведущие свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Влад. Соловьева, столь же законно могут быть рассматриваемы в качестве представителей одного из течений русской интеллигенции, как их противники считаются представителями другого течения, связывающего себя общей традицией с Бакуниным и Чернышевским, Лавровым и Михайловским. Где же лежит разграничительная линия? И какой именно путь интеллигентского сознания необходимо признать неправильным и гибельным?

II.

В статье П.Б. Струве, как кажется мне, всего точнее указано то основное свойство интеллигентского сознания, которое составляет причину его крушения. Это свойство заключается в безрелигиозном отщепенстве от государства. Выразив эту мысль в привычных формулах философского словоупотребления, мы должны будем сказать, что основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия. Если высшей основой и святыней жизни является религия, т.е. связь человека с Богом, связь личного сознания с объективным и всеобщим законом добра, как с законом Божиим, то рационалистический утопизм есть отрицание этой связи, есть отпадение или отщепенство человеческого разума от разума Божественного. И в этом смысле кризис интеллигентского сознания есть не русское только, а всемирно-историческое явление. Поскольку разум человеческий, увлекаясь силою своего движения, приходит к самоуверенному сознанию, что он может перестроить жизнь по-своему и силой человеческой мысли привести ее к безусловному совершенству, он впадает в утопизм, в безрелигиозное отщепенство и самопревознесение. Движение сознания,

критикующего старые устои и вопрошающего о правде установленного и существующего, есть необходимое проявление мысли и великий залог прогресса. В истории человеческого развития оно представляет собою момент динамический, ведущий сознание к новым и высшим определениям. Значение критической мысли в этом отношении велико и бесспорно. Но когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю действительность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным. Тогда сбывается евангельское слово о соли, потерявшей свою силу: "Вы соль земли; если же соль потеряет свою силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, на поправление людям".

Когда Сократ и Платон нападали на софистов за их безбожное и разрушительное дело, они имели в виду именно это отпадение разума человеческого от его вечной и универсальной основы. Сами они были также носителями критической мысли и так же подвергали своему суду существующее и установленное. Но они совершали этот суд в сознании высшего божественного порядка, господствующего в мире, связующего "небо и землю, людей и богов". В противоположность этому просветительная деятельность софистов представляет собою классический пример утопического сознания, стремящегося построить и философию, и жизнь на началах рационалистического субъективизма. В области философии эти стремления приводят к релятивизму и скептицизму, что составляет кризис философского сознания. В области общественной жизни они ведут к отщепенству и самопревознесению, к отрыву индивидуального сознания от объективных начал истории, что влечет за собою кризис общности. Право и государство, утверждали софисты, существуют не от природы, а по человеческому установлению, и потому весь общественный порядок - дело человеческого искусства. Человек сильный может разорвать все связи общественные, может отринуть все чары и заклинания, которыми его удерживают в общем строе, и создать для себя свою собственную справедливость. Так индивидуальный разум человеческий объясняется всемогущим и самодовлеющим, и нет над ним никакой высшей силы, перед которой он мог бы преклониться. Крушение софистов есть один из самых ярких примеров кризиса такого интеллигентского самопревознесения, а борьба с софистами Сократа и Платона есть величайший образец восстания религиозно-философского сознания против интеллигентского утопизма. Неудивительно, если позитивно-рационалистическая мысль наших дней, возвеличивая просветительную деятельность софистов, стремится представить Сократа и Платона под видом реакционеров. Сошлюсь для примера на изображение школы Сократа у Белоха в его "Истории Греции". Для

тех, кто видит прогресс в создании нового, оторванного от старого, в разрушительной рационалистической критике, в попытках полного переустройства жизни, конечно, реформаторская проповедь Сократовой школы есть только реакция. Но есть и другое понимание прогресса, основанное на стремлении к сохранению связи веков и поколений. Согласно этому взгляду, прогрессивное движение должно сочетать старое с новым, благоговейное почитание святынь истории с творчеством новой жизни. И в свете этого определения прогресса Сократ и Платон являются посетителями того высшего прогрессивного сознания, которое делает из них вечных учителей человечества. Духовный опыт человечества на протяжении 2400 лет решил спор софистов с Сократовой школой в пользу этой последней. Пафос вечности, смирение перед высшими объективными связями жизни, - эти духовные устремления, составляющие жизненные корни Сократовой философии, обеспечили этой философии значение вечно-юного источника философского познания, тогда как "дерзкое самообольщение" софистического субъективизма остается лишь примером крушения рационалистической мысли, пытавшейся все объяснить и построить из себя.

III.

Но если верны те общие определения, которые мы только что установили, то, очевидно, идейные источники утопического сознания русской интеллигенции лежат за пределами русской действительности. Отыскать их не представляет труда: они восходят, несомненно, к тем социалистическим и анархическим учениям, которые в европейской мысли XIX века представляют собою самый яркий пример рационалистического утопизма и безрелигиозного отщепенства. В свою очередь, и утопические учения социализма и анархизма имеют свои прообразы в утопизме французской революционной доктрины XVIII века с ее верой во всемогущее значение учреждений, в чудесную силу человеческого разума, в близость земного рая. Отсюда можно провести длинную цепь преемственности идей к еще более старым учениям национализма и утопизма. Столь же древние корни имеет и то другое течение русской интеллигенции, которое ведет свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Влад. Соловьева. Нетрудно было бы отыскать его прообразы в древнерусской письменности, и несомненно, что в поисках за его первоисточниками мы должны будем прийти к христианской религии и греческой философии. Величайшее несчастье русского народа заключается в том, что это последнее течение русской интеллигенции, связанное глубокими корнями со всем ходом русской истории, не имело у нас руководящего значения, и что господствующим направлением интеллигентской

мысли оказалось то, которое должно было привести ее к неминуемому крушению. Несчастье заключается в том, что яд социалистических и анархических учений отравил собою не только социалистическое и народническое сознание в подлинном смысле этого слова, но что он глубоко проник во все мирозерцание русского просвещенного общества. Как часто и те, кто по своим воззрениям и по своей тактике стояли вне социалистических и народнических партий, все же находили возможным сохранять какую-то связь своих воззрений с социализмом, с народничеством, а иногда и с анархизмом. Как постоянно сказывалось стремление поддерживать союз и дружбу с так называемыми левыми течениями интеллигентской мысли. "Я ведь тоже немножко социалист", "для будущего я, конечно, признаю социализм", "в идеале я допускаю анархизм", - все эти и тому подобные ходячие обороты интеллигентской мысли с полной ясностью обнаруживают, что в нашей несоциалистической интеллигенции не было ясного представления ни об анархизме, ни о социализме. Не было представления о том, что эти учения хотят, выражаясь языком Штирнера, построить жизнь "ни на чем", что они свершают свои построения вне основ культуры, на той высоте отвлеченного рационализма, где отрицаются все органические связи жизни, где подрываются все корни истории. Социализм и анархизм в своем чистом и безусловном выражении атеистичны, космополитичны и безгосударственны, и в этом смысле они ничего не могут построить, не отрекаясь от своей сущности: их основное стремление может быть только разрушительным.

Западноевропейская либеральная мысль, выкованная долгим опытом ответственной государственной работы, нашла в себе достаточно силы и широты, чтобы преодолеть социализм, чтобы отделить нравственные предпосылки социализма от ядовитых последствий его революционного утонизма и включить эти предпосылки в свое собственное учение о государственности и свободе. В России несоциалистическая мысль не могла достигнуть этой степени зрелости; она блуждала в потемках и смутно тянулась к социализму, не подозревая, что нравственная основа социализма - уважение к человеческой личности - есть начало либеральное, а не социалистическое, и что в учениях социализма эта основа не развивается, а затемняется*.

Вместе с ядом социализма русская интеллигенция в полной мере приняла и отраву народничества. Под этой отравой я разумею свойственную народничеству веру в то, что народ всегда является готовым, зрелым и совершенным, что надо только разрушить старый государственный порядок, чтобы для народа тотчас же оказалось возможным осуществить самые коренные реформы, самую

*Свои взгляды на социализм и анархизм я подробно обосновываю в своем исследовании "Об общественном идеале".

грандиозную работу общественного созидания. Первым апостолом этой веры был Бакунин с его учением о созидательной силе разрушения. Не замечая анархических корней этой веры, русская интеллигентская мысль ставила своей основной политической задачей принципиальную борьбу с властью, разрушение существующего государственного порядка. Когда в результате этой борьбы старый строй падет, все совершится само собою. Двукратный опыт русской революции показал, что эта народническая вера была чистейшей анархической иллюзией, совершенно ложной теоретически и губительной практически.

Можно, конечно, объяснить, как и почему русская интеллигенция в старых условиях жизни была такою, как она была: можно даже стараться доказать, что она и не могла быть иною. Допуская возможность и пользу таких исторических объяснений, я не ставлю их, однако, своей задачей в данном случае. Моя цель - указать логическую связь идей. Пусть даже господствующее направление нашего просвещенного общества было объективно неизбежным несчастьем русской жизни. Но если бы это было и так, мы должны со всею искренностью и прямоотой выяснить не одни причины этого несчастья, но также и его последствия. Важно признать, что в смысле влияния на развитие русской государственности отщепенство русской интеллигенции от государства имело роковые последствия. И для русской общественной мысли несколько не менее важно выяснить эту сторону дела, столь важную для будущего, чем искать объяснений прошлого. Важно, чтобы утвердилось убеждение, что отщепенство от государства - этот духовный плод социалистических и анархических явлений - должно быть с корнем исторгнуто из сознания, и что в этом необходимый залог возрождения России.

IV.

Я говорил вначале о том, каким единодушным хором порицания были встречены "Вехи" в русском обществе. Это объясняется тем, что сотрудники "Вех" несли с собой начала, резко разрывающие с социалистическими, анархическими и народническими верованиями русской интеллигенции. Опыт осуществления этих верований в 1905 году был прерван государственным действием сверху, и те, кто питал утопические иллюзии, отошли в сторону с уверенностью, что их стремления, правильные по существу, не осуществились только вследствие внешнего насилия власти. Подавляющее большинство русского общества присоединилось к этому взгляду. Лишь немногие, и в том числе сотрудники "Вех", уже тогда предвидели, что из ядовитых семян утопизма не может взойти добрых всходов, что они несут с собою гибель и смерть. Великая смута наших дней показала, насколько правы были эти немногие и как ошибались те, кто ожидал русской революции как торжества и сча-

ства русского народа. Не только государство наше разрушилось, но и нация распалась. Революционный вихрь разметал и рассеял в стороны весь народ, рассек его на враждебные и обособленные части. Родина наша изнемогает в междоусобицных распрях. Неслыханное расстройство жизни грозит самыми ужасными, самыми губительными последствиями. Захваты и завоевания неприятеля почти не встречают противодействия, и, кажется, всякий может сделать с Россией, что хочет. Только самые черные дни нашей прошлой истории могут сравниться с тем, что мы сейчас переживаем.

В этих условиях всеобщей муки и тоски прозревают и слепые. То, что десять лет назад утверждали немногие, теперь начинают говорить все. Все чаще и чаще слышатся сомнения, тем ли путем мы шли; и нет сейчас вопроса более жгучего, как вопрос о судьбах нашей интеллигенции. Стихийный ход истории уже откинул ее в сторону. Из господствующего положение ее стало служебным, и в тяжком раздумьи стоит она перед своим будущим и перед будущим своей страны. Те, кто ранее этого не видел, все более настойчиво повторяют, что беда интеллигенции в том, что она была оторвана от народа, от его подлинного труда и от его подлинной нужды. Она жила в отвлечении, создавала искусственные теории, и самое понятие ее о народе было искусственным и отвлеченным. Погруженная в свои теоретические мечты и разногласия, она жила в своем интеллигентском скиту, и когда пришло время действовать, ответственность перед своим скитом, пред своими теориями и догматами она поставила выше своей ответственности перед государством, пред национальными задачами страны. В результате государство разрушилось, и скит не уцелел.

В этих суждениях, которые мне пришлось слышать от ярких представителей социалистической интеллигенции, мы подходим довольно близко к старой формуле П.Б.Струве об интеллигентском отщепенстве от государства. Остается сделать только один шаг, чтобы вплотную подойти к философии "Вех". Все суждения, которые приходится теперь слышать об интеллигенции, говорят о губительности ее отрыва от народа и о необходимости сближения с ним. В связи с этим охотно признают органические пороки оторванного от общей народной жизни интеллигентского сознания: принципиальное самомнение, стремление ошастливить человечество придуманными системами, излишества отвлеченной критики, бесплодность замыслов и решений, "кипенье в действии пустом"*. Естественным выходом из этих бедствий отвлеченной мысли признается сближение с народом в его труде, нуждах и жизни. Устранить замкнутость и обособленность интеллигенции, связать ее с непосредственным практическим делом - вот настоящее решение вопроса о судьбе интеллигенции. Так говорят

* Одним из самых интересных опытов разбора свойств интеллигентского сознания являются статьи проф. Виппера в *"Утре России"* под заголовком "Соль земли".

сейчас многие; но нетрудно видеть, что это решение представляется чисто формальным и потому совершенно недостаточным. Вопрос ставится здесь так, как будто бы вся задача имеет чисто механический характер; механический отрыв должен быть исцелен механическим сближением, и все заключается в том, чтобы интеллигенции и народу быть вместе, а не врозь. Между тем вопрос в том именно и состоит, каково то дело, в котором народу и интеллигенции надо быть вместе. Когда, как в наши дни, утрачивается самое понятие об общем, всех объединяющем деле, когда разрушительная стихия эгоистических стремлений разрывает на части народный организм и угашает в нем душу живую, становится очевидным, что мы имеем пред собою не внешнее механическое распаденье, а глубокий духовный кризис. Вся задача заключается в том, чтобы правильно понять и определить существо этого кризиса. Тогда и выход из него определится в действительном соответствии с глубиной переживаемой смертельной опасности.

V.

Когда после смуты начала XVII века Трубецкой и Пожарский рассылали по местам грамоты с просьбой о присылке на собор "лутчих, и разумных и постоянных людей, чтоб им во всех вас место... о государственном деле говорить было вольно и бесстрашно", они требовали этих людей в Москву "для великого Божья и земского дела". Государственное устройство родной страны представлялось им великим Божиим делом, и акт избрания государя, для которого созывался собор, они рассматривали как необходимую органическую основу государственного строительства: "а то нам даем ведати, да и сами вы то знаете, только у нас вскоре в Московском государстве государя не будет, и нам без государя нисколько быть невозможно. Да и в некоторых государствах нигде без государя государство не стоит". Вот ясное и простое выражение того взгляда, который понимает государственное дело, как дело Божье, который ищет утвердить государство на крепких основах исторического опыта. Этому взгляду совершенно чужда мысль о том, что государственное дело не имеет отношения к душевной жизни личности. Еще более чуждо ему стремление все устроить по-новому, сделать так, как "в некоторых государствах" никогда не бывало. Тут сказывается благоговейное почитание дела Божия и опыта человеческого, преклонение пред высшими органическими законами жизни, пред объективными началами истории.

С этой точки зрения, если бы применить ее к вопросам нашего времени, следовало бы сказать, что и народу, и интеллигенции надлежит быть вместе в служении некоторому общему делу, стоящему выше и народных желаний, и интеллигентских теорий. Такому служению одинаково противоречат и ломка народной жизни по от-

влеченным требованиям интеллигентских утопий, и возведение народных желаний на степень высших идеалов государственного строительства. Работа просвещенного сознания необходима, но она должна совершаться в сознании объективных и универсальных основ общественного созидания. Забота о народе обязательна и священна, но лишь при том условии, что она не создает из народа кумира, и что она связывает эту заботу с тем Божиим делом, которому одинаково должны служить и народ, и интеллигенция. Только в таком случае прогрессивная мысль интеллигенции получает свое подлинное и крепкое содержание, а народная жизнь утверждается на прочном фундаменте органического строительства. Это тот путь сочетания старого с новым и изменчивого с постоянным и вечным, о котором так хорошо говорил английский либеральный писатель Бёрк: "Сохранение старого при постоянных изменениях есть общий закон всякого постоянного тела, состоящего из преходящих частей. Этим способом целое никогда не бывает ни молодо, ни старо, ни средних лет, но движется в неизменном постоянстве чрез различные фазы падения, обновления и прогресса. Следуя этому установленному природою порядку в управлении государством, мы достигаем того, что улучшения никогда не бывают совершенно новы, а то, что сохраняется, никогда не становится совершенно устарелым. Действуя всегда как бы пред ликом святых праотцев, дух свободы, который сам по себе может вести к излишества, умеряется благоговейной важностью. Мысль о свободном происхождении внушает человеку чувство собственного достоинства, далекое от той наглой дерзости, которая почти всегда безобразит первых приобретателей всякого преимущества".

Каждый народ, образовавший из себя духовное целое, имеющий свою историю, свою культуру, свое призвание, носит в себе живую силу, которая сплавливает воедино его отдельных членов, которая из этих атомов, из этой пыли людской делает живой организм и вдыхает в него единую душу. Это - та великая сила духовного сцепления, которая образуется около святых народных; это - сила того Божьего дела, которое осуществляет в своей истории народ. Это - святости религиозные, государственные и национальные не в смысле общеобязательных догматов и единообразных форм, вне которых все, принадлежащее к данному государству и к данной нации, отбрасывается и подавляется, а в общем значении руководящих объективных начал, перед которыми преклоняется индивидуальное сознание, которые оно признает над собою господствующими. В пределах данного государства могут уживаться разные веры и могут бороться разные политические воззрения; в нем могут существовать рядом разные народности и наречия; но для того, чтобы государство представляло собою прочное духовное единство, оно должно утверждаться на общем уважении и общей любви к своему общенародному достоянию, и оно должно в глубине своей таить почитание своего дела, как дела Божия. И неверующие по-своему могут разде-

лять это почитание, этот культ своей родины, поскольку служение ей они признают делом достойным и правым и поскольку в защите этого дела они готовы идти на всякие жертвы, даже и на пожертвование жизнью своей и своих близких: это и значит именно, что они до конца вырывают из своего сердца корень эгоизма во имя высшей идеальной связи, перед которой они самозабвенно и благоговейно склоняются. Государство не может принудить всех к единообразному культу, и сыновняя привязанность к нему граждан, как к своему отечеству, как к делу своих отцов, не может выливаться в форму рабской покорности одних групп перед другими, господствующими и возвышенными. Истинный патриотизм утверждается на одинаковом подчинении всех частей народа идее государства, как дела Божьего. Он предполагает родину-мать, которая не знает различия сынов и пасынков; он предполагает отчизну-семью, в которой все люди - братья, отличающиеся между собою не искусственными признаками, а природными дарованиями и личными заслугами.

Уживаясь вместе в дружном союзе гражданского единства, отдельные народности и группы каждая по-своему могут благоговейно чтить свою родину и возносить молитвы Богу о ее богохранении; но если никакая народность не возносит этих молитв о своем государстве, если никто не верит больше в свое государство, не любит и не чтит его, такое государство существовать не может. Без этого, выражаясь словами старой грамоты, "в некоторых государствах нигде государство не стоит". И сейчас, когда революционный вихрь рассеял и разметал в стороны державу российскую, когда он отдал ее в чужие руки, только пробуждение религиозного сознания и национально-государственного чувства может возродить Россию. Старая Россия - надо ли это разъяснять? - не сумела возвести русскую государственную идею на ту высоту, которая представляет сочетание твердых национально-государственных и религиозных основ с идеями равенства и свободы. Формула старой русской государственности: "самодержавие, православие и народность" давала этим необходимым основам государственного бытия догматическое и обособляющее истолкование. Но что сделала русская интеллигенция для того, чтобы живым и неотразимым воздействием широко разлитого общественного сознания способствовать усвоению формул более всеобъемлющих? Мы можем назвать небольшой ряд имен - и между ними особенно имя Влад. Соловьева, - которым принадлежит заслуга усердной работы в этом направлении. Что касается русского общественного сознания в его господствующих течениях, то ему принадлежит печальная роль той разрушительной силы, которая в борьбе с догматизмом старых основ отвергла и вовсе конкретные и реальные основы истории, заменив их отвлеченной пустотой начал безгосударственности, безрелигиозности и интернационализма; а когда ей предоставлена была свобода действовать и властвовать, она привела Россию на

край гибели. Для русского государственного сознания наших дней, встает задача огромной жизненной важности: в непосредственном взаимодействии власти и народа осознать и утвердить необходимые основы государственного бытия. Было бы величайшим несчастьем для России, если бы та новая национальная власть, которой ждет страна, не нашла в себе достаточно творческой силы для того, чтобы вступить на новый путь государственного строительства. Но еще более тяжким и совершенно непоправимым несчастьем явилось бы то, если бы интеллигенция наша снова решила, что ей нечего пересматривать и нечего менять. Ибо только в духовном опыте просвещенной части общества вырабатываются идейные основы государственности. И если бы русское просвещенное общество снова оказалось в плену у социалистических, народнических и анархических верований и снова стало бы в положение силы, принципиально враждующей с властью, на кого бы могла тогда опереться власть в своих прогрессивных стремлениях? В таком случае мы снова оказались бы в том заколдованном кругу, из которого не могли выйти ранее: узкое понимание государственности сверху, полное отрицание государственности снизу. Задача нашего времени заключается в том, чтобы разорвать этот заколдованный круг, чтобы дружным действием и власти, и народа воскресить и поднять расслабленные силы русской земли. Но для этого великого государственного дела надо отказаться от всяких частных, групповых и партийных лозунгов. Скрепляют и живут только начала общенациональные, возвышающиеся над всеми, только силы органические, объединяющие всех общей внутренней связью; партийные же лозунги и программы только разделяют. Лишь целительная сила, исходящая из святынь народной жизни и народной культуры, может снова сплотить воедино рассыпавшиеся части русской земли. Вот то общее дело, в котором интеллигенции и народу надлежит быть вместе, и в котором самое противопоставление интеллигенции и народа должно исчезнуть или по крайней мере утратить свою остроту.

И когда в свете этого общего дела, долженствующего спаять воедино интеллигенцию и народ, мы обсуждаем тот отрыв интеллигенции от народа, который является причиной крушения интеллигентского сознания, мы приходим к заключению, что тут мы имеем дело не с простым обособлением от народа, которому легко помочь сближением и воссоединением: это - падение в бездну, спасение от которой может быть достигнуто только чрез самоотречение, только чрез подвиг духовного освобождения от иллюзий рационалистического утопизма.

VI.

Мы обозначали то направление мысли, которое составляет причину кризиса интеллигентского сознания, именем рационалисти-

ческого утопизма. Мы должны теперь дать более точное определение этого состояния сознания, чтобы показать, каким образом самые искренние и благожелательные стремления утопической мысли вместо блага приносят зло, почему они, стремясь создать новую жизнь, на самом деле лишь разрушают и мертвят, почему, обещая людям земной рай, они нередко приводят к земному аду и вместо счастья и всеобщего устройства ввергают всех в ужас и хаос анархии и запустения.

Основной закон общественной жизни зиждется на связи общественного порядка с высшими объективными основами истории. Когда мысль человеческая отрывается от этой связи и пытается построить общую жизнь на началах придуманных и отвлеченных, она переворачивает и извращает все естественные отношения. Отсюда — неизбежное расстройство и разрушение, которые она приносит с собою.

Каждая утопия обещает человечеству устранение общественных противоречий, гармонию личности с обществом, единство жизни; и каждая утопия предполагает, что она знает такое универсальное средство, которое приведет к этому блаженному состоянию всеобщей гармонии и мира. Но именно поэтому каждая утопия представляет собою мечту о всецелом устройении, а вместе с тем и упрощении жизни. Предполагается, что можно найти одно слово, одно средство, одно начало, имеющее некоторый всемогущий и всеисцеляющий смысл, что можно, согласно с этим началом, устроить жизнь по разуму, освободить ее от противоречий, от разлада, от сложности, свести к единству, к согласию, к гармонической простоте.

История человеческая всегда шла и идет чрез возрастающие противоречия, чрез борьбу противоположных начал к высшей сложности. Достижимое для нее единство есть относительное сочетание многообразных различий и возрастающих связей, а не абсолютное примирение противоположностей. Свет разума направляет пути истории, но не устраняет ее творческой глубины, ее бесконечных возможностей, ее иррациональных основ. Вот почему каждая утопия предполагает перерыв истории, чудо социального преобразования, и в своем осуществлении приводит к насилию над историей, к злым опытам социального знахарства и колдовства.

Предположение о возможности рационального устройства и упрощения жизни скрывает за собой и другое, еще далее и глубже идущее предположение: что зло и страдание могут быть побеждены разумом человеческим в совершенной общественности, что они связаны лишь с несовершенством учреждений и с неразумием отношений. Космологическую проблему зла и страдания здесь хотят решить в терминах социологических, зло мировое победить устройением социальных отношений. Но если борьба с общественным

злом есть величайшая задача государственного строительства, то опыт всецелого и немедленного искоренения этого зла, представляя собою самообольщение человеческого ума, оказывается злом еще худшим, и приводит к бедствиям, еще более тяжким и невыносимым.

Наконец, все изложенные предпосылки и предположения рационалистического утопизма скрывают за собою и еще одно логически с ними связанное предположение: отрицание Бога и религии. Утверждать, что жизнь можно устроить по разуму человеческого, что силою разума человеческого и воли человеческой можно победить и противоречия истории, и диссонансы мира, и самобытные стремления и страсти личности, значит то же, что признать этот разум и эту волю в их высшем совершенстве абсолютными и всемогущими, приписать им божественное значение, поставить их на место Божьего разума и Божией воли. Не случайным является то обстоятельство, что величайшие представители социализма и анархизма внутренне отталкиваются от религии и вооружаются против нее. Тут сказывается неизбежная логика мысли. Утопии земного рая, признающие возможное всемогущество и господство в жизни разума человеческого, не могут одновременно с этим признавать и неисповедимые тайны Божьего Промысла. Хотеть устроиться по разуму, так чтобы разум человеческий был единственным всемогущим владыкой жизни, это значит также верить, что можно устроиться без Бога, без религии.

Вот что означает тот отрыв, в который впадает интеллигентское сознание, вступающее на путь рационалистического утопизма. Это - гордое самообольщение ума человеческого, возмечтавшего о своем всемогуществе и отпавшего от органических сил и начал мирового процесса. И единственным плодом этого самообольщения являются безвыходные противоречия и неизбежное крушение. Весь устремленный в будущее, утопизм старается разорвать все связи с прошлым; призывающий человека искать своего благополучия здесь, на земле, утопизм отрывает его от всего трансцендентного и потустороннего. Но такая всеобщая критика, разрушающая историю и религию, расшатывающая все земное и небесное, в результате создает вокруг человека пустоту разрушения, хаос неустроенности, в которых не видно, как найти выход к желанному свету. И в конце концов этим разрушителям и громовержцам нередко приходится постулировать закономерность истории, необходимость постепенного приготовления будущего, высшие законы жизни, т.е. возвращаться к тем предпосылкам объективного идеализма, которые принципиально отвергаются рационалистическим утопизмом. Здесь утопизм находит свой предел и свое опровержение. Жизнь возвращает утопическое сознание на историческую почву, ставит его на место, подчиняет его своему ходу, своей закономерности. В этом состоит крушение утопий, характеризующее собою кризис ин-

теллигентского сознания*.

Но для того чтобы этот кризис, эта тяжкая болезнь духа нашла свое действительное исцеление, очевидно, недостаточно, чтобы утопическая мысль только формально признала наличие высших законов истории: пока эти законы открывают простор для самопревознесения субъективного сознания, для самообольщений утопизма, признание их остается чисто внешним и словесным. Недостаточно также и того, чтобы интеллигенция принялась за практическое дело и сблизилась с народом. Если она войдет в практическую жизнь со всеми грехами и недугами утопического сознания, если деятельность ее будет руководиться разрушительными идеями интеллигентского отщепенства, из этого ничего не получится, кроме дальнейшего расстройства жизни. Все мы, сыны единой России, согласно призыву старых вождей русского народа, должны стать на путь служения "великому Божьему и земскому делу". Только любовь к своему общенародному достоянию, к своей культуре, к своему государству исцелит и всех нас, и Россию от безмерно-тяжких испытаний.

1918 г.

* Более подробное развитие этих начал я даю в моем сочинении "Об общественном идеале".

О кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии

(...) С тех самых пор, как интеллигенция себя помнит, а русская история ее знает, ей неизменно был присущ дуализм - двоеначалие особого рода. Сама отгороженная в жизни стеной кружковой отчужденности от всех прочих элементов ее окружающего общественного строя, она и в сознании своем, и во всей своей социально-политической работе неизменно ощущала и запечатлевала ту же самую раздвоенность. По сю сторону - она сама, интеллигенция, по другую - та часть "внешнего", "зарубежного" мира, во имя которой и ведется борьба, которой надо еще только завладеть и которая есть в то же время необходимая предпосылка ее конечной победы - народная масса.

Это - две, одна с другой не сливающиеся, но непрерывные половины единого интеллигентского мировоззрения, половины, взаимоотношение которых и меняющаяся относительная роль и определяли собою в конечном счете ту гамму настроений, тонов, направлений, через которую проходила - за десятилетия своего бытия - российская кружковая интеллигенция. И в соответствии этому дуализму, две постоянно чередующиеся ноты, два основных лейтмотива: я назвал бы эти мотивы народническим и народовольческим - в память и честь их наиболее классического выражения; народническим и народовольческим¹, смотря по тому, которая из двух половин двуединого целого заключалась в центре внимания, которая из них поставлена на очередь дня разворачивающимся ходом событий.

Теперь, когда у нас за плечами весь бесконечно длинный мартиролог интеллигентской истории, мы располагаем уже достаточными данными, чтобы установить что-то вроде закономерности этих смен; теперь мы уже вправе и можем сказать, что каждый новый период революционно-интеллигентской активности начинался с культа масс и заканчивался культом ее собственного коллективного "я".

Масса - в своей потенциальной революционности - была рычагом и одновременно той исходной точкою, от которой отправлялся каждый раз кристаллизационный процесс интеллигенции. Только тогда, когда сознание интеллигенции фиксировалось на массе и масса становилась героиней интеллигенции, интеллигенция находила себя самое, и рассеянные, атомизированные части интеллигентского отщепенства стягивались друг к другу, мертвенный до того скелет облекался плотью, и дух революционного протеста водворялся там, где прежде царила лишь тягота жизни. Идея массы формировала интеллигенцию, формирующаяся интеллигенция устремлялась в народную массу.

Но хождение в массу, в народ - раз осуществленное - означало

кардинальный перелом в интеллигентском Sturm und Drang'e*. Оно значило конец его подготовительному, можно бы сказать, просветительному фазису, когда распространение и образование идей являлось еще главным моментом и типичным выражением интеллигентской группировки, и наступление того нового, когда интеллигенции надлежало уже прежде всего реализовать свои идеологические ресурсы в огне повседневных столкновений и на этом оселке проверять свою общественную сущность.

Две силы, два склада, качественно и количественно различных, вступили в соприкосновение друг с другом, если не на практике повседневной борьбы, в тесном смысле этого слова, то во всяком случае на практике взаимного политического общения. Разумеется, странное это было общение - в условиях полицейского государства, в рамках подполья. Слишком кратковременное и дробное - по общему правилу, чтобы снести перегородки кружковой отчужденности и дать возможность интеллигентскому слою действительно "расплываться, утонуть" в массе народной, став ее органической и лишь более сознательной частью; но в то же время и достаточное, чтобы в корне подорвать первоначальный, оптимистически абстрактный идеализм кружка и заложить основание перерождению его идеологии.

Перерождению по двум направлениям: с одной стороны, в сторону приноровления идеологии к наличному сознанию массы, приноровления вульгарного, при котором связь между отдельными действиями и основным исходным регулятором все больше порывалась и идейное объединяющее целое все больше утрачивало реальность, становясь "рассыпанной храминой", и с другой - в сторону гипертрофии служебных элементов движения и фетишизирования отдельных ли приемов борьбы (напр., террора) или партийно-группового аппарата вообще (напр., вавилонской башни нашего организационного строительства).

Эти две, на первый взгляд диаметрально противоположные эволюции, одна - чреватая оппортунизмом в форме умеренной постепенности, другая - блистающая всеми красками революционизма, обязаны, однако, своим происхождением одному и тому же источнику, той отличительной черте кружковой интеллигенции, к которой мы уже раньше подходили, отмечая, что для политической инициативы этого общественного слоя, для его групповой концентрации требовалось всякий раз одно предварительное условие: чтобы в его коллективное сознание проникла - под давлением тех или других исторических причин - идея освободительницы массы. Другими словами: индивидуально-пассивное отщепенство разрозненных представителей этого слоя становилось коллективным и действенным не в результате самостоятельного самоопределения этого слоя, не как конечное звено в процессе борьбы и отстаивания им своей общественной личности, а как своего рода

* Штурм и натиск (нем.). - Ред.

рефлекс-рикошет изменений, протекавших за пределами его демаркационной линии, в среде и во взаимных отношениях прочих элементов общественности.

Вот с этой-то чертой отраженности интеллигентского слоя, давно известной и отмеченной под видом его импрессионистской неустойчивости, и стоит в непосредственной связи основное и отличительное свойство его отщепенства, имеющее для нас центральное значение. Я говорю о неспособности этого отщепенства служить достаточно прочной основой для социализма интеллигенции; об отсутствии в нем тех "имманентных" внутренних сил, которые в процессе своего дальнейшего развития также порождали бы соответственные, отвергающие современный порядок вещей построения, как классовая борьба пролетариата неизменно создавала и создает "коммунистические" учения. Если пролетарское отщепенство (т.е. пролетарское отрицание основ современности) слито с основной антиномией современного общества, - с борьбой труда с капиталом, то отщепенство революционной интеллигенции - при всей своей видимой универсальности - живет и питается преимущественно за счет процесса раскрепощения России; здесь, в этой области, у него есть свой постоянный механизм воспроизводства расходуемого настроения, здесь у него есть и та плоскость повседневного касания, которой у него нет в так называемом социальном вопросе.

Вторичным, производным характером своего социализма отщепенская разновидность интеллигенции - эта заведомая категория дореволюционного общества, - как это ни покажется странным, напоминает ту современную мелкую буржуазию Запада, которая при иных, конечно, общественно-исторических предпосылках, в эпоху надвигающегося крушения капитализма, капитулирует en masse перед социалистическим движением. Ведь и эта мелкая буржуазия, чтобы сделаться социалистической, должна - как обыкновенно говорят - стать на точку зрения революционного пролетариата. Однако этим в существе и ограничивается данное сходство; пролетаризируясь и становясь отраженно-социалистической, западноевропейская мелкая буржуазия получала возможность и была вынуждаема прислоняться к развитому пролетарскому движению с более или менее оформленной идеологией; русская же интеллигенция, наоборот, стояла до сих пор, десятилетия напролет, перед "чаемым и ожидаемым, как бы настоящим"; в семидесятых годах - перед фантомом грядущей крестьянской революции, перед той фатаморганой, которая слагалась в ее голове под впечатлением "освободительной" эпохи и сопровождавшей ее ломки общественных отношений; четверть же века спустя, в наше время, перед богатым задатками движением рабочего класса, полным сил и красоты, и, однако, бессильным - в обстановке подполья - организовать настолько, чтобы, организуясь, накладывать необходимую печать на те образования интеллигенции, которые формировались во имя и от имени его, но, раз сформировавшись, припикивались жить своей собственной - интеллигентски-кружковой жизнью.

Спрашивается, что же получалось из данной комбинации: отщепенства, свои главные стимулы черпавшего из механики самодержавно-полицейского строя, "производного" социализма, подпольного, а потому уродливого и слабого, контакта интеллигенции с массами и, наконец, сведенного почти на нет процесса организации массы в том даже лучшем случае, когда массовое движение вообще являло собою (как это было с движением пролетариата) самую несомненную и чрезвычайно внушительную реальность?

Получался, как неизбежный отсюда вывод, - процесс перерождения идеологии интеллигенции - выветривания ее социализма по тем двум направлениям, о которых я выше говорил. И регрессивный метаморфоз культа масс был первоначальной стадией этого процесса. Еще некоторое время масса оставалась той альфой и омегой интеллигенции, к которой сходились все практические действия ее и все ее теоретические помышления. Но "идеальная" масса все больше уступала место массе "реальной"; масса обобщенная, представляющая конечную цель и совокупность интересов движения - массе наличного момента и его ограниченной бессознательности.

Слабосильный и сознающий свое слабосилие общественный слой не был в состоянии претворять преходящее, координировать частное с общим, практицизм с принципиальностью и отдавался на волю впечатлениям дня, готовый возвести едва ли не в принцип эту свою утилитарно-рефлекторную беспринципность. Но чем дальше разворачивался процесс, тем резче обнаруживался конфликт между ним и интеллигентским отщепенством, тем быстрее созрел разрыв между тенденцией сблизиться с массой, расплыться, утонуть в этой массе, хотя бы ценой пригнетения своих взглядов до уровня массы и своей практики до уровня данного политического склада, и элементарным революционизмом интеллигенции, своим острием обращенным против этого склада. И тем успешнее шла в атмосфере назревающего разрыва, как растущая антитеза вырождающемуся "культу", эмансипация от него некоторой части из тех, кто ранее тем же культом был втянут, вдвинут в борьбу. Культ становился декорацией и в сознании интеллигенции все больше выступала в своем качестве титана-освободителя ее же собственная коллективность, - свидетельствуя о том, что и в жизни, а не только в сознании, ей - коллективности - приходилось принимать на себя роль, которая - по исходной концепции - лежала на пробуждающейся массе.

Но надо помнить, конечно, что картина, набросанная мною, есть лишь общая схема тех активных периодов в жизни русской интеллигенции, конкретное содержание которых давалось историей и варьировало в зависимости от различий общественно-исторических конъюнктур. Так, без сомнения, глубоко различны те основные два периода, в которых кульминирует, в которых наилучше воплотилась до сих пор жизнедеятельность кружковой интеллигенции: период, ведущий свое начало от 60-х годов и теряющийся в 80-х, и период последнего десятилетия, завершающий свой цикл в

настоящее время. Различные эпохи, в корне различная среда, подлежащая воздействию, и, соответственно сему, до основания несходны соответственные суммы идей, которыми в каждую из эпох манипулировала интеллигенция. Семидесятые годы были **последствием к освобождению крестьян**, имели мужика героем интеллигенции, крестьянофильский социализм - ее знаменем и проходили в обстановке **оседания** буржуазно-дворянского общества, приспособлявшегося на своих пореформенных позициях. Поэтому и была так эфемерна тогдашняя буржуазно-дворянская "оппозиция" и так расплывчато-шатко самое содержание либерализма. Но совершенно иное представляло собою марксистское десятилетие - наиболее яркая страница из предисловия к великой русской буржуазной революции. В его основании лежало взаимоотношение между интеллигенцией, оправлявшейся от лихолетья под действием пробуждения городских рабочих масс, и этими самыми массами, элементарной силой своего пробуждения открывавшими эру самого напряженного подбора и оппозиционно-революционной консолидации разнообразнейших общественных сил. И красною нитью через все десятилетие обозначался процесс революционизирования буржуазно-демократической России.

Очевидно, что в каждую из этих двух эпох наша схема должна была принимать чрезвычайно индивидуальные очертания; то, что в одном случае получало пространное развитие, в другом - было более преходяще и скомкано, и, наоборот, аналогичные социально-психологические моменты повторялись, в своем повторном сочетании создавая новизну, которая на деле была лишь подновленной стариной.

Посмотрите, в самом деле, на обилие тех форм, в которых протекал в 70-х годах регрессивный метаморфоз интеллигентского культа крестьянства, на бесконечный, пройденный им путь от первоначальных наивных попыток пересаживания "просветительной" идеологии интеллигенции в народную массу, через период бунтарства с его революционизмом, причудливо слиявшимся с тягою к приспособлению, проявлением которой, только более уродливым и ярким, была Чигиринская царская грамота², и до того рокового предела, когда революционное народничество исчезло, наконец, не в волнах сермяжного моря, как это предполагалось вначале, а в мутной воде буржуазно-демократического культуртрегерства. И сравните этот затяжной упадочный процесс, так гармонизировавший с постепенно затихавшей общей "мертвой зыбью", которая катилась от толчка 60-х годов и замирала, несмотря на перекрестное влияние кратковременного подъема, имевшего свой центр в революционной энергии интеллигентского единоробства с царизмом, сравните его с тем коротким и обрывистым процессом, в который - в 90-е годы - отлилось приспособление интеллигенции к пролетарской отсталости.

В недолгий срок каких-нибудь двух, трех лет "экономизм" исчерпал и пережил себя. Уже самый апогей его развития, когда гос-

подставала "Рабочая Мысль"³ и интеллигент занимался - в теории самоуничтожением, приходился на кануп, частью даже на самый момент начинавшегося и непрестанно затем нараставшего возбуждения широких кругов интеллигенции, как буржуазно-демократической, так и кружковой-отщепенской.

Разнороднейшие слои интеллигенции, казалось бы, герметически друг от друга обособленные, переживали, как результат воздействия на них пролетарского движения, в существе один и тот же процесс формирования интеллигентски-группового, резко выраженного самосознания. Этот-то процесс и перелом, его сопровождавший, от умеренной трезвости, как наследия эпохи реакции, к более решительным мотивам последующих лет, и покончил в самое короткое время с нашим попятным развитием. Оно оборвалось, не имея силы дойти до своего логического конца, предупредительно для него намечавшегося мудрецами пресловутого буржуазно-демократического "credo". И само "credo" сыграло, разве, роль "адвоката-дьявола", наглядного показателя того, чего отщепенской интеллигенции не полагается думать и делать.

Чистый экономизм был уже анахронизмом в то время, когда по нем производилась пальба из всех орудий социал-демократической артиллерии. Правда, некоторое время еще сохранялись ублюдочные формы, такие пережитки его, как, например, рабочедельческая "теория стадий", но это были только отзвуки прошлого, такие же слабые и робкие, какими были одновременные попытки бернштейнианской демократии повлиять на отщепенскую интеллигенцию. Недаром же философия филистерства оказалась не ко двору надвигавшейся бурной эпохе и вскоре превратилась, в обстановке того переходного времени, как я заметил когда-то, в своего рода "секретную болезнь" межеумочной интеллигенции.

Но зато тем полнее и последовательнее должна была себя проявить реакция против экономизма, тем стремительнее дать себя почувствовать - реванш интеллигентского отщепенства и интеллигентского проснувшегося самосознания. И если регрессивный метаморфоз культа масс - в социал-демократический период жизни русской интеллигенции - укороченный, куцый, носил какой-то почвенный полустихийный характер, лишенный какой-либо разработанной догмы (не считать же таковой те обрывки идей, которые всплывали на страницах "Рабочей Мысли"), таящийся в подполье подполья (вспомните "Vademecum"* и тщетные поиски Плеханова за печатным "экономическим" словом), то в полную ему противоположность социал-демократический культ интеллигентской групповой коллективности дебютировал смело, с высокомерно приподнятой головой, в аммуниции quasi-ортодоксальности, с готовым кодексом правил едва ли не на все случаи жизни. Идеологические формы его, однако, естественно и необходимо отличались в основе от тех, в которые облакался его народоувольческий предшественник.

* Путеводитель (лат.). - Ред.

Не говоря уже о том, что народофильство примыкало к циклу крестьянофильских идей (и в принципе ухитрялось сохранять предпосылки народничества), а приходившая к групповому сознанию интеллигенция 90-х годов черпала обеими руками из идейной сокровищницы международной социал-демократии. Кардинальное отличие этих двух аналогичных процессов было то, что в семидесятые годы реакция против народнического культа крестьянства вырастала в атмосфере героического отчаяния и практического отказа от пассивного, инертного народа, между тем как повейший конфликт интеллигентски-группового коллективного "я" с культом массы разыгрывался на фоне, казалось бы, ему не соответствующем, на фоне идущего непрестанно вперед пролетарского движения.

И тем не менее конфликт был не менее глубок, чем и прежде; он только труднее поддавался учету, осложненный, замаскированный, потерявший былую простоту. И он вскинул, как только интеллигенция стала делать систематические попытки перейти к общепартийному строительству. Именно конец 90-х годов и начало следующего за ними десятилетия и были этой критической эпохой. Марксистская эпопея "просветительства" подходила к концу, на очередь все более выдвигались вопросы практического действия, прежнее же обслуживание интеллигенцией профессионального рабочего движения, где каждая интеллигентская группа с грехом пополам, не мудрствуя лукаво и не задаваясь широкими целями, вершила в своем местном мурье незаметную серую работу, - ощущалось все сильнее, как разительное несоответствие, как неудовлетворение той потенциальной революционной энергии, которая накапливалась годами в недрах приходившей в брожение интеллигенции и искала себе достойного выхода.

Мог ли его дать пролетариат и чем была для интеллигенции стихия пролетарского движения? Несомненно, полем необъятных размеров для приложения сил, благодарнейшим объектом для революционного воздействия, но только отнюдь не той формирующейся массой, из которой бы непосредственно вырастало путем естественного подбора живое и организованное тело социал-демократической партии. Нельзя сказать, чтобы ощущение этого рокового противоречия совершенно отсутствовало в рядах кружковой интеллигенции. Напротив того, об это противоречие, имевшее свои подлинные корни не в одних только особенностях кружкового обихода интеллигенции, а и во всем укладе русской проклятой действительности, и споткнулся злополучный "экономизм". Из эмпирически наблюдаемого им факта, что коэффициенты распространения сознания в массах и в интеллигенции величины несоизмеримые друг с другом, что путь проникновения идей в массы совершенно другой и осуществляется при условиях радикально отличных, чем движение идей в кругах интеллигенции, он сделал ряд неверных и никчемных заключений, - но в одном он был прав: при существовавших тогда предпосылках социал-демократическая рабочая партия была невозможна.

Мне памятно до сих пор то глухое недовольство, которое возбудил в свое время первый съезд российской социал-демократии (98 г.), как скороспелая попытка интеллигенции создать маргариновую партию. Но это же антипартийное настроение экононизма было и ускорением его гибели в условиях момента, потому что растущее самосознание интеллигенции отливалось как раз в эту форму партийности, и директива, продиктованная положением интеллигенции, гласила: не выделение интеллигенции в изолированные от масс террористические группы, как это делали когда-то народо-вольцы, а создание всероссийского группового аппарата для руководства массой. Групповое интеллигентское "я" на пьедестале из пролетарского движения!

Так родился тот культ профессионального революционера, который был краеугольным камнем всего последующего строительства интеллигенции и который имел свое евангелие в брошюре "Что делать" и своего пророка, - в Н. Ленине.

Даже и теперь, в великие дни всероссийской революции, а тем более так было в 90-е годы, мысли профессионального революционера, мы невольно себе чертим обаятельные образы Перовской, Желябова, Александра Михайлова и иных из того же орлиного гнезда семидесятников; их энергия вызывала удивление даже у врагов, их самоотверженное искусство борьбы до сих пор зовет на подражание. И понятно, что кружковая интеллигенция последнего десятилетия, выходя из тупика экононизма и ощутив в груди своей прилив революционного чувства, представляла себе свою собственную среду преображенной в идеале сообразно величавым образцам предыдущего активного периода интеллигентской истории. Поэтому, когда она строила для намечавшегося тогда "возрождения революционизма" свою "формулу прогресса", она рисовала не кого-либо другого, как именно - человека семидесятых годов, но расквитавшегося с прежней трухой крестьянофильства, и организацию профессиональных революционеров на старый манер, но только - опирающуюся на наступательный ход пролетарского движения и, вместо приготовления бомб, ведущую политическую агитацию. И когда она обращалась к неудавшемуся, но героическому прошлому, то это ее обращение было не простой формальностью обычного почтения младшего поколения борцов к сошедшему со сцены; нет, оно было полно самого современного, самого актуального значения, являясь одной из тех форм, в которых нашла себе соответственное выражение необходимая ей, по условиям момента, ее собственная кружковая идеализация.

"Та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов" - землевольческая - "нам всем должна бы была служить образцом", - писал Ленин в "Что делать" (стр.135). Но и в боевой революционной организации народо-вольцев "пелепо" было бы видеть что-либо "специфически народо-вольческое", ибо "всякое революционное направление... не может обойтись без такой организации"... "Не в том состояла ошибка народо-вольцев, что они постара-

лись привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. Ошибка... их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества".

И в другом месте (стр.106): "Кружку "кустарей", конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не осознали своего кустарничества и не избавились от него... Но кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно-пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса".

"Именно теперь русский революционер, руководимый истинно революционной теорией, опираясь на истинно революционный и стихийно пробуждающийся класс, может, наконец... выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы" (стр.107).

И в заключение: "Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, - и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров - и мы перевернем Россию!" (стр.127).

Несомненно, в те первые годы, когда кружковая интеллигенция начинала свою мобилизацию, осененная новой, марксистской верой, эти признания встретили бы одно сплошное недоумение, если бы они вообще были возможны; сделанные же в начале 1900-х годов, они фигурировали уже не в качестве случайной отсебятины, а как знаменательный симптом перемен, за истекшее время происшедших в сознании кружковой интеллигенции. В половине 90-х годов взоры интеллигенции безраздельно приковывал к себе пролетариат и, соответственно сему, интеллигенция, сражаясь за марксизм, искала ответов в западноевропейском рабочем движении. Не то было теперь. Разумеется, пролетариат оставался величиной огромной и многозначительной, которая принималась в расчет и без учета которой невозможно было решить ни одного политического уравнения. Но он представлялся в то же время и той "постоянной" и, пожалуй, застывшей цифрой (пролетарская стихия!), от которой немало не зависит - раз она уже дана и неизменна - конечное решение уравнения, это производное от деликатной и капризной "переменной", которая, постоянно меняясь, сама подлежит воздействию и называется организацией профессиональных революционеров. И соответственно этому перемещению психологического центра особый интерес приобретала история

революционного движения интеллигенции, а учение Маркса подлежало новой "обработке", более серьезно и уже во всяком случае более сознательно производимой, чем та, которая возможна была в предшествующий, по преимуществу просветительный период русского кружкового марксизма.

В лице своего кровного детища - революционера по профессии - кружковая интеллигенция стала в своих собственных глазах решающей инстанцией, - в этом заключался весь смысл перемен, об этом ведут отчетливую речь уже приведенные цитаты, об этом еще лучше говорит вообще все отношение кружковой интеллигенции к тогдашнему кризису социал-демократии.

В самом деле, корень бед ведь в том, что кружковая интеллигенция не выдвинула пока что "корифеев", подобных "Алексееву и Мышкину, Халтурину и Желязову", - *"в отсталости руководителей* (*"идеологов"*, революционеров, социал-демократов) *от стихийного подъема масс"* (стр.105), - "весь кризис русской социал-демократии объясняется тем, что у стихийно пробужденных масс не оказывается налицо достаточно подготовленных, развитых и опытных руководителей" (стр.122) - повторяется на всем бесконечном протяжении ленинского *credo* интеллигенции. И тут же соответственный рецепт: чтобы "революционер мог выпрямиться во весь рост и развернуть все свои богатырские силы" (см. выше), "нужно только, чтобы среди массы практиков, среди еще большей массы людей, мечтающих о практической работе уже со школьной скамьи, всякое поползновение принизить наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение" (стр.107).

"Вы хвастаетесь своей практичностью, - обращался Ленин к экономистам, - а не видите того, знакомого всякому русскому практику факта, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности" (стр.107).

И от первой и до последней страницы "Что делать" (отдадим должное цельности сего произведения) свистят "скорпионы", которыми его автор награждал своих "хвостистов" - противников. Но чем сильнее он их бичевал, и его руками как бы сама задушала себя кружковая интеллигенция, тем шире, о чудо! разворачивались ее горизонты и окрылялись надежды. Если остановка действительно только за этим, если людям кружков остается только пустить в оборот весь запас своей энергии, увеличивая размах свой и пытаясь расширить свои политические задачи, если "царство" революции "внутри вас", интеллигенция, - то, естественно, охваченной революционизмом среде кружковщины предстоявший ей путь сквозь все тернии полицейского гнета должен был представляться ведущим непосредственно к цели, в зависимости от ее революционного уменья (уменьше же вещь паживная*) и независимо от тех внутрен-

* Неподготовленность... большинства революционеров, будучи явлением вполне

них процессов, которые за то же время могут и должны протекать в среде пробуждающегося рабочего класса.

Вопрос о будущности русской социал-демократии *eo ipso*** сводился к тому, окажется ли интеллигенция способной к развитию, найдется ли в ней достаточно сил образовать ту "крепкую организацию" революционеров по профессии, которая бы "воспитывала пролетариат стойкой и упорной борьбой" (стр.104-105). Таким образом, революционер превращался в демиурга истории, а пролетариат, как масса, несмотря на все почтение, обычно ему изъясляемое, оставался в положении объекта, первосортного материала, вне рядов подлинных творцов революции.

И как будто бы для того, чтобы рассеять последние возможные сомнения, чтобы закрепить в сознании происшедший перелом во взаимоотношениях интеллигенции и массы и чтобы особенно подчеркнуть радикализм перелома, кружковая интеллигенция выступила не более, не менее как с тезисом "борьбы со стихийностью".

"Стихийное развитие рабочего движения, - говорит Ленин, - идет именно к подчинению его буржуазной идеологии... ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм..., а тред-юнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих буржуазией" (стр.40). Кто же в таком случае являлся в заманчивой роли спасителя пролетариата, "совлекающего" его со "стихийного стремления" усесться "под крылышком буржуазии"? - "Сознательность" социал-демократии, т.е., говоря конкретно и применительно к России, - кружковая интеллигенция.

Нелишне будет, кстати, отметить, что Каутский, на авторитете которого Ленин построил свою "борьбу со стихийностью", говоря о внесении сознания в движение, имел, конечно, в виду не целую общественную категорию интеллигенции и не движение ее, воплощающее ее собственную стихию, а лишь "отдельных членов" того слоя, который в условиях современного капиталистического общества один только и может явиться "носителем науки" и выходцы из которого были создателями (Энгельс и Маркс) и пионерами научно-социалистического учения. Русская же кружковая среда, с Лениным во главе, не только не поняла этого, казалось бы, очевидного различия, но, наоборот, постыдилась сконструировать себя, как живое - в профессиональном революционере - олицетворение "сознательности", у которой нет ахиллесовой пяты "стихийности", нет той "линии наименьшего сопротивления" (стр.40), неизменно приводящей к буржуазности, с которой надо постоянно "совлекать"

естественным, никаких особенных опасений возбуждать не могла," - писал Ленин (стр.33). "Раз постановка задач была правильная, раз была энергия на повторные попытки осуществить эти задачи, - временные неудачи представляли из себя только полбеды. Революционная опытность и организаторская ловкость - вещи наживные. Была бы только охота вырабатывать в себе требуемые качества! Было бы только сознание недостатков, равносильное в революционном деле больше, чем половине исправления!"

** Тем самым (лат.). - Ред.

злополучное движение пролетариата.

В результате, таким образом, получался своеобразный итог: русская интеллигенция, точнее - ее кружковая разновидность, обыкновенно составлявшая одно лишь пустое место в концепции отечественного марксизма, оказывалась вдруг представительницей борьбы с пролетарской стихийностью. И с этой представительницы не требовалось предъявлений каких-либо доказательств пригодности ее социально-группового содержания; достаточно было простого указания на ее субъективную преданность догме, во-первых, и на ее готовность стать профессионально-революционной, во-вторых, чтобы - выражаясь языком Ленина - "отдать" в ее распоряжение могучие силы миллионов и миллионов стихийно поднимающегося на борьбу рабочего класса.

Это была поистине грандиозно-утопическая претензия!

Но именно ею объясняется, что на вопрос - "с чего начать?" кружковая интеллигенция, ничтоже сумняшеся, отвечала: начать "с прочной постановки крепкой организации революционеров", ибо только при помощи ее "мы сможем обеспечить устойчивость движения в его целом, осуществить и социал-демократические и собственно тред-юнионистские цели" (стр.120).

"Общерусская централизованная организация, объединяющая в один общий натиск все и всяческие проявления политической оппозиции, протесты и возмущения, организация, состоящая из революционеров по профессии и руководимая настоящими политическими вождями всего народа" (стр.99).

Тут невольно, однако, подымается вопрос: каким образом могла кружковая интеллигенция - хотя бы на одно мгновение - совместить в своей голове профессионально-революционный коллектив с своими как - никак марксистскими традициями? одним духом: "идея рабочего сословия" и апофеоз интеллигенции!

Правда, революционер по профессии не состоял - в теории - обязательно приписанным к цеху кружковой интеллигенции: "перед общим признаком членов такой организации", т.е. специализацией их на революционной работе, *"должно совершенно стираться всякое различие рабочих и интеллигентов"* (стр.112), неоднократно подчеркивал Ленин. Но так только мечталось, иначе обстояло дело в действительности, и это знала лучше всех сама кружковая интеллигенция: профессиональных революционеров было мало вообще, профессиональных революционеров из рабочих в то время (в начале 1900-х годов) все равно что и совсем не имелось, так что интеллигенция, даже и поставив себе своей главной задачей *"поднимать рабочих до революционеров"* (стр.131), могла, пожалуй, утешать себя иллюзией, что эти "профессиональные революционеры будут выделяться толпой все в большем числе" (стр.125, см. также стр.110, 111), но не могла игнорировать своего же собственного и весьма существенного соображения, что "необходимо годами вырабатывать из себя профессионального революционера" (стр.125) и, значит, что сейчас проектированному

профессионально-революционному коллективу пришлось бы во всяком случае начинать свою историческую миссию с теми небольшими силами и средствами, которые в состоянии была отдать в его распоряжение лишь одна среда кружковой интеллигенции.

Как же разрешалось это, казалось бы, кричащее противоречие? Оно разрешалось при посредстве того специфического мышления, которое одно только процветает в атмосфере подполья, в тесных рамках кружка; при посредстве того рационализма, который - как мы видели - исподволь пропитывал собой русский легальный марксизм, точно так же, как легальный марксизм пропитывал собой кружковую интеллигенцию. И именно рационализм дал части кружковой интеллигенции, ближе всего стоявшей к движению городских рабочих масс и связанной с ним хотя и несовершенными, но все же некоторыми связями, возможность удержаться в пределах действия марксистской идеологии в то время, когда под влиянием начавшегося процесса самоопределения интеллигенции и "возрождения" ее "революционизма" происходило уже повальное бегство ее от учения революционного пролетариата.

"Общерусская централизованная организация" профессиональных революционеров! Но где гарантия того, что сей продукт консолидации кружковой интеллигенции в своих действиях и намерениях будет совпадать с пролетарским движением в его целом, что он окажется способным взять на себя роль, которую выполняют на Западе передовые пролетарские отряды, носящие название социал-демократических рабочих партий? С точки зрения марксистской вопрос представлял своего рода квадратуру круга - при данном направлении движения, но он ренался крайне просто рационалистическими приемами кружковой интеллигенции.

Правильная теория - вот камень, на котором интеллигенция может спокойно возводить свои организационные постройки. Вспомним, напр., что ошибка народовольцев - по Ленину - была в том, что они следовали ложной теории и что в настоящее время русский революционер может "развернуть свои богатырские силы" потому, что опирается "на стихийно пробуждающийся" и "истинно революционный класс" (см. выше) и что он "руководим истинно революционной теорией". Но в устах кружковщины того времени опираться на пролетариат означало не что иное, как иметь в нем превосходный инструмент, на котором можно разыграть свою героическую симфонию. Инструмент и только, потому что стихия пролетарского движения, т.е. самый механизм пролетарской классовой борьбы, ведет рабочий класс к одному лишь подчинению буржуазности*. Таким образом, в качестве единственно надежного

* См. также стр.135: "И только самое грубое непонимание марксизма... могло породить мнение, что возникновение массового "стихийного" рабочего движения извбавляет нас от обязанности создать такую же хорошую, какая была у народовольцев, создать еще несравненно лучшую организацию революционеров. Напротив, это движение именно возлагает на нас эту обязанность, ибо стихийная борьба пролетариата и не делается настоящей классовой борьбой его до тех пор, пока эта

первого и последнего устоя революционно-интеллигентского зодчества остается - теория, единоспасающая и всенаправляющая, в своей крепкой руке держащая бразды профессионально-революционного правления и силою своей логической правоты цементирующая самые разнородные, самые разноставные элементы.

"При такой (т.е. централизованной и в то же время с идущим далеко разделением труда. - А.П.) организации, стоящей на твердом теоретическом базисе и располагающей социал-демократическим органом, нечего будет бояться того, - говорится в "Что делать?" (стр.130), - что движение событ с пути многочисленные, привлеченные к нему "сторонние" элементы".

Оказывается, "твердый теоретический базис", находящий свое выражение в "оргane", обладает чудодейственными свойствами - не только предохранять организацию профессиональных революционеров от ошибочного курса их практики, но и превращать организацию в надклассовую, способную соединенными усилиями теоретического разума и практического искусства нейтрализовать обычное действие законов классовой психологии.

"Общество выделяет крайне много лиц, годных для "дела", но мы не умеем утилизировать всех их" (стр.128). Их сумеет, однако, утилизировать коллективный кружковый интеллигент, сложившийся в профессионально-революционную организацию, читающий свою собственную партийную газету и идущий "во все классы населения". "И вряд ли хоть один практик усомнится в том, - продолжает уверять нас Ленин (стр.129), - что социал-демократы могли бы распределить тысячи дробных функций своей организационной работы между отдельными представителями самых различных классов". Т.е., иначе говоря, правильное понимание исторического хода развития сделало бы из революционера по профессии сверхчеловека, а из его организации интеллигентской и на самом узком базисе построенной - силу, своим влиянием на классы превосходящую многим ту степень давления на прочие группы населения, которую оказывает организованная пролетарская масса западноевропейских социалистических партий.

Так, сохраняя свою материалистическую внешность, кружковая интеллигенция приходила к чисто идеалистическим выводам; наперекор воспринятому, идея отрывалась от среды и, оторвавшись, продолжала в головах интеллигенции самодовлеющее, фантастическое существование, подобно тому, как и сама интеллигенция, оторванная от ее окружающего мира, живет, точно под стеклянным колпаком, в тепличной обстановке кружковых отношений. Однако не одно это разобщение идеи со средой, типичное вообще для кружковой интеллигенции, имело в данном случае значение. Надо

прежде всего помнить, что интеллигенция, стоявшая на рубеже двух десятилетий, интеллигенция самого начала 1900-х годов, революционизируясь и бессознательно для себя вырабатывая культ своей групповой коллективности, в то же время едва только выходила из того марксистского "просветительного" периода, который только что пронесся на глазах ее блестящей полосой. Было нечто, действительно неотразимо обаятельное в этом победном шествии марксизма. Идея марксизма, казалось, не знала препятствий, она считала с пути своего все и подчиняла влиянию даже самые неподобные элементы. Можно было, разумеется, говорить о поверхностном действии этого влияния, о том, что различные общественные слои различное вносили в марксистское "поветрие", но не легко было тогда отказаться от мысли, что раз марксистские идеи могли так недавно еще господствовать, хотя и преломленные, в среде русской общественности, то осуществима и заманчивая перспектива превратить эту идейную гегемонию в политическую, предоставив профессиональному революционеру в этой новой - политической - сфере играть ту же роль, которую только что Марксово учение играло в сфере идейной.

И ключом к разрешению партийной проблемы так соблазнительно легко представлялась постановка литературного органа, как центра организационного строительства, с одной стороны, всекласовой агитации - с другой.

Но если уже в оценке предстоявших революционному коллективу задач кружковая интеллигенция была рационалистична, то тем более наглядно должен был проявиться ее оптимистический, на просветительный манер, рационализм в вопросе об основной единице - ячейке революционного коллектива, - профессиональном революционере *in concreto*. Здесь ведь невозможно было даже укрыться за мистическую силу сочетания организационного принципа и теоретической правильности, якобы способную творить чудеса, здесь надлежало вплотную подойти к вопросу о том, что же представляет собой революционер по профессии в русской действительности, каковы элементы его политической деятельности и как вырабатываются, как могут вырабатываться в профессионально-революционной среде те "политические вожди", которые призваны стать, по словам Н. Ленина, во главе "общерусской централизованной организации"?

Что такое революционер по профессии? Это - по Ленину - специалист конспирации, это человек, годами тренировавший себя на "борьбу с политической полицией".

"В руках возможно небольшого числа профессиональных революционеров", - пишет он, - должны быть сосредоточены все конспиративные функции" (стр.125), т.е., иначе, все руководство движением. Взять, например, демонстрацию. "Десяток испытанных, профессионально-вышколенных, не менее нашей полиции, революционеров централизует все конспиративные стороны дела, подготовку листовок, выработку приблизительного плана, назначе-

ние отряда руководителей для каждого района города, для каждого фабричного квартала, для каждого учебного заведения и т.п." (стр.126), т.е. дергает за ниточки всех персонажей этого "действия", подобно режиссеру в театре марионеток. Откуда же взяться этим сверхчеловекам и где та счастливая среда, которая подарит их миру? Кружковая интеллигенция не смущалась ответом и обращала на себя свой собственный указующий перст. Правда, она знала, что у нее не все благополучно, что "наиболее распространенный в последние годы тип кружка социал-демократов совсем даже лишен социал-демократического содержания" (стр.87), знала настолько, что даже период "с 1894 по 1901 год" сводила к развитию типичного кружка студентов, увлекшихся социал-демократизмом.

"Кружок студентов, без всякой связи со старыми деятелями движения, без всякого систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период заводит связи с рабочими и берется за дело. Кружок развешивает постепенно более и более широкую пропаганду и агитацию, привлекает фактом своего выступления сочувствие довольно широких слоев рабочих, сочувствие некоторой части образованного общества, доставляющего деньги и отдающего в распоряжение "комитету новые и новые группы молодежи". При первых же "военных действиях" кружка (агитационный листок, демонстрация), он обыкновенно немедленно проваливается (стр.100, 101).

Такова была история, написанная самой кружковой интеллигенцией, но, тем не менее, кружковая интеллигенция была твердо уверена, что этот хаос "неподготовленности", этот "узкий размах революционной работы", на котором "и не может сложиться хорошая организация революционеров" (стр.103), все это исчезнет, лишь только бы кружки студентов (настоящих или бывших) познали свою несостоятельность, приняли предложенный им "план" и начали воспитываться на "общерусской политической газете".

"Нет иного средства воспитать сильные политические организации, как посредством общерусской газеты" (стр.161) - категорически заявляет "Что делать?" и не менее категорически продолжает: "никогда и массы не научатся вести политическую борьбу, покуда мы не поможем *воспитаться* руководителям этой борьбы из интеллигентных рабочих и из интеллигентов; воспитаться же такие руководители могут *исключительно* на систематической, текущей оценке *всех* сторон нашей политической жизни, *всех* попыток протеста и борьбы различных классов и по различным поводам" (стр.162).

Таким образом, газета выполняет свою провиденциальную роль, давая революционерам материал для полезного чтения. Но газета, сверх того, коллективный организатор и, как таковой, есть разветвленное "широкое предприятие" (стр.169), в котором революционеры найдут разнообразные виды деятельности, как **детальные** работники, "и чем совершеннее была бы отделка каждого колесика, чем больше число детальных работников над общим де-

лом, тем чаще становилась бы наша сеть и тем меньше смятения в общих рядах вызывали бы неизбежные провалы". "Вокруг этого... *общего* дела систематически подбиралась и обучалась бы постоянная армия испытанных борцов. По лесам и подмосткам этой общей организационной постройки скоро поднялись и выдвинулись бы из наших революционеров социал-демократические Желябовы, из самих рабочих русские Бебели" (стр.171). Итак, детальная работа около общего газетного дела и - в дополнение к ней или независимо от нее - чтение, т.е. литературная оценка текущих событий, - вот **гвоздь** организационного новаторства, вот та волшебная палочка, которая должна превратить экс-студентку кружка кустарей во все-российского народного трибуна и на вчера еще неподготовленную, неумелую молодежь сегодня возложить непосильное бремя всероссийского политического руководства.

В этой двухчленной кабалистической формуле, как "солнце в малой капле воды", отразился весь специфический уклад кружковой интеллигенции, замкнутой в себе и в своем мире идей, отщепленной от жизни и смотрящей, как в окошко, на чуждую и стороннюю ей жизнь, катящуюся мимо. Уклад, которому близко знакомы идеи, их влияние и борьба в пределах кружкового обихода, но который в то же время не имеет и понятия об их действии на просторе, об их столкновениях и взаимоотношениях в среде классовой и межклассовой; который не знает соответственной мерки для сопоставления жизни кружка с жизнью внешней, запредельной, и потому тем легче навязывает классам и группам ту же самую переметчивость, которая в сфере идей отличала искони кружковщину, и забывает - хотя бы в данный момент атмосфера кружков была насыщена материалистическими тезисами - об основном, - что всякая общественная среда научается в конечном счете не печатным словом, этим, конечно, необходимым пособием, а предметной педагогикой испытаний, - как вкушать от древа познания общественных отношений и как уметь в них практически находиться.

Кружковая же интеллигенция и не задавалась вопросом, какая механика жизни совершит перелом, необходимый, чтоб сделать скачок из области первобытных отношений кружка в сферу развитого политического действия. Она в то время находилась еще только в преддверии практического строительства, при первых этапах своего революционно-группового самосознания; она была полна романтического порыва и чужда скептицизма; потому-то ее мысль безбоязненно скользила по возможным затруднениям, не останавливаясь в раздумье над тем, как все это конкретно образуется, каким образом дифференцированный работник "предприятия" окажется вдруг интегральным политиком, и уже, конечно, была совершенно чужда проклятого сомнения - о пригодности вообще подполья для решения сложных политических задач, выдвигаемых настоящим временем.

Чтобы представить читателю культ революционера по профессии в его наиболее законченном виде, мне пришлось в предыдущем

остановиться на потускневших страницах потерявшего теперь свою публицистическую свежесть "Что делать?", заставляя без конца дефилировать в наше подвижное и богатое величайшими событиями время его, казалось бы, совсем несовременные аргументы, его лишённые актуальности построения. Спрашивается, нужно ли было производить эту почти археологическую работу?

Я думаю, что - да. Несмотря на все трещины, которые революция успела образовать в подполье, и на пропикший через них свежий воздух простора, культ группового интеллигентского "я" продолжает оставаться до сих пор идеологическим центром, от которого обычно отправляются организационные и тактические идеи интеллигенции и который своею тяжестью давит на все ее общественное мировоззрение. Тем более основания изучать этот культ там и тогда, где и когда он еще был беспримесно чист, где и когда он являлся еще классическим в своем выражении. А это было лишь в начале 1900-х годов, в писаниях тогдашнего Ленина.

Чем классик отличается от вульгарного представителя учения? Своей непосредственной цельностью, незамутненной верою в правоту своей мысли, отсутствием ощущения растущего разлада между "планом", сложившимся в его голове, и направлением социального развития. У кружковой интеллигенции только в момент ее первоначального вступления на путь профессионально-революционного строительства и могли быть эта вера и эта цельность. Только тогда этот путь расстилался перед нею открытым, убегая в заманчивую даль, не проверенный опытом; только тогда ей и казалось действительно, что революционер все может, и это не было звенящим бахвальством с ее стороны, потому что подлинная практика жизни и борьбы находилась еще вся впереди и не могла собою засвидетельствовать всей предельности, всей вопиющей ограниченности "профессионально-революционных" возможностей. Наоборот, картина мелькавших одно за другим текущих событий говорила как будто о противном, и вся конъюнктура того времени складывалась точно для того, чтобы убедить интеллигенцию в рациональности этого культа.

В самом деле, стихия интеллигентского революционизма только что перед тем сумела пробиться на авансцену истории в образе студента-протестанта, привлекая к себе всенародное внимание и накладывая печать на проявления даже пролетарского движения. Студент, так недавно занимавший у рабочего стачку, как форму борьбы, давал теперь реванш тому же рабочему, беря в демонстрациях инициативную, руководящую роль. Мне уже приходилось однажды говорить о том огромном влиянии, которое оказал этот факт на весь конгломерат демократических элементов России. Но если под его впечатлением в первую голову изменялась "двулика демократия" - революционная и умеренная, то не менее давало себя чувствовать действие его для той части кружковой интеллигенции, которая была связана социал-демократическими традициями и спаяна верой в рабочие массы. Революционная интеллигенция - ве-

личина политически заметная и даже внушительная, гласило выступление студенчества. Насколько же должно возрасти ее значение и не может ли оно стать всеобъемлющим и провиденциальным, если ее внимание направится на руководство масс и ее энергия будет затрачена на то, чтобы ей - "профессионально-революционной" интеллигенции - в своем качестве такого руководителя, сделаться вождем всероссийского освобождения?

Одно к одному: развитие революционно-кружковых отношений и неизбежное его следствие - групповое самосознание интеллигенции, с одной стороны, исключительная комбинация момента, с другой, и в результате - та резко типичная форма интеллигентского культа, которая блистала на заре нашей организационно-партийной работы. Неправильно было бы, однако, представлять себе, что тогда этот культ расчищал себе дорогу, сквозь толщу заимствованной с Запада идеологии, совершенно уж легко и беспрепятственно. Правда, им была насыщена атмосфера кружковой среды и он служил постоянно руководящим мотивом для коллективного творчества интеллигенции. Но, входя инородным, паразитирующим телом в доктрину социал-демократии, усваиваясь ее литературой, он не встречал подходящих условий для своего дальнейшего развития и потому застревал обыкновенно на положении предпосылки, из которой делаются соответственные практические выводы, но которая отнюдь еще не есть согласованное в себе, практически-политическое учение. И только в писаниях Ленина ему удалось доразвиться до роли такого стройного в своем роде и в своем роде законченного учения. Но именно на этом-то и основывается историческое - в развитии русской интеллигентской социал-демократии - значение этого писателя и деятеля.

Ленин дал определенные очертания тому, что до него бродило в головах интеллигенции, не находя себе выхода, рассеянное и живущее только обрывками. Сведя разрозненные элементы в одно целое, он заключил их в формулы и поднял на степень призывных лозунгов. Он дерзал. Там, где другие, более связанные, чем он, общим духом социал-демократического учения останавливались на половине пути, обрывали на полуслове, там он шел до конца, выговаривая последнюю букву, как и первую, с такой же непринужденной смелостью. Доктринер по природе, как истый кружковой человек, он готов был присягать над последней занятой воспринятой догмы и рвать на части ее супостатов, и в то же время не замечал, что для ее разрушения он делает больше кого-либо из них - с непосредственностью варвара, с элементарной силой стихии; не пролетарской, конечно, с которой он находился не в ладах, а той, по течению которой он плыл и воплощением которой являлся. Потому, что он сам, этот борец со "стихийностью" и победитель "хвостизма", был тем стихийным человеком, который в концентрированном виде собою изображал целую важную полосу в развитии кружковой интеллигенции. Он был полусознательным выражением бессознательного процесса ее группового самоопределения и потому со стороны

представлялся ведущим, когда был на самом деле ведом, и само произвольно сочиняющим "планы", которые по ближайшем рассмотрении оказывались только кодифицированными, втиснутыми в рамки марксизма, возведенными в перл, имеющимися уже налицо тенденциями кружковой среды. И, конечно, в таковом своем свойстве он был спаян с этой самой средой таинственнейшей органической связью. Восприимчивая и мысли, как эта среда, он тем легче зато, когда нужно, мог наигрывать на ее общественно-психологических струнах, как виртуоз на инструменте. В этой связи была его огромная сила и в то же время погубившая его слабость; сила, соощававшая резонанс его речи, пока кружковая интеллигенция находилась на восходящей кривой своего развития, и слабость, которая дала себя почувствовать, как та рабская зависимость, о которую разбился его талант и в которой заковалась его мысль, когда в этой среде, потерпевшей крушение на практике партийного строительства, начался процесс разложения. И понятно, что сугубое влияние проявляла его близость к среде и его обусловленность ею - в исходный момент формирования кружкового культа.

Теперь уже вошло почти в обыкновение тот период в жизни русской социал-демократии, который родился под знаком общинтеллигентского и, в частности, студенческого движения - так называемый политический период - крестить именем "Искры"⁵. И это, разумеется, верно до известного предела, потому что именно данный коллектив явился организующим цементом, скреплявшим собою централистическую постройку интеллигентской социал-демократии и той литературной трибуной *par excellence*, с которой пускался в оборот весь цикл идей - общеполитических, тактических, организационных, - которым жила и волновалась за означенный период социал-демократическая интеллигенция. И, однако, мы уже знаем, не этот коллектив вобрал в себя наиболее характерные черты своего времени, а лишь тот его единственный член, который являл собою стихию интеллигентского движения. Ведь, не случайно, в самом деле, и не по прихоти злобной тенденции, мы были вынуждаемы до сих пор в характеристике революционно-кружковой идеологии довольствоваться тем материалом, которым нас наделял достопочтенный автор "Что делать?". Достаточно взглянуть на литературу того времени, на тогдашнюю "Искру", чтобы убедиться в основательности этого деления. Большинство вопросов, трактованных Лениным, трактовалось и в прочих писаниях искровской группы. Но как? Как будто бы так же, и одновременно будто не так: нет или отсутствуют почти совершенно те стороны предметов, которые являются симптоматическими для интеллигентской кружковой идеологии; нет ленинских острых углов, нет провоцирующих выпадов, нет профессионально-революционного апофеоза, нет развитой концепции оппозиционной России, состоящей под опекой у интеллигентской социал-демократии. И различие рисуется настолько большим и очевидным, что сейчас же возникает вопрос: как

могли терпеть с собою рядом эту доморощенную кружковую "философию" люди, которые, казалось бы, всей своей жизнью срослись с интернациональным движением социализма? Но в том-то и дело: эти люди терпели "философию" потому, что она им представлялась не единообразным органическим целым, которого корни в известных общественно-исторических процессах, а собранием случайных эксцессов, одиночными блужданиями одиночного писателя, которыми, конечно, всегда можно и должно пренебречь, переходя к очередным делам. А представлялась она так потому, что и сами они, как и все современники момента, не могли перескочить через то исходное положение, которое и представляло первоисточник зла, которое само было отражением революционно-интеллигентской стихии и которое в своем конечном развитии приводило к уже известному культу.

Положение же гласило: коллектив, слагаемый нами и к созданию которого мы все так жадно стремимся, профессионально-революционный коллектив, и есть наша русская социал-демократическая рабочая партия; правда, в первичном, зародышевом виде; но как из эмбриона вырастает организм, точно так же из нашей организации профессионалов-интеллигентов по преимуществу со временем разовьется преемственно-организационно великое тело великой будущей партии рабочих. Мы не только современный союз коммунистов, мы не скромная бацилла, вносящая в среду свое пропагандистское и агитационное брожение, мы не ограничиваемся ролью той "искры", из которой разгорается пламя пролетарского пожара; нет, мы сами создаем те формы, мы сами вырабатываем те планы, мы сами издаем те обязательные к выполнению законы, по которым полагается жить и работать пробуждающемуся к сознанию "самодеятельному" пролетариату.

Можно сказать, из всех тезисов, когда-либо обращавшихся в пределах российской социал-демократии, не было другого, который пользовался бы равным признанием и более объединял все оттенки и направления мысли, чем это исходное положение, и ни в чем не отразилась с такой силой стихийная идеологическая мощь интеллигентского развития, как именно в этой его всеобщности. От "Группы Освобождения Труда"⁶ и до последней организации, еще не успевшей совлечь с себя "ветхого Адама" экономизма, все пользовались этим положением, аргументируя от него и к нему и тем самым сводя в сущности на нет приобретения международного опыта, тем самым в основе подрывая себе возможность принципиальной оппозиции. Потому-то и безмолвовала "Искра", как целое, попустительствуя; потому-то и оставалась бесплодной, не попадая в точку и размениваясь на подробности, вся критика противников "Искры".

Рязанов, Мартынов, рабочедельцы вообще, каждый из них в свое время сказал такое нечто, что было частицею правды и которое, однако, проходило, не задевая общественного сознания, как надстройка над все тем же фундаментом, но только не столь выдер-

жанная и целостная в стиле, как здание, о сооружении которого мечтал стихийный человек интеллигенции. Ведь и пресловутого "демократизма" "Рабочего Дела"⁷ хватало de facto лишь на то, чтобы совершать манипуляции в пределах кружковой среды. И разве только одиночка Надеждин один каким-то путром подходил к сути дела, бессильный, однако, как свободный от теорий эмпирик, противопоставит принципу - принцип, системе - систему. Выживала та идеологическая форма, которая оказывалась наиболее приспособленной к запросам момента, наиболее отвечающей психологии данной среды. А такой формой был и оставался ленинский культ революционера все время до тех пор, пока практическая жизненная проверка не начала совершать над ним того же дела разрушения, которое она произвела над всей кружковой интеллигенцией.

Жизнь не сразу приступила к этой ломке. Некоторое время могло еще казаться, что формирование культа и строительство практики, эти две противоположные стороны в едином процессе развития кружковой интеллигенции, идут оба к своему увенчанию. Россия покрывалась все учащающейся сеткой кружков. Кружки заживали более интенсивной, чем прежде, более общей жизнью. Разрозненные до того "кустарные" ячейки завязывали связи друг с другом. Основательно позабытое, неизвестное всему предыдущему десятилетию, так называемое "пелегальное положение" становилось той нормой, которая определяла собою кружковое бытие и сулила хотя бы некоторую прочность существованию партийных работников. Вся техника борьбы поднялась на высшую по сравнению с прежним ступень; дождь прокламаций усиленно изливался на обывателя и рабочего, появилась "общерусская политическая газета", размножалась агитационная литература вообще; приобретали значение те функции, которые обслуживали не одни только местные интересы, закладывалось что-то вроде элементов аппарата, который должен был взять на себя вскоре руководство всей практикой. И сама практика - сообразно изменившимся общественным условиям, в соответствии предгрозовой атмосфере дореволюционного времени - изменяла свой характер: профессиональные, частные мотивы в агитации уступали место мотивам всероссийского, общего характера, и универсальный политический лозунг момента единообразно повторялся на всем протяжении российской территории, являясь повсюду тем фокусом, который стягивал вокруг себя политические выступления пролетариата.

Правда, эти выступления уперлись весьма быстро в тупик; правда, весьма скоро стало ясно, что эти выступления не массовые и что пример донского комитета, блеснувшего своей связью с рабочей массой и со всем городским населением Ростова, в период, непосредственно следовавший за ноябрьской стачкой, т.е. в зиму 1902-1903 гг., являлся скорее исключением - исключением, подтверждавшим общее правило, чем типичным образцом кружковой, комитетской работы. Правда, весь указанный "прогресс" был лишь ходом черепахи по сравнению с общим темпом революционизиро-

вания России и в значительной мере только слабой от него производной. Но и эти изъяны движения, отмечавшиеся в сознании кружковой интеллигенции, представлялись ей простым подтверждением той истины, что партийный механизм еще не налажен, что его следует наладить в самую первую голову, и лучшим свидетельством за то, что пора окончательно и бесповоротно расквитаться с партийным "разбродом", превратив конгломерат кружковых комитетов в единый организм, управляемый центральной волею. Если же агитация все же бедна содержанием, если пропаганда за время революционного подъема даже сократилась до минимума, если организационная работа, раскидываясь вширь, не оставляет тем не менее по себе достаточно прочного следа в среде пролетариата, тотчас на одном месте или, в лучшем случае, при самой оптимистической оценке, не поспевая хотя бы отдаленно за общенародным возбуждением, - то ведь это только до тех пор, пока нет еще у нас заправского революционера, пока революционер по профессии в лице соответственного ему коллектива еще не выступил на первый план партийной истории чем-то вроде некрасовского барина, которого когда-то поджидала крепостная деревня:

Вот придет барин,
Барин нас рассудит!

Но когда "барин" действительно приехал, когда партия, после бесконечных проволоч, наконец-таки, конституировалась, уже не в виде неоформленного "нечто", объединенного одною лишь идейною связью "манифеста" (1898 г.), а как желающее жить и живущее уставною жизнью организованное целое, то оказалось, что она не только не сумела "рассудить", распутать очередных вопросов движения, а, наоборот, в короткое время завязала новый узел конфликтов, ранее как будто непредвиденных. Как из ящика Пандоры, из залы заседания так называемого второго, а на самом деле учредительного съезда вылетели и стали хищной стаей кружиться над партийной средой столкновения и всевозможные напасти: точно гнойный нарыв прорвало, точно скрытая до того болезнь выступила сыпью наружу.

Это было ошеломляюще, неожиданно и, увы! в то же время фатально неизбежно! Теперь, на расстоянии уже более двух лет со дня начала раскола, когда между нами и им залегло целое море событий - и каких! когда все это время напролет шла одна и та же жестокая выучка жизни, и жизнь не пожалела своих скорпионов, разбивая иллюзии, - теперь мы поистине вправе и должны взглянуть происшедшему прямо в глаза, - хотя бы эти глаза были медузы и, сметя накипь случайностей, шелуху преходящих комбинаций, пацунать то ядро, ту основную историческую суть, которую заслонила шелуха в этой трагикомедии интеллигентски-кружкового развития.

А суть заключалась в том, что перед кружковой интеллигенцией,

с переходом ее от несвязанного состояния комплекса отдельных местных кружков к положению организации всероссийской, стало ребром противоречие, которое прежде смутно чувствовалось, но которое в полной мере дало себя знать лишь при этом переходе, противоречие между тем, к чему стремилась и должна была стремиться кружковая интеллигенция, вынуждаемая к этому всем ходом своего предыдущего развития, к чему ее вела кружковая психология и послушная этой психологии логика, и тем, что кружковая интеллигенция была в состоянии выполнить в меру сил и способностей, отпущенных ей ее укладом.

Вечно ферментирующее, вечно будящее начало, незаменимый передаточный механизм для идейных воздействий, она не пожелала ограничиться этой относительно подчиненной, но все же ответственной ролью: ее возросшее в процессе идейной борьбы кружковое самосознание толкало ее на путь руководства массой, на путь организации и регламентации огромного общественного движения по схемам, которые она сама создавала в тиши своих кружковых лабораторий. И она делала то, что делать само по себе уже было утопично - в условиях момента, но к чему, сверх всего, особенно она была нарочито непригодна. Присмотритесь, в самом деле, к работе и к жизни кружковой интеллигенции, начиная с ее элементарной ячейки: она пропагандирует, она агитирует, она организует, - и на всей этой деятельности ее, как и на всем ее мышлении, о чем я уже выше говорил, лежит неизменно печать все той же безнадежной оторванности. Между ней и средой, в которой ей надлежит оперировать, нет постоянного взаимодействия, нет реальных связей, нет соприкосновения бытия, которое одно заставляет понимать друг друга с полуслова, улавливать настроение среды, верно определять запросы ее развития. Среда, куда она так страстно и так жадно стремится, остается такою же, если не более, чуждою ей, как и та среда, от которой она в свое время отцепилась, уходя в кружковое подполье. Проклятие режиму, который загнал ее в это подполье, в конспиративные условия, пеленою окутавшие ее, ограждая от полицейских репрессий и в то же самое время изолируя от мира, - но факт остается тем не менее фактом: кружковая интеллигенция в этой своей предохранительной броне развилась в "чужестранку", доведя до последнего предела черты исключительной замкнутости, свойственной ей и без того в обстановке дореволюционного общества. А это значит, что пропаганда ее книжно-отвлеченна, что агитация, оперируя с небольшим запасом понятий, лишена всякой гибкости, что организация есть непременно продукт ее абстрактно-кружкового творчества, без малейшего отношения к тому процессу стихийного формирования, или вернее к тем тенденциям формирования, которые обнаруживает класс, пробуждающийся для самостоятельного действия. Но не каждый из этих недостатков кружковой среды отражается в одинаковой степени на результатах ее практики. Конечно, отвлеченность пропаганды существенный минус; но это минус, не сводящий до нуля всей работы. Даже и в своем обес-

цвеченном виде, даже и оборванные, по вине ли "независящих" от кружковой интеллигенции обстоятельств, по вине ли самой интеллигенции, уходящей с головой в агитацию, идеи социализма, основные положения и практические выводы великого учения впитываются теми, для кого они больше всего предназначены, как влага иссохшему губкою. Классовая борьба, непримиримая противоположность интересов труда и капитала, необходимость для рабочих сложиться в самостоятельную политическую партию, - эти и подобные им тезисы проходят сквозь сито кружковой среды, не теряя ничего или почти ничего из своей непосредственной действенности, оставаясь такими же неотразимыми собирателями пролетариата, как и их оригиналы на Западе.

Но уже нечто иное представляет собою агитация и совершенно другое - работа организационного строительства. Если в деле пропаганды идеи остаются все же господами положения, несмотря на фильтрацию, а кружковая среда служит только чем-то вроде махового колеса передачи, то в агитационной и еще более в организационной работе выступает на первый план исполнитель, т.е. в данном случае первоначальная ячейка интеллигенции. Это ей в агитации выпадает на долю оперировать над сырьем текущей действительности, приводя его в связь с тем запасом идей или чаще с той идеей, которую надо немедленно пустить в оборот, претворяя в конкретные комбинации. Это она - организационно творит, в самом подлинном смысле этого слова, творит, как художник творит из разбросанных на палитре красок, как скульптор из глины создает свои образы; творит - потому что организовывать не значит для нее быть бродилом движения, не значит культивировать только формирующиеся силы, ограничиваясь своей помощью в их самопроизвольном сложении; а значит, наоборот, созидать группировки из материала рабочей среды, значит строить свои собственные постройки.

Понятно, перед подобными задачами первоначальная ячейка, кружок, проявила свою малую пригодность.

Только в сфере агитации это было не так еще заметно: надвигающаяся революция спутывала карты, приходящие в движение все новые общественные пласты, все новые пролетарские элементы расширяли до крайности пределы возможного приложения сил, и экстенсивный рост всего движения заставлял забывать о содержании работы - из-за удачной внешности, из-за более блестящей, чем она была на деле, картины упомянутых успехов. В насыщенной электричеством атмосфере политического пробуждения с благодарностью принимались те лозунги, напряженно выслушивались те речи, в которых звучала общеполитическая нота момента, хотя бы в них заключалось, как в большей части случаев, очень мало индивидуализированно-конкретного, хотя бы их социализм оставался зачастую в пределах лишь одной терминологии. И тем не менее, кружковая агитация сыграла известную и даже очень значительную роль: она не оправдала надежд, на нее возлагавшихся, как

на агитацию социал-демократическую, но она все же была тем единственно сильным революционизирующим будильником, какой только могла выдвинуть предреволюционная эпоха, и тем смыкающим звеном, при посредстве которого устанавливался непрерывный ток тяготения между широкими массами и идеей социал-демократии.

Много хуже было с делом организационного строительства. Что может быть, в самом деле, разительнее контраста между растущей и, несмотря на препятствия, в своем положении укрепляющейся организацией интеллигенции и той организационной пустотой, той безынициативностью, которую распространял вокруг себя интеллигентский кружок в примыкающей к нему среде пролетариата? А между тем, весь организационный "прогресс" так называемого политического периода русской социал-демократии сводился именно к тому, что количественно и качественно вырастали кружки, превращаясь в "комитеты", укрепляли свои межкружковые связи, выделяли общепартийные функции, в то же самое время сохраняя - за ничтожными изъятиями - свой исключительно интеллигентский состав, растеривая даже и то малое, что связывало их с пролетариатом в предшествующий период "экономизма". Организационная работа кипела, все больше становясь в самом центре внимания, все сильнее привлекая к себе кружковую мысль, но это была организационная работа над средой и в пределах кружковой интеллигенции, это было не что-либо другое, как процесс ее собственной консолидации.

И чем более она консолидировалась, тем сильнее обрисовывался специфический характер этого кружкового строительства. Если кружок "кустарей" "экономистов" 90-х годов, кроме своих просветительных (в широком значении этого слова) задач, выполнял еще функции чего-то вроде технического бюро при рабочем движении, преимущественно занимаясь формулировкой требований, которые рабочая масса того или другого завода предъявляла заводчику, и помогая рабочим - насколько хватало кружкового умения - складываться в особые, правда, большею частью нескладные, организационные ячейки, то "политический" кружок 900-х годов был уже "выше" подобного обслуживания. Он не обслуживал, он руководил. Он бестрепетной рукой разрушал все ячейки - во имя архитектурной красоты своих собственных планов и, презрительно относясь к нелишенной доктринерски вредной наивности "регистрауре" предыдущего периода ("не забегать вперед масс", которое сводилось к незабеганию вперед массового сознания), издавал уже пароли, принимал уже ответственные решения - на свой риск и страх, как верховный руководитель движения. Но кружок, на основе лишь местного движения, не мог еще развернуть своего "руководства", не мог еще обнаружить во всей полноте всех свойств своего организационного типа. Для этого ему необходимо было нужно - всероссийское основание. И кружок совершил свое последнее превращение, свое *salto mortale*: как объединение отдельных

кружков, как усовершенствованный высшего порядка всероссийских кружок, он метаморфизировался в партию.

А это превращение значило - развитие до последних пределов всех эмбриональных, всех недоконченных черт "руководящего", управляющего уклада в кружковой среде. Переходные, межеумочные формы исчезали: агитационно-пропагандистский кружок "просветительного" типа окончательно ступеневался перед организацией, в которой по замыслу все должно было быть приурочено к осуществлению воли высшей или высших инстанций и к передаче этой воли, для исполнения, массам.

Аппарат для осуществления воли, ergo - административная машина, ergo - лестница иерархических учреждений, ergo - перестройка интеллигентски-кружковых отношений, применительно к взаимно обуславливающим друг друга началам подчинения и властвования, смена примитивных основ обычного права разветвленной системой писаного закона уставных норм. Ergo - при отсутствии контролирующего влияния связи с рабочими массами и сохранении кружковой традиционной обособленности - расцвет бюрократизма.

И бюрократизм был, действительно то первое что бросилось в глаза, как сторонним наблюдателям, так и невольным участникам процесса: бюрократизм и соответствующие ему те "маленькие недостатки механизма", та плесень отношений, которые стали на время злобою дня кружковщины; и по праву - являясь самым ярким предостерегающим указанием неблагополучия, свившего себе гнездо в партийном механизме. Машина не действовала: она скрипела, она судорожно двигала своими отдельными частями и не трогалась с места как целое. Оказалось что, несмотря на многолетний процесс подготовительного сплочения кружковой интеллигенции, логический конец и венец развития был скачком, на котором она сломала себе шею.

Внутри партии производилась хлопотливая работа ломки перестройки, налаживания и прилаживания частей, но вовне - ее колеса вертелись беспомощно в воздухе, не забирая массы, ради приведения которой в действие ведь только и существовал весь сложный партийный аппарат. Колеса вертелись в воздухе! Потому-то налаживание частей, приспособление кружкового обихода к субординации систем партийных учреждений и принимало такие мучительные, чудовищно-болезненные формы. Ни одна среда - естественно и просто - не будет распределять своих членов по полочкам и никогда и сами члены среды не обратятся добровольно в простые винты управляемой откуда-то машины, если у нее и у них не будет в процессе работы самим ходом вещей укрепляться сознание доброкачественности совокупных результатов работы, вера в направляющих механиков. У интеллигентски-кружковой среды была вера в чудотворную силу разумно-организованного строительства, но уже с самого начала, с ее первых же шагов, было в то же время и какое-то смутное ощущение несоответствия между имеющимися

данными средой и задачами, поставленными перед ней ее развитием. Не оказывалось в паличности людей. Были отдельные литературные авторитеты, идейно впечательные группы, был маг и чародей, изобретатель с полудюжины популярных партийных рецептов, но не слышно было что-то об организаторах практической работы, о политических руководителях движения. И таково уже было впечатление от съезда и самого съезда (1903 года): это смутное свое ощущение съезд выразил, раздробившись между двумя враждебными течениями. С одной стороны, ощущение развилось в искание твердой руки, единой, центральной, заправляющей воли, в призыв варяга из-за моря, в желание неукоснительно выполнять его - варяга - внушения, - как бы в виде возмещения за отсутствие партийных элементов, пригодных для самостоятельного управления и самостоятельного политического творчества, с другой - оно превратилось в опасения, вскоре ставшие прочным убеждением, что чем ретивее такие исполнители, тем страннее для движения, тем невыносимее их распорядительные, их "руководящие" функции.

Неопределившиеся ощущения первой поры получили затем подтверждение во всех перипетиях дальнейшей истории, представляющей собой лишь один скорбный лист хронического партийного недуга, и - кто мог раньше предвидеть - на авансцену партийных задач выдвинулся вопрос о необходимой самообороне против "административных" воздействий внутрипартийных устроителей. Не было людей! Но горшая беда была в том, что они и не могли образоваться, что с переходом от исключительно местного кружкового бытия к бытию общепартийному выросли, правда, во много раз партийные обязательства и трудности политического руководства, но отнюдь не улучшились - наоборот, как я сейчас покажу, ухудшились - условия для выработки серьезных политических работников.

Политическое понимание вырастает из политического опыта, из практики политического действия. А этой практики и этого действия у партии, как у таковой, - и в этом заключается противоречие ее существования - оказалось даже меньше, чем у заурядных местных кружков; потому что кружок при всей своей местной ограниченности, при своей обычной оторванности от внешней среды все же вынуждается время от времени к известному коллективному действию, все же общается, хотя и урывками, хотя бы и плохо, с той массой, которой руководит, и все же принимает иногда и кое-где от этой массы спасительные для себя поучения. Не то в партии или правильнее было бы сказать - на верхних ступенях иерархии, где находятся так называемые представители общепартийных профессий. Между ними и "внешней" средой залегло средостение из местных кружков, и если слабо дыхание жизни вообще проникающее в сферу кружковщины, если импульсы, идущие от массового движения, не в силах и там - в кружках - пробить бреши в китайской стене отчужденности, то насколько же здесь, в партийных эмпиреях, значительнее эта отчужденность, так сказать, возведенная в квадрат.

Нет политической работы всей партии (прошу помнить: в такой категорической форме я говорю о периоде предреволюционном), нет практического дела, над которым могли бы упражнять свои способности партийные работники, научаясь оперировать с различными общественными категориями, разбираться в конъюнктурах момента, находить в них место пролетарскому движению и определять его очередные задачи, словом, делать политику, направляющую деятельность партии в целом, как передового пролетарского отряда, но зато есть "политика" "внутрипартийная", есть благодарное поле для произрастания дипломатических талантов, для появления выдающихся специалистов - по обработке общественного мнения кружков в желательном смысле, по подготовке конференций или съездов, по "проведению" резолюций. Особый мир, довлеющий себе, суестьющийся суестью муравейника, полный забот и хлопот об... иррациональном мнимом, сам исполненный мнимых величин и опустошающий величины реальные!..

Между тем, закипающая и идущая к революции жизнь не ждала и предъявляла свои требования к движению и к тому, что себя полагало организованною частью движения. Социал-демократия должна была, - и что дальше, то больше, отвечать на запросы исторического момента, откликаться на события огромной политической важности. Если она была бессильна выступать как организованный коллектив, если она не умела и не могла из подполья приводить в движение массы, то во всяком случае она вынуждалась всем ходом вещей выставлять свои лозунги, определять свое принципиальное отношение к событиям. Ведь при всей своей организационной нескладнице она жила одной общей духовною жизнью, она была той средой, над которой тень Маркса вела постоянную борьбу с мышлениями интеллигентского склада.

И в эту-то общую сокровищницу идейного существования партийные руководители, надкружковые и кружковые практики вносили лепту, поражающе малую. Все движение мысли, которое как никак, несмотря на неблагоприятствующие условия, совершалось под напором событий в тех сферах, где циркулировали социал-демократические идеи, проходило мимо них стороною или - ввезенное из-за границы, как, напр., большинство получивших затем распространение политических директив, - воспринималось пассивно, в виде готового к использованию продукта. И это чрезвычайно знаменательно. Кружковая интеллигенция в социал-демократический период своего развития создала литературу, более или менее удовлетворяющую требованиям публицистов, более или менее заметных, и ни одного выдающегося практика. Были отдельные хорошие пропагандисты, попадались талантливые агитационные ораторы, но ни одного организатора, ни одного из тех, кто двигал бы практику вперед и в ней творчески работал.

Знаменательно потому, что лучшей нитью аргументации свидетельствует о засасывающей тине партийно-кружкового обихода: там, где этот обиход охватывал человека вплотную, он сводил его на

нет, и только там, где его действие было посредственно, он оставлял достаточно простора для того, чтобы силы могли развернуться, не поддаваясь всецело гипнозу партийно-кружкового строительства. Литература была лучше практики, а идеи, к которым она примыкала, правда, их подчас искажая, много лучше самой литературы. Это как раз обратное тому, что наблюдалось в 70-е годы, в тот прежний активный период интеллигентского развития, когда на основе наивного романтизма народников и необоснованного теоретически революционизма народовольцев, путем естественного подбора, выростала блестящая фаланга деятелей, поразившая весь мир своим профессиональным искусством. В то время кружковая среда отливала всеми красками самых разнообразных практических талантов; в то время не Лев Тихомиров и некто-либо другой из пишущей братии, а именно Желябов, Александр Михайлов, Халтурин и другие практические работники были - *spiritus rector**, вдохновителями и кормчими тогдашнего кружкового движения.

Почему-же теперь в период социал-демократического развития, профессиональный революционер, "опирающийся на правильную теорию", доразвился разве только до уровня "комитетчика" или, пожалуй, коммивояжера кружковых идей? Почему мы так и не дождались до сих пор не то что появления отечественного Бебеля (это без дальнейшего понятно, ибо какой же Бебель в подполье), но даже и социал-демократического Желябова, которого когда-то пророчил нам Ленин? Почему?

Да потому, что деятельность старых организационных ячеек, в противоположность сизифовой работе современного нам кружкового строительства, вела прямо и непосредственно к цели, к тем ближайшим задачам, которые себе она ставила. При своем конечном утопизме, она была превосходно приспособлена для решения этих ближайших задач и превосходно отвечала кружковому укладу интеллигенции. По существу же, это была не столько политическая, сколько техническая работа, и ее трудности, в преодолении которых находили себе выход ловкость, героизм, изобретательность, находчивость работников, были опять-таки трудностями техническими, не требовавшими от этих работников ни применения подлинной политики, неизбежно сопутствующей социал-демократическому движению масс, ни той политики в кавычках, в которой, как мухи в паутине, запутываясь, увядали представители интеллигентской социал-демократии. Но по тому же самому ошибся бы тот, кто от прошлого захотел бы аргументировать к настоящему, и ссылками на примеры героев террористической борьбы подкреплять свою мысль о великом политическом значении профессионально-революционного уклада. При удачном для нее стечении обстоятельств кружковая среда выдвигает героев и мучеников, смелых партизан революционных набегов, но она не делает политиков, она не дает вождей массовому общественному движе-

* Духовный руководитель (лат.). - Ред.

нию. Можно сказать: политик рождается тогда, когда умирает кружковый человек. Только тогда, когда забродившая жизнь разбивает, затворы подполья и поскольку она их разбивает в замкнутую прежде среду начинает вливаться политическое разумение, вместе с волнами горького опыта, вместе с тем разочарованием и теми неудачами, которые приносят разрушающейся среде эта пришедшая в движение жизнь.

Безумно поэтому - и об этом гласит нам каждая страница, каждая строчка из недавней истории - безумно на основе кружков строить здание партии, безумно чертить на ней контуры своих тактических планов.

Тотчас же после ее конституирования в партию, в кружковую среду, вместе с вспыхнувшим расколом, начало проникать сознание неладности такого положения. Сознание проникало медленно, туго, имея против себя всю стихию кружкового развития, уже зашедшего в исторический тупик, но еще не желающего сдавать своих позиций истории. Потому ли неладно, однако, что посторонние элементы мешают, что поперек процветанию партии стоит злая воля отдельных лиц или групп, или эта неладность имеет более общий источник своего происхождения и связана с партийным строительством? Эти два диаметрально противоположные решения вопроса были одинаково выражением настроения кружковой среды после съезда, о котором я говорил уже раньше, и вместе с тем исходною точкою для тех двух течений в рядах русской социал-демократии, которые с тех пор не переставали противопоставлять себя друг другу.

"Большинство" и "меньшинство"! Одно решительно и непримиримо консервативное, другое - колеблющимся шагом идущее к новаторству. Одно - стоящее за сохранение во что бы то ни стало status quo и дальнейшее развитие основ того же строительства, сводящее беды к недостаточному развитию этого строительства, и другое - при всей силе своего отрицания лишь половинчато и смутно намечающее положительную программу своей деятельности. Одно - с самого же начала своего появления на свете законченно цельное - не хватало лишь немногих штрихов к его общественно-политическим взглядам, другое - непрестанно находящееся в процессе формирования, больше опытным путем намечающее свои частичные выводы. Одно - переведенный в практику, расширенный и дополненный применительно к оживившимся политическим условиям лепинский культ революционера по профессии, со всеми заключениями, из него логически следующими, как-то: подготовка вооруженного восстания, участие во временном правительстве, на основе диктатуры пролетариата и крестьянства, голый революционизм, пренебрежительно отбрасывающий все уроки парламентской борьбы западноевропейской социал-демократии, якобы не приставшие революционному времени, отрицание самостоятельной роли за самопроизвольно возникающими рабочими организациями и профессиональными союзами; и другое - ряд отчаянных усилий кружковой среды уйти от своего собствен-

ного развития, всевозможными путями и по всякому поводу организационно и в процессе активного политического выступления связаться с пробуждающимися массами и незаметно отстроить, таким образом, не срывая до основания старого, новое здание партии.

Кто думал над тем, как развивались события последних годов, и захочет подвести в своей памяти итог "меньшевистской" истории, тот оценит по достоинству мартиролог этих усилий. Начав с малого, с критики "бюрократического централизма" организации, меньшинство в процессе своего собственного развития разматало клубок своих организационных и тактических разногласий с большинством, и подошло к их основам. Но оно подошло, не сказавши последнего слова. Его кружковая природа была ему помехой; кружковые традиции связывали его установленными формами, задерживая на половине пути в его критике, а точка зрения, представленная сравнительно более последовательно и полно в литературе "меньшинства", еще искажалась, дробилась, разменивалась на частности в своем практическом применении. Линия наименьшего сопротивления кружковой среды, так сказать, ее линия стихийного тяготения, проходила несмотря на все поучительные удары истории, не в направлении развития "меньшевистской" идеологии и тем меньше развития меньшевистской практики.

Неудивительно поэтому, что "меньшинство" не решило принципиально вопроса о партии, как о том коллективе, который, являясь результатом кружкового сплочения и сохраняя в своем существе кружковые основания, тем не менее хочет брать на себя роль практического руководителя массового движения. Оно продолжало лавировать между обычным, установленным профессионально-революционным представлением о партии и тем отрицанием партийно-кружкового строительства, которое стояло перед ним пугающим призраком. Оно хотело быть организационным реформатором и, действительно, вырабатывало свои, заслуживающие внимания организационные реформы, но в то время уже, когда жизнь, отвергая реформы, признавала лишь одну революцию. И оно было все время своего существования, несмотря на свои частичные успехи и отдельные исключения, более тенденцией, чем оформленным движением в кружковой среде, интеллигентски-кружковой Кассандрой, которую слушают, но плохо разумеют и, желая послушать, действуют тем не менее по-старому. Его тактические лозунги - эта главная заслуга его перед движением - приобретали порой большую популярность, но это не меняло ни в чем основного трагизма его положения. А трагизм его поведения заключался в том, что кружковая среда в ее целом не столько менялась под влиянием событий, сколько ломалась; не столько приспособлялась к усложнявшимся политическим отношениям, сколько таяла в лучах революционного солнца, усугубляя свою прежнюю исключительность болезненными чертами упадка. А между тем, ведь миссия меньшинства была вся целиком рассчитана именно на возможность такого постепенного перерождения.

Но кружковая среда умирала неизменной. В то самое время, когда вся русская жизнь переживала процесс своего революционного формирования, когда образовывались партии, возникали бесчисленные организации и союзы, и один общественный слой за другим приходил в движение, вступая на политическую сцену, в это время кружковая среда, без нового притока свежих сил, в поредевшем составе, не успев связаться органически с массами, но сохраняя еще мощь своего идейного влияния, которое и затушевывало в ее собственных глазах отсутствие прочной, органической связи, презрительно проходила мимо тех немногих возможностей, которые ей представлялись, - связаться с массами в процессе политического действия (такова была, напр., избирательная кампания в думах), и делала конечные, логические выводы из своей кружковой идеологии.

Это основное противоречие истории последних лет: сила идеи и бессилие организации. Оно сказалось с необыкновенною яркостью и в минувшие "дни свободы"⁸. В исключительные моменты революционного подъема социал-демократия, выходя из своего "нелегального" подполья, оказывала несомненное давление на направление пролетарского движения, и ее лозунги и призывы играли в нем часто решающую роль. Но стоило волне возбуждения отхлынуть и ей самой уместиться опять в своем старом подполье, чтобы оказаться у разбитого корыта, без связей, без живого общения с массой, способной, пожалуй, инсценировать демонстрацию бессилия и "неделания" (бойкот), но не способной стать инициатором и руководителем действительного политического действия.

Культ профессионального революционера в своем применении: партизанские отряды, техническая подготовка, авантюризм действия и мысли, заговорщическая тактика всюду и везде!

Перед нами серьезная опасность, которую переоценить невозможно! Кружковая интеллигенция слишком тесно сплела свое существование с идеей международной социал-демократии, чтобы ее разложение не оказало разлагающего действия на тот престиж социал-демократического имени, который она сама же привила рабочей массе; чтобы ее кружковое строительство в своем практическом завершении не разрушило до конца результатов ее многолетней пропагандистской и агитационной работы и не бросило массу - разочарованную, разуверившуюся - в объятия чуждых идей (анархистских, буржуазно-демократических или иных, их же ты, Господи, веши), от которых она, казалось, была застрахована всем предыдущим развитием.

Опасность нельзя переоценить! И потому тем сильнее надо кликнуть клич: за идеи международной социал-демократии, за тот революционный реализм, которым сильны были "Группа Освобождения Труда" в своей борьбе с утонизмом народолюбцев, и марксизм 90-х годов в своих нападениях на филистерское прекраснодушие эпигонов народничества, за научный социализм и опыт социалистического Запада, - против интеллигентски-кружкового

строительства со всей связанной с ним идеологией!

Бывают исторические моменты, когда тяжело выговаривать свою мысль до конца под пение неприятельских снарядов, под захватывающие удары врагов, когда каждое сказанное слово ложится на душу свинцом и рождает сомнение в своей целесообразности. И тем не менее - оно должно быть произнесено, это слово, отчетливо и громко!

Идея социал-демократии слишком велика и движение пролетариата слишком могуче, чтобы не иметь этого мужества! Только тогда, когда кружковая интеллигенция подойдет с революционной, а не реформаторской критикой к самым основам своего кружкового строительства, она, быть может, найдет в себе силы обрести свою старую роль бациллы русской общественности.

И только тогда она найдет себе подобающее место в том подлинном строительстве, которое начнет за свой пай российский пролетариат!

1905-1906 гг.

О русской интеллигенции

"Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поправление людям".

Еванг. от Мтф. У. 13.

Русская интеллигенция стоит на великом, идейном и волевом распутии. У обрыва, у бездны пресекалась ее прежняя дорога: нельзя идти далее в том же направлении. Есть лишь крутой поворот в сторону, на новые, спасительные пути; и есть скользкие, обрывающиеся тропинки - на дно... Надо понять и выбрать; решить и идти. Но нельзя выбирать долго: сроки коротки, а время идет. Или вы не слышите, как зовет Россия? Или вы не видите, как развертывается и назревает мировой кризис? Поймите же: **Россия должна быть освобождена и очищена до того, как мировой кризис созреет и разразится!..**

Не раздумье опасно, а безволие; не самоуглубление, а нерешительность. Русской интеллигенции есть над чем задуматься; и без религиозного и духовного самоуглубления ей не найти верного исхода. Честно и мужественно она должна сказать себе, что **революционное крушение русского государства есть прежде всего ее собственное крушение**: это она вела и она привела Россию к революции. Одни вели сознательно волею, агитацией и пропагандой, покушениями и экспроприациями. Другие вели проповедью непротивленчества, опрощения, сентиментальности и равенства. Третьи - безыдейною и мертвящею реакционностью, умением интриговать и давить, и неумением воспитывать, нежеланием духовно вскармливать, неспособностью зажигать свободные сердца... Одни разносили и вливали яд революции; другие готовили для него умы; третьи не умели (или не хотели) - растить и укреплять духовную сопротивляемость в народе...

Здесь **все** должно быть мужественно додумано до конца и честно выговорено. Горе упрямым и трусливым! Позор самодовольным лицемерам! Беспристрастная история заклеит их, как слепцов и разрушителей, а восстановление России будет обусловлено **вымиранием их поколения...**

Ныне русская интеллигенция или задавлена и обессилена в стране, или извергнута из России, или погублена революционерами. Не в суде над нею дело; хотя каждый из нас всегда призван к суду над самим собою. Не обвинять нам надо друг друга; хотя прозреть и обновиться сможет лишь тот, кто сумеет найти и свою собственную вину в событиях. Мы не ищем "обвинения"; но мы не можем замалчивать правду, ибо правда необходима сейчас России, как свет и воздух...

Зоркий и честный диагноз есть первая основа лечения. Но этот диагноз должен быть не клеймящий, а объясняющий. И те, кто ныне особенно склонны к клейму и злопыхательству, пусть помнят, во-первых, что они **сами** пребывают на скамье подсудимых; во-вторых, что умственные и духовные течения слагаются медленно и бывают устойчивы, как психоз, так, что не подчиняться им и плыть против течения могут только **исключительно сильные натуры**; и в-третьих, что ныне нам дан **новый исторический опыт**, которого не имели наши отцы. Отвергать людей надо не за их прошлые неудачи или заблуждения, а за их нынешнее злостное нежелание прозреть...

Я говорю совсем не об "отцах" и "детях". И перед революцией были мудрые и сильные отцы; они имеются у нас и теперь, - это наш кладезь государственного опыта, залог и гарантия того, что мы идем по верному пути. А молодежь и перед революцией вопила, что она "понимает все лучше отцов"; и вот - довопилась... Только ослепленные и одержимые не мудреют с годами; только гению дается сразу, от молодых ногтей, семь пядей во лбу. И всегда так было, и всегда так будет, что юная самоуверенность чревата бедою.

Итак, я говорю совсем не об "отцах" и "детях"...

Да, одна из причин революции - в настроении ума и в направлении воли русской интеллигенции. Вся беда в том, что русская интеллигенция **неверно поняла свое предназначение и свою задачу** в жизни России, и потому **не нашла своего органического места и не делала своего органического дела** в стране. Мы говорим не о служилом, военном и гражданском кадре, который всегда был богат сильными и верными людьми, а о партийных (левых и правых) "политиках" и о заражавшейся от них обывательской массе. Эта интеллигенция делала обратное своему призванию и не только не строила здоровый дух русской государственности, но вкладывала свои усилия и свой пафос в его разложение. Отсюда ее органическое бессилие в час испытания и беды, ее растерянность, ее поражение и крушение.

В час испытания и беды, в час изнеможения, уныния и соблазна масса простого русского народа пошла **не за русской интеллигенцией**, а за **международной полуинтеллигенцией**; пошла не спасать Россию, а губить ее; пошла не к национально-государственной цели, а к частному обогащению; изменила русской и православной идее и предалась нелепой и кощунственной химере. Это есть исторический факт, которого нельзя вытравить из истории России, но который наше поколение обязано осмыслить до конца; осмыслить и сделать из него **волевые выводы** для будущего...

Этот неоспоримый исторический факт есть сам по себе **приговор**. Совсем не потому, что простой народ будто бы "всегда и во всем прав", или - что дело интеллигенции только прислушиваться к его желаниям и угождать ему; все это лживые и льстивые, растленные слова, извращающие дело в самом корне; но потому, что задача интеллигенции состоит именно в том, чтобы **вести** свой народ за

национальной идеей и к государственной цели; и образованный слой, неспособный к этому, всегда будет исторически приговорен и свергнут. Но при этом интеллигенция не смеет слагать с себя вину и возлагать ее на простой народ. Ибо если народ "темен" - то это не его "вина", это творческая, но еще не разрешенная задача национальной интеллигенции; и если в народе живут и вскипают дурные страсти, то к облагорожению и направлению их и призван национальный образованный слой. Воспитатель, жалующийся на своего воспитанника, должен начать с самого себя; да и не русскому интеллигенту, хотя бы в раздражении и растерянности, поносить добрую, терпеливую и даровитую душу русского простого человека...

Если масса простого русского народа пошла не за своим национальным образованным слоем, а за чужеродными, интернациональными авантюристами, то причину этого русская интеллигенция должна искать прежде всего **в себе самой**. Это значит, что **она** не была на высоте и не справилась со своей задачей. Пусть левые и правые партии взаимно обвиняют теперь друг друга; пусть они спорят о том, кто погубил больного - эконом-управитель, заставлявший его перенапрягаться в работе при дурном питании, или недоучка-фельдшер, отравлявший его ядами и заражавший его бактериями. Нам, ищущим правды и верных решений для будущего, надо установить, что **обе** стороны шли по ложным путям, **обе** вели к гибели; и что впредь необходимо делать обратное в **обоих** отношениях.

Русская интеллигенция не справилась со своей задачей и довела дело до революции потому, что она была **беспочвенна и лишена государственного смысла и воли**.

Эта беспочвенность была одновременно и **социальною**, и **духовною**: интеллигенция не имела здоровых и глубоких корней в русской народной толще, но она не имела их потому, что ей **нечего было сказать** русскому простонародью, такого, что могло бы зажечь его сердце, увлечь его волю, озарить и покорить его разум. Русская интеллигенция в своей основной массе была религиозно мертва, национально-патриотически холодна и государственно безыдейна. Ее "просвещенный" рассудок, вольтериански опустошавшийся и материалистически отравлявшийся в течение нескольких поколений, тянул к отвлеченному доктринерству и отвращался от религии; он разучился видеть Бога, он не умел находить Божественное в мире и именно потому он **перестал видеть Божественное в своей родине, в России**. Россия стала для русской интеллигенции нагромождением случайностей, народов и войн; она перестала быть для нее историческою **национальною молитвою**, или **живым домом Божиим**. Отсюда это угасание национального самочувствия, эта патриотическая холодность, это извращение и оскудение государственного чувства и все связанные с этим последствия - интернационализм, социализм, революционность и пораженчество. **Русская интеллигенция перестала верить в Россию**; она перестала видеть Россию в Божием луче, Россию, мученически

выстрадававшую свою духовную самобытность; она перестала слышать священные глаголы России, ее священное пение в веках. Россия перестала быть для нее религиозною проблемою, **религиозно-волевым заданием**. Кого же она могла воспитывать и куда она могла вести? Утратив веру и Бога, она утратила **священный смысл своей родины**, а вместе с тем и самую родину в ее истинном и великом значении; от этого ее государственное разумение стало пустым, плоским и безыдейным. Она утратила **религиозный смысл государственного строительства** и тем в корне извратила свое правосознание. Ее душа стала духовно **беспочвеною**.

Но именно отсюда возникло ее беспочвенное положение в пределах ее собственного народа.

От Бога и от природы русский народ одарен глубоким религиозным чувством и могучим политическим инстинктом. Богатства его духовных недр могут сравниться только с богатствами его внешней природы. Но эти духовные богатства его остаются подспудными, нераскрытыми, как бы неподнятою и незасеянною целиною. На протяжении веков Русь творилась и строилась **инстинктом**, во всей его бессознательности, неформленности и, главное, удобосовратимости. Страсть, незакрепленная силою характера, всегда способна всколыхнуться, замутиться, соблазниться и рвануться на ложные пути. И спасти ее только и может, по глубокому слову Патриарха Гермогена, "неподвижное стояние" в правде народных вождей.

Русский народ, по заряду данных ему страстей и талантов и по неукрепленности своего характера, всегда нуждался в сильных и верных вождах, религиозно почвенных, зорких и авторитетных. Эту особенность свою он сам всегда смутно чужал и потому всегда искал себе сильных вождей, верил им, обожал их и гордился ими. В нем всегда жила потребность найти себе опору, предел, форму и успокоение в **сильной и благой воле** призванного к власти повелителя. Он всегда ценил сильную и твердую власть; он никогда не осуждал ее за строгость и требовательность; он всегда умел прощать ей **все**, если здоровая глубина политического инстинкта подсказывала ему, что за этими грозами стоит сильная патриотическая воля, что за этими суровыми понуждениями скрывается большая национально-государственная идея, что эти непосильные подати и сборы вызваны всенародною бедою или нуждою. **Нет** пределов самопожертвваемости и выносливости русского человека, если он чувствует, что его ведет сильная и вдохновенная патриотическая воля; и обратно - он никогда не шел и никогда не пойдет за безволием и пустословием, даже до презрения, до соблазна шарахнуть под власть волевого авантюриста.

Русская предреволюционная интеллигенция не имела за душою того, что могло пробудить и повести за собою этот здоровый государственный инстинкт простого народа. Лишенная в самой себе **духовной почвы**, она не могла приобрести и **общественно-полити-**

ческой почвы в массах; оторвавшаяся от Бога, разучившаяся строить и поддерживать монархическое правосознание, применившаяся к классовым интересам и утратившая от этого национально-государственный смысл, - она **не имела великой национальной идеи**, способной зажигать сердца, заряжать волю и покорять умы; она не умела верно стоять, бодро идти и крепко вести; она **утратила доступ к святилищу народной совести и народного патриотизма**; и, суетясь на "политической" поверхности, она была способна только подрывать веру народа в спасительность монархии, правопорядка и частной собственности. Перед революцией у нас не было интеллигенции, способной к волевому воспитанию народа; у нас были только "обучавшие учителя", снабжавшие учеников "сведениями"; и наряду с этим - демагоги слева, успешно мобилизовавшие вокруг себя чернь для переворота, и демагоги справа, не умевшие сделать даже и этого.

То, что интеллигенция говорила простому народу, будило в нем не совесть, а бессовестность; не патриотическое единение, а дух раздора; не правосознание, а дух произвола; не чувство долга, а чувство жадности. И могло ли быть иначе, когда у интеллигенции не было **религиозного восприятия родины**, не было **национальной идеи**, не было **государственного смысла и воли**. Ключ к глубокому и здоровому инстинкту русского простого народа, ключ к его **живому духу** - был потерян; а доступ к его низким, жадным и свирепым влечениям был открыт и легок.

Так случилось это, что **инстинкт национального самосохранения** иссяк в русской интеллигенции и потому она оказалась неспособною будить инстинкт национального самосохранения в русских массах и вести их за собою. Русский образованный слой глотал европейскую культуру, **не проверяя ее выдумки и "открытия"** - ни глубиною **религиозной, христианской совести**, ни глубиною **национального инстинкта самосохранения**. Умственные химеры и противоестественные утопии Запада пленяли его **беспочвенную** душу, не сдержанную спасительным внутренним упором здорового инстинкта, этого великого учителя в вопросах **жизненного реализма и политической целесообразности**; а слепое доверие к рассудку и освободившийся в безрелигиозной душе запас фанатизма - превращали эти утопии и химеры в какое-то **противоестественное и безбожное "евангелие"** для массы. И весь этот блуд и бред нуждался только в воле, чтобы возникла волевая одержимость большевистской революции.

В таком состоянии русская интеллигенция **не могла вести русское дело, не могла строить Россию**.

Потеряв живое отношение к Богу, она исказила свое понимание христианства, сведя все к животной сентиментальности, к социализму и отрицанию национального начала. Этим она потеряла орган для русского дела, ибо **русское дело есть сразу дело религиозное, национальное и государственное**; и тот, кто упускает хотя бы одну из этих сторон, тот упускает все сразу.

Вместе с тем, следуя рассудку, материализму и западным теориям, она извратила свое понимание **человеческой природы и народной жизни**. Она как бы ослепла и оглохла для того, что говорит голос **инстинкта**, голос органической **целесообразности**, голос **духа**, голос **личности**, голос **национальности**. Все распалось для нее на механические составные части и на механические законы. Тайна живого, органического **единения и творчества** ушла от нее, стала ей недоступна: народ распался для нее на своекорыстные "атомы" и "классы", на "угнетателей" и "угнетенных"; и смысл великой, национальной, органической и духовной совокупности, строившей себя в веках и именуемой **Россией** - стал для нее мертвым звуком...

Так случилось это, что русская интеллигенция инстинктом и разумением своим **отделилась** от русского простого народа и сознательно **противопоставила** себя ему. Она перестала чувствовать его - **своим народом**, а себя - **его интеллигенцией**. Она перестала ощущать свое единое с ним национальное **мы**; она разучилась видеть в себе национально-волевой орган единого русского народа, призванный воспитывать и обязанный вести; она сама себя измерила и оценила плоским мерилom социалистической морали и, измерив, осудила; она уверовала в **физический труд** и потеряла веру в святыню **духовного творчества**; и, почувствовав свою мнимую "вину" перед простым народом, пошла "вещать" ему трупную "мудрость" безбожия и социализма. Она понесла ему начала духовного тлена и разложения, религию раздора и мести, химеру равенства и социализма. И весь этот бред и блуд ждал только сильной воли для того, чтобы большевистская революция завладела страной...

Сущность русской революции состоит в том, что **русская интеллигенция выдала свой народ на духовное растление, а народ выдал свою интеллигенцию на поругание и растерзание**. И конец революции придет тогда, когда русская интеллигенция и русский народ **возродят в себе верную глубину религиозно-национального инстинкта и воссоединятся**: когда интеллигенция докажет, что она не только не изменила волею **национальной идее**, но что она **умеет умирать** за нее и за **национальную власть**; а народ убедится в том, что интеллигенция **необходима** ему именно как **носительница национальной идеи**, как **строительница здоровой и великой национальной государственности**.

Видим и верим, что час этот близится. Верим и знаем, что кончены духовные блуждания русской интеллигенции; что ей предстоят впереди волевые свершения и духовные достижения: ибо великий народ велик прежде всего в своих вождях и творцах. В **беззаветной любви к национальной России** найдут друг друга русские люди; по этой любви они узнают друг друга и восстановят свое доверие и единство...

Кризис интеллекта и миссия интеллигенции

Положение в мире интеллекта и его представителей, интеллигенции*, делается все более и более тяжелым и угрожающим. Независимость мысли, свобода духовного творчества отрицаются могущественными движениями нашей эпохи. Современные поколения и их вожди не признают руководящего значения интеллекта и мысли. В этом век наш радикально отличается от века XIX и XVIII. Представители мысли, творцы духовной культуры должны выполнять заказы жизненного процесса, служить социальным интересам и воле к могуществу. Ставится вопрос о судьбе не интеллекта только, но и духа. Я не хочу сейчас вкладывать специально религиозный смысл в слово дух. Но все сойдется на некоторых признаках духа. Дух есть свобода, творческая активность, смысл, интеллект, ценность, качество и независимость, прежде всего независимость от внешнего мира, природного и социального. Духовное начало в человеке означает определяемость изнутри в отличие от того состава человеческой природы, который определяется извне. Как существо духовное, человек есть существо активное, творческое, свободное. Духовная жизнь принципиально отличается от жизни общественной, она не детерминирована социальной средой, она имеет другие источники, она изнутри черпает свои духовные силы. Это соответствует евангельскому различению царства Божьего и царства Кесаря. Дух вкоренен в царстве Божьем, в этом его свобода, общество же, претендующее повелевать духом и требующее от него поклонения, есть царство кесаря. Это есть вечный дуализм, который вполне преодолен может быть лишь конечным преобразованием мира. Этот дуализм и защищает свободу духа, свободу мысли, свободу творчества. Он противостоит всякому конформизму. Диктатура над духом невозможна, она означает угашение и истребление духа. Сейчас происходит восстание против духа, против качества духа, свободы духа со стороны воли к жизни, воли к могуществу, воли к организации, и это восстание сопровождается идеализацией инстинктов и интересов, которые поставлены выше ценностей.

Во все времена существовал в мире конфликт между качеством и количеством, между созерцанием и действием. Но конфликт этот достиг небывалой остроты в нашу эпоху. Чем это объясняется? Мы вступаем в эпоху активного вторжения и господства масс в историю. Такие эпохи уже бывали. Такова была эпоха цезаризма. Аристократизм греко-римской культуры был опрокинут. Господство масс обыкновенно создает диктатуры, выдвигает своих вождей, дает преобладание солдатчине, которая и ставила римских и византий-

* Слово интеллигенция я здесь употребляю скорее в западном смысле *intellectuels*, чем в специфически русском смысле.

ских императоров. При этом обычно создается связанный социальный строй. Так было в эпоху Диоклетиана. Вся сложность нашей эпохи и вся трудность оценок в ней со стороны интеллигенции в том, что экономические требования масс совершенно справедливы и оправданны. Справедливы и оправданы также требования масс, чтобы цивилизация принадлежала и им. В отношении к этим задачам недопустимо равнодушие со стороны мыслителя, писателя, артиста. Социальная справедливость есть духовное начало. Но в первые стадии процесса вторжения масс неотвратимо понижается принцип качества, опрокидывается аристократизм культуры, происходит посягательство на свободу творчества. Интеллект аристократичен, требует качества, возвышения к совершенству. Свобода аристократична в противоположность распространенному мнению. Массы мало дорожат свободой. Вторжение масс со своими требованиями происходит в момент ослабления и падения древних религиозных верований, умаления духовности в мире. Массам, не приобщенным к благам и ценностям культуры, трудна культура в благородном смысле слова, и сравнительно легка техника. Было замечено, что варвар и человек культурный одинаково могут пользоваться телефоном и военными орудиями истребления. Технические результаты науки нужны для организации жизни, для реализации воли к могуществу. Массы плохо понимают тот интеллектуальный иерархизм, в силу которого самое низшее в технических результатах знание зависит от самого высшего в бескорыстном знании. Побеждает принцип количества. До мировой войны мир был относительно устойчив, общества напоминали твердые тела. Против этого старого мира, в котором было много несправедливости и неправды, восставали, стремились к революции, но все же на нем базировались и им питались. Сейчас мир пришел в жидкое состояние, в обществах нет больше твердых тел, всякое органическое единство нарушено, и жизнь в этом мире становится все более и более трудной и необеспеченной. Массы молодежи требуют во что бы то ни стало быстрой организации обществ, единства, хотя бы принудительного, чтобы не погибнуть в окончательной анархии. Современные диктатуры, деспотические тоталитарные режимы лишь обратная сторона анархического состояния мира. Так всегда бывает. Единство мирозерцания, которого требуют тоталитарные, диктаториальные режимы, рождается не изнутри, не из единства глубоких верований, оно предписывается сверху и извне, декретируется государственной властью. При этом свобода мысли, свобода творчества совершенно отрицается. Интеллектуальное созерцание, бескорыстное знание и творчество представляются помехой для организации жизни, для достижения единства. Восстание силы жизни, нарастание воли к силе совсем не есть в нашу эпоху выражение творческого избытка жизни, оно есть порождение несчастья, порождение слабости. Вкус современной молодежи к насилию есть выражение духовной слабости. **Акт насилия есть жест слабости.** Сравнение нашей эпохи со средневековьем очень неблагоприятно для нее.

Тогда было реальное единство, созданное глубокими верованиями, теперь его нет, его создают диктатуры а нос*. Поэтому свободы мысли в средние века было больше, чем в современных тоталитарных режимах. Вспомним, сколько было в средние века философских, богословских, мистических школ. Тогда существовал аристократизм интеллекта.

В эпоху глубоких социальных переустройств, когда старые общества рушатся, а новые еще не созданы, духовные ценности отступают на второй план, и их творцы утесняются. Человек есть ущербное существо, которое с трудом вмещает полноту и живет реакциями. Революция психологически есть также реакция, она сопровождается сужением сознания, вытеснением многих творческих стремлений и ценностей. То, что в иерархии ценностей стоит выше всего, может казаться ненужным и даже вредным. Могут потребовать подчинения ценностей высшего порядка ценностям низшего порядка.

От духа могут потребовать, чтобы он был слугой материальных интересов и потребностей. Движения социально революционные могут оказаться духовно реакционными. Монизм в понимании исторического процесса не выдерживает критики. Никакие процессы не могут обойтись без услуг интеллекта. Но интеллект может быть обращен в простое средство для организующегося витального процесса. Дух рассматривается как эпифеномен. На этой почве происходит острый конфликт подлинного призвания служителей духа с требованиями, им предъявленными. Но вопрос о том, кто виноват, сложнее, чем обыкновенно думают. Есть вина, лежащая на культурной элите. Русская культурная элита виновата в катастрофе русской духовной культуры. Есть ужасный эгоизм культурной элиты, ее изоляция, ее презрение к жизненным нуждам человеческих масс. Индивидуализм *intellectuels*, который нарастал с эпохи Ренессанса, совсем не всегда означал защиту духовной независимости и свободы творчества. Он означал также нравственный и социальный индифферентизм, отсутствие сознания своей миссии. Идея служения высшей цели преобразования жизни померкла в сознании творцов духовной культуры. Ошибочно противопоставлять свободу служению. Великие писатели и артисты имели это сознание служения. Подлинные *intellectuels* – представители духа, т.е. свободы, смысла, ценности, качества, а не государства, не социального класса и социальных интересов. Представитель духа, творец духовной культуры имеет профетическую миссию. Профетизм существует не только в религиозной жизни. Древнееврейские пророки – прототипы профетизма, но он существует и в философии, в литературе, в искусстве, в социальной жизни. Этот профетический элемент был у Данте, Микеланджело, Бетховена, Карлейля, Ницше, Ибсена, Киркегарда, Л.Толстого, Достоевского. Человек профетического типа слушает не голос, идущий извне, не голос общества и народа, а ис-

*Для данного случая (лат.). – Ред.

ключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к судьбе народа, общества, человечества. Пророк одинок, он находится в конфликте с коллективом, религиозным или социальным, он побивается камнями, он считается "врагом народа", но он социален, он говорит слово правды народу, обществу, он прозревает судьбы человечества. Быть может, более всего мы нуждаемся в пробуждении пророческого духа. Это дух свободы и независимости, несогласия ни на какой конформизм и вместе с тем сознание служения сверхличной цели. Представитель духа несогласен определяться обществом и государством, он определяется изнутри.

Нужно решительно различать социальное призвание от социального заказа, выражения, употребляемого в Советской России. *Intellectuel*, мыслитель, писатель, артист имеет социальное призвание, он не может оставаться равнодушным к тому, что происходит в социальном мире. Все социальное глубоко связано, положительно или отрицательно, с духовным и отображает совершающееся в духовной действительности. Но *intellectuels* ни в коем случае не должны исполнять социального заказа, это было бы отречением от свободы духа. Социальное призвание идет изнутри, оно свободно, социальный же заказ идет извне, он означает принуждение. Правда, в искусствах пластических артисты всегда получали заказы от князей мира сего сделать тот или иной портрет, статую, украсить дворец. Но искусство их оставалось свободно, так как мало зависит от сюжета. Сейчас положение более трудно и для представителей пластических искусств, посягательства на них идут дальше. Но положение писателей всегда было иное. Писатели, по крайней мере более значительные писатели, имеют несчастье дорожить теми или иными идеями и верованиями. И это делает конфликты неизбежными. *Intellectuels* принуждены бороться за свою свободу. Тоталитарное государство двояко действует на творцов духовной культуры. Оно или подкупает *intellectuels*, сулит им все блага, требует от них послушного исполнения социальных заказов, или преследует их и делает их мучениками. Ставится вечный вопрос о конформизме. Одни идут на конформизм, приспособляются, соглашаются на отказ от свободы мысли и творчества, другие от конформизма отказываются и попадают в очень тяжелое положение. Трудность вопроса в том, что независимость интеллекта, свобода духа не могут и не должны быть защищаемы через сохранение социальной несправедливости. В режиме либеральном *intellectuels* более свободны, они не подвергались прямому насилию (косвенному насилию через деньги они подвергаются), они могли лавировать, но режим этот был социально несправедливым, он связан с капитализмом, с господством классов богатых, обладающих всеми материальными орудиями. Несправедливость эта связана не с самим принципом свободы, а с недостатком свободы, с тем, что свобода была лживой, существовала не для всех, а лишь для немногих. Связать интеллектуальную и духовную свободу с защитой социальной несправедливости было бы роковой ошибкой. Это как раз

и вызывает подозрительное отношение к интеллигенции со стороны социальных движений нашей эпохи, особенно со стороны марксистов. Если эти подозрения и обвинения часто бывают чудовищно несправедливы, иногда сознательно лживы, то повод для них все-таки существует, его дает эгоизм, изоляция, социальное равнодушие части культурной элиты и даже значительной части. Между тем как борьба за свободу и антиконформизм *intellectuels*, творцов духовной культуры должна быть связана не с социальным равнодушием и потаканием социальной несправедливости, а со свободно выполняемым социальным призванием. Люди духа и интеллекта должны сознавать свою независимость и свободу, свою определяемость изнутри, но и свою социальную миссию, свою призванность служить делу справедливости путем своей мысли и творчества. Будущее человечества зависит от того, будут ли соединены в мире движение духовное и движение социальное, будет ли связано создание более справедливых и более человеческих обществ с защитой духовных ценностей, с духовной свободой, с достоинством человека, как духовного существа. Самый интеллект не может быть защищен, если он взят отвлеченно и противопоставлен целостной жизни, как разум исключительно теоретический; он может быть защищен исключительно как органическая часть целостной жизни, или часть творящего духа.

1938 г.

Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции

Свою борьбу против демократическо-социалистического правительства Керенского большевики выиграли под красным знаменем научного марксизма, с молитвенником Коммунистического Манифеста в руках. Отсюда получилась необходимость старого марксистского объяснения их победы. Большевики неплохо справились с этой задачей. Им удалось убедить не только образованных читателей Западной Европы, но и многих известных западноевропейских ученых в том, что Октябрьскую революцию следует считать восстанием бесправных пролетарских масс против властолюбивой буржуазии.

Правильность подобного толкования требует проверки. Прежде всего необходимо помнить, что генеральная репетиция Октябрьской революции произошла еще в 1905 году, что уже тогда были организованы Советы рабочих депутатов. Этот факт неоспоримо доказывает, что большевики уже Россию 1905 года рассматривали как раздираемый классовой борьбой буржуазно-капиталистический строй.

На первый взгляд может показаться, что такого мнения придерживались оба основателя большевистской партии и влиятельнейшие теоретики марксизма - Георгий Плеханов (1857-1918) и Владимир Ленин (1870-1924). При ближайшем рассмотрении становится, однако, очевидным, что ни Плеханов, ни Ленин не считали дореволюционную Россию страной, созревшей для пролетарской революции. Если в их сочинениях это не сразу бросается в глаза, то лишь потому, что они даже свои научные труды всегда писали, как партийные идеологи и революционные вожди, что до некоторой степени оправдывается требованием Маркса, чтобы познание мира было бы его изменением: "Die Welt erkennen heisst sie verändern"*.

Придерживавшийся первоначально народнического взгляда, Плеханов утверждал, что России не нужно повторять политического развития Запада, так как крестьянская община содержит в себе все элементы, необходимые для немедленного превращения монархии в социалистическое государство. В 1884 году он отошел от своих прежних единомышленников и быстро превратился в передового идеолога русской социал-демократии. При определении экономического и социального положения России решающим было для него то, что капитализм в России находится в младенческом возрасте. Но он нисколько не сомневался, что дитя быстро вырастет и что его рост неизбежно подорвет старую Россию, что, поступив в

*Познание мира означает его изменение (нем.). - Ред.

школу капитализма, она быстро доведет свое образование до конца. Как самая молодая капиталистическая держава она тотчас же создаст у себя классовый антагонизм и не замедлит всей мощью своего авторитета занять ведущее место в западноевропейской революции.

Во всех своих надеждах Плеханов потерпел полное разочарование. Русская революция не захотела ждать, пока в России созреет капитализм, который оправдал бы ее присоединение к социалистической революции Запада. Напротив, она сама сделала первый шаг, надеясь, что Европа за нею последует. При таких обстоятельствах Плеханову, как последовательному научному марксисту, не оставалось ничего иного, как оспаривать порожденную компромиссом между народничеством и марксизмом революционную тактику Ленина, как необоснованную политическую импровизацию без прочного экономического фундамента. Плеханов считал, что Россия созрела еще только для гражданской революции. Это "еретическое мнение", которое он защищал на страницах своей газеты "Единство", принесло главе научного марксизма не только издевательство большевистской партии, но и год ареста, что ему впоследствии, правда, постарались возместить торжественными государственными похоронами.

Из всего сказанного следует, что Плеханова никак нельзя считать сторонником взгляда, будто бы Октябрьская революция была восстанием пролетарских масс против буржуазии. Так же обстоит дело и с экономически-социологическими взглядами Ленина. В его знаменитом труде "Развитие капитализма в России" (1899) имеется схожее с Плеханову утверждение, что Россия в конце XIX века находилась все еще в первой стадии капиталистического развития. Да как оно могло быть иначе, если в ней, согласно Ленину, в 1897 году, т.е. лишь за восемь лет до "пролетарской революции" 1905 года 80 процентов русского населения состояло из крестьян. Если предположить, что остальные сословия - дворянство, духовенство, свободные профессии, купечество - составляли половину остающихся 20 процентов, то на долю пролетариата остается максимум 10 процентов. В своей книге Ленин странным образом вычислил иначе, повысив число пролетариата до 61 процента. Этот статистический расчет удался ему лишь потому, что он для своих целей теоретически расслоил крестьянство, причислив богатых к буржуазии, а бедных к пролетариату. Подобный статистически-социологический прием политика Ленина едва ли можно оправдать научно, так как разница - богатый и бедный - имеется в каждом сословии. Бедноты было много не только среди недавно раскрепощенных крестьян, но и среди помещиков, лишенных реформой Александра II дарового крестьянского труда. Случалось, что неработоспособные помещики разорялись дотла, но пролетариями от этого они не становились. Не становились ими и обнищавшие крестьяне, так как и в нищете они оставались людьми, воспитанными церковью, древними обычаями и постоянным хозяйственным общением с природой и животными.

Марксисты это очень хорошо понимали, отсюда и их истонное презрение к крестьянству, обогатившему творчество Достоевского, Толстого, Лескова и многих других русских писателей самыми значительными образами. Плеханов отрицал крестьянство как "тупой консервативный, приверженный царизму класс". В воспоминаниях марксиста Суханова мы встречаемся с мнением, что для революции было бы лучше, если бы крестьяне не участвовали в ней, а разорив помещичьи имения, спокойно и удовлетворенно вернулись бы к "идиотизму своего крестьянского жития". В сочинениях Горького, многолетнего партийного товарища Ленина, явственно звучит пренебрежение к крестьянству.

Трудно себе представить, чтобы Ленин не отдавал себе отчета в сомнительности своей статистики и трудности переделки крестьян в пролетариев. То, что он этими трудностями пренебрег, объясняется его уверенностью в том, что время для западноевропейской революции созрело и что Россия в ближайшее время должна будет прийти ей на помощь. Я думаю, что логика ленинской революционной тактики в значительной степени определялась тем, что он считал себя вождем прежде всего западноевропейского пролетариата.

В русской литературе уже нередко указывалось на то, что антимарксистское решение Ленина начать пролетарскую революцию в крестьянской России получило свое благословение непосредственно от Маркса и Энгельса. Это благословение приверженцы Ленина усматривали в ответе, данном обоими основателями научного марксизма на вопрос русской террористки Веры Засулич. Вера Засулич хотела знать, правильно ли готовить в России социалистическую революцию на основах общинной собственности, или же следует ждать дальнейшего развития капиталистической формы хозяйства. В своем ответе, напечатанном в предисловии к переводу "Коммунистического Манифеста", Маркс писал: "Если русская революция послужит сигналом для рабочего движения на Западе, так что оба движения объединятся, то крестьянско-земельная община может послужить исходной точкой для коммунистического развития России". Этими осторожными и слегка скептическими словами оправдывалась в лучшем случае попытка Ленина поджечь в Петербурге проложенный через всю Европу запальный шнур, но никак не разжигание коммунистической революции в России. "Сигналом" для Запада октябрьское восстание не стало, после чего, согласно Марксу - Ленину, должно было бы последовать отступление на позиции буржуазной революции. На столь радикальное отступление Ленин не решился, но в качестве временной полумеры все же декретировал новую экономическую политику. Возможно, что, если бы он остался жив, это временное отступление послужило бы началом приближения к плехановским позициям. При Сталине это стало совершенно невозможным. Железной рукой загнал он крестьян в колхозы, где они, перестав быть крестьянами, преврати-

лись не в пролетариев, а в крепостных автократически управляемого государственного хозяйства.

Все, что до сих пор было сказано о революционно-социалистических воззрениях Плеханова и Ленина, достаточно убеждает в том, что даже этим главным теоретикам марксизма Октябрьская революция никак не представлялась пролетарским восстанием против буржуазии. Да и как бы это было возможно, если в России в социологически точном смысле этих терминов никогда не существовало ни буржуазии, ни пролетариата. Max Weber, Werner Sombart, Götz Briefs, Grotheusen, как и ряд других ученых, давно уже выяснили, что буржуазия является поздним и весьма сложным результатом западноевропейского исторического развития. Образованию ее содействовали античное естественное право, *jus gentium** римских юристов, индивидуализм Возрождения, учение кальвинизма о предопределении и, наконец, вера в свободу и величие человека, зародившаяся в Англии накануне Великой французской революции, и многое другое. Все эти предпосылки совершенно отсутствовали в русской истории. Россия мало что унаследовала от Рима, она не пережила ни Возрождения, ни реформации, ни просветительской французской революции, создавшей современное понятие общества и вложившей государственную власть в руки среднего сословия.

Понятие "среднего сословия" наталкивает нас на дальнейшую, крайне существенную проблему русской социологии. Понятие "среднего сословия" или среднего класса русскому уху непривычно, потому что до освобождения крестьян и иных либеральных реформ Александра II Россия была страной социальных крайностей, не знающей социальной середины. Процесс образования этой середины начинается лишь в пореформенной России, когда стало возможным мечтать о политической демократии. Начавшееся зарождение третье-сословной буржуазии встретило мало сочувствия и много трудностей, что прежде всего объясняется тем, что ему надлежало объединить в себе не только весьма разные, но и совершенно разнородные слои дореформенной России. В чуждом им поначалу мире торговли и промышленности искали спасения, с одной стороны, дети и внуки разоренных крестьянской реформой дворян, с другой - потомки бывших крепостных, которые, получив землю, были лишены возможности ее доходной обработки. Многие в русской революции объясняется тем, что среднесословный буржуа появился в России как чужеродный элемент, который под враждебными взглядами разоряющегося дворянства и экономически нестроенного мужика должен был создавать свой собственный мир.

В воспоминаниях графа Витте, одного из значительнейших русских политиков XX столетия, имеется интересное доказательство того, что в России еще не существовало классово-сознательной буржуазии. Назначенный, несмотря на протесты дворян-помещиков, считавших его односторонним защитником финансового капи-

* Гибкий закон (лат.). - Ред.

тала, в 1892 году на пост министра финансов, граф Витте принялся создавать класс буржуазии, недостающий ему для проведения в жизнь намеченных планов. В 1903 году он писал русскому биржевому комитету: "Постарайтесь чаще встречаться. Создайте собственный орган печати. Попытайтесь оказать влияние на общественное мнение. Заведите постоянную канцелярию или иное учреждение, которым вы будете спаяны между собой. Если вы сумеете достаточно убедительно представить ваши доводы правительству, вы быстро добьетесь удовлетворения ваших желаний".

Эта министерская инструкция, пытающаяся объединить в классово-сознательное сословие владельцев торговых фирм и собственников-промышленников, может служить явным доказательством того, что за два года до революции 1905 года, когда пролетариат "впервые осмелился восстать против буржуазии", таковой, в подлинном значении этого слова, в России еще не существовало. С правильностью подобного утверждения соглашается даже Гитерман в своей "Истории России", явно склонный к оправданию коммунистической революции. В ряде факторов, задержавших развитие капитализма в России, Гитерман упоминает и "отсутствие классово-сознательной буржуазии".

Дальнейшую весьма существенную причину медленной консолидации предпринимателей в классово-сознательную буржуазию следует искать в том, что резкая марксистская критика капиталистического мира стала известна в России задолго до того, как капитализм получил возможность проникнуть в нее. Опубликованный Марксом в 1848 году "Коммунистический Манифест" был уже в 1860 году, т.е. за год до освобождения крестьян, переведен Бакуниным на русский язык и издан лондонской типографией Герцена. В 1872 году первый том "Капитала" появился в Петербурге. Благодаря этому интересу к Карлу Марксу, которого передовые русские революционеры в Лондоне знали лично, идеи либерализма и свободной торговли попали в Россию уже критически разложенными и опорооченными, что, конечно, не могло не повредить их развитию.

Аналогично обстоит дело и с пролетариатом. Уже попытка Ленина создать нужный для революции пролетариат, по рецепту Петра Верховенского, из крестьянской среды говорит за то, что классово-сознательного пролетариата в России не было. Быстрый рост индустриализации России и связанное с этим увеличение на фабриках числа сезонных рабочих из крестьян, несомненно, сближало последних с рабочими и горожанами. Но настоящими пролетариями эти, только что брошенные в закипающий котел капитализма крестьяне все же не становились. Этому препятствовала, как уже было сказано, их особая крестьянская статья.

Что русские рабочие не были пролетариями, совсем не значит, что они не были революционерами. Сквозь всю историю России, нередко соприкасаясь с темой разбойничества, красной нитью проходит тема крестьянских восстаний. Всегда и все преувеличивав-

ший Бакунин, утверждал, что единственно подлинный революционер в России - это разбойник. Что это не так, доказывать не будем; в революционной борьбе было и небольшое число самых настоящих, выкованных марксизмом, воспитанных подпольной работой в социал-демократической партии стойких революционеров. Вопрос только в том, как социологически рассматривать эту рабочую элиту: как авангард русского пролетариата, или как резерв русской революционной интеллигенции, как защитников рабочих интересов, или как провозвестников социальных идей.

В качестве главного свидетеля правильности того мнения, что в России незадолго до наших дней никакой буржуазии не существовало, можно сослаться на русскую литературу, которая больше всех остальных занималась социальными вопросами. Она полна описаний быстро разоряющихся дворянских поместий, запущенных садов и парков, поросших тиной прудов, печали и раздумья (Тургенев), веры и неверия русского духовенства (Лесков), крестьянской нужды (от Радищева до Чехова), но описаний буржуазии и пролетариата в ней нет. Островский изображал в своих пьесах русское купечество с его жадной наживы, безудержностью, фарисейской моралью, с его борьбой за старую Россию или за ее европеизацию, но анализа классовой борьбы у него не найти. Белинский называл мир Островского "темным царством", но "мраком Средневековья" европейская буржуазия никогда не страдала. Все ее ошибки были результатом ее веры в просвещение и прогресс.

Как буржуазия, так и пролетариат не нашел себе ни толкователя, ни певца. Часто высказываемое мнение, что Горький был таковым, ошибочно. Его босяки и бродяги едва ли имеют что-либо общее с западноевропейским пролетариатом уже потому, что пролетарии целый день работают на заводах, в то время как бродяги Горького целыми ночами философствуют у разложенных костров. Что касается их мировоззрения, то они, подобно своему творцу, скорее анархисты-индивидуалисты, чем социалисты. В афористике их речей слышится скорее поэтическое слово Ницше, чем научное - Карла Маркса. Если ближе присмотреться, то почти все они родом из гнезда атеистических богоискателей Достоевского. Представить их себе действительными членами социалистического интернационала - совершенно невозможно.

Но если не пролетариат, то кто же осуществил русскую революцию? Правильен только один ответ: революционная интеллигенция, рожденная духом петровских преобразований. До победы над Наполеоном она представляла собою весьма тонкий слой образованных людей. И лишь после реформ Александра II она начинает вырастать в политически активную силу. Александр Герцен как-то сказал, что отношение славянофилов к западникам напоминает голову Януса: профили обращены в противоположные стороны, но сердце бьется единою мечтою об освобождении крестьян. Этого освобождения славянофилы ждали от царя, западники - от революции. Александр II опередил революционеров, но его реформа не

удовлетворила радикальные круги: они решили, что она была осуществлена скорее в интересах помещиков, чем крестьян, и ответили на нее убийством Александра II. Это убийство послужило началом той западнически-интеллигентской революции, последним словом которой оказался большевизм.

Что же, однако, представляет собою интеллигенция в социологически точном понимании этого слова? Интеллигентный человек и интеллигент для русского уха отнюдь не одно и то же. Не каждого, даже весьма образованного ученого и великого художника, отнесем мы к интеллигенции. Мережковский очень правильно указал на то, что Достоевский, так беспощадно описавший интеллигенцию в "Бесах", все же интеллигент, а Толстой - нет. Причина в том, что в жизни и творчестве Достоевского чувствуется страстная заинтересованность в вопросах социальной жизни; не случайно же примкнул он в молодости к кружку Петрашевского и был приговорен к смертной казни. Несомненно, и Толстой всю жизнь мучился вопросами социальной правды. Но его муки не носили характера общественного интереса, а были скорее личной этически-религиозной проблемой. Наркомпрос Луначарский по поводу столетия со дня рождения Толстого правильно указал на то, что Толстого следует чувствовать как критика и предателя своего класса, но не как подготовителя, и тем более не как попутчика революции.

По мнению Г.П.Федотова, нельзя причислять к интеллигенции и консервативного богослова Хомякова, хотя он в своем известном стихотворении и говорил о черной неправде русских судов и клейме рабства на челе России. Нельзя считать интеллигентами как мистика Гоголя, так и антидемократа-византийца Леонтьева. Все эти, исключительно интеллигентные и значительные люди не принадлежат к интеллигенции в русском значении этого слова. Но к ней относится, несмотря на свои христианские воззрения, Владимир Соловьев. Его публичная лекция, закончившаяся требованием помилования убийц Александра II, его критика социальной пассивности русского православия, его блестящая полемика против клерикального национализма второго поколения славянофилов дают ему на это бесспорное право. Несмотря на свой агрессивный католицизм, к интеллигенции относится и историософ Чаадаев, благодаря своим резким нападкам на русскую историю за ее враждебное отношение к Европе.

Из приведенных примеров ясно, что интеллигентом является, таким образом, каждый, кто жертвенно борется за превращение монархии в правовое государство, независимо от степени своего образования. В различных интеллигентских организациях можно было встретить оппозиционных профессоров, радикальных адвокатов, офицеров, земских врачей, журналистов и большое количество студентов, осмивавших консервативного профессора при его появлении в аудитории, а также наборщиков либеральных газет, которых и за десять рублей месячной прибавки нельзя было сманить на работу в реакционных издательствах.

Своеобразный облик революционной интеллигенции социологически трудно определим. Было бы явно неправильно понимать ее как сословие или класс, так как типичным для нее свойством всегда было объединение в себе людей всех сословий и классов. Самое точное, по-моему, определение слова "интеллигенция" предложил почти сто лет тому назад, известный историк русской литературы Анненков. "Интеллигенция представляет собою как бы воюющий орден, который не имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял по какому-то соглашению, никем, в сущности не возбужденному, поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими"*.

Характерною чертою этого воинственного ордена было участие в нем очень большого процента дворян, и не только в начале движения, но и до самого конца. Так называемых "кающихся дворян" можно по праву считать дрожжами революции. В своих воспоминаниях князь Петр Кропоткин рассказывает о том, как он и его современники страдали от того, что их отцы, почитатели Вольтера и Дидро, спокойно приказывали пороть на конюшнях крепостных. Из многих свидетельств видно, что дворянская молодежь шла в революцию от невозможности как в идейном, так и в бытовом отношении жить одновременно в двух столетиях. Из этих, первоначально этических, мотивов возникло народничество, первым политическим объединением которого была "Земля и воля". Основанная в 1868 году, она была реорганизована в 1877 году и два года спустя прекратила свое существование.

Свою политическую деятельность народники начали с "хождения в народ". Они шли в народ в надежде принести ему свободу. Свыше двух тысяч молодых мужчин и женщин, переодетых рабочими, двинулись одновременно на Поволжье, Уральские горы и в иные отдаленные края России, чтобы начать свою освободительную агитацию среди крестьян и ремесленников. Многим из них пришлось плохо. По неловкости, с которой спасители народа принимались за непривычную им сельскую работу, крестьяне без труда обнаруживали в них сыновей и дочерей своих господ и, полные подозрения, доносили на них полиции, что приводило к их арестам и ссылке. Но несмотря на это, народники не прекращали своей деятельности, надеясь, что в конце концов дело обернется в их пользу. Поистине потрясающая картина: дочери и сыновья богатых и образованных родителей отказывались от счастья и радостей жизни, уготованных им судьбой, и возлагали на себя крест тяжкого отречения и даже смерти. Становится понятным, почему первых народников называли "подвижниками революции".

Агитация народников смолкла в России, как глас вопиющего в пустыне. Все громче раздавались требования заменить бессильное

*Ф.В.Ветринский: Герцен. С-Петербург, 1908. С. 107.

слово - делом. Но действительное, казавшееся возможным действие - был террор. Борьба за этот путь угрожала партии расколом. Для выяснения этих осложнений и для принятия окончательного решения в 1879 году была созвана тайная партийная конференция. Оказалось, что большинство стояло за террор и организацию новой партии. После долгой борьбы новая партия была создана под именем "Народная воля".

Ярым представителем меньшинства был Георгий Плеханов. Как последовательный марксист, он держался того мнения, что история движется по определенным экономически-зависимым законам и что ее творят не отдельные личности, а классы. Эти доводы против террора привели к разрыву Плеханова с народниками, в 1886 году он основал в Швейцарии группу "Освобождение труда". Эта группа носила явно социал-демократический характер и со временем превратилась в русскую социал-демократическую партию.

Вновь созданная группа "Народной воли" немедленно приступила к работе. Первым ее решением было отказаться от всех покушений на высших чиновников и со всей энергией приступить к подготовке убийства Александра II. После семи неудавшихся покушений удалось восьмое - 1 (13) марта 1881 года. За две недели до убийства министр Лорис-Меликов объявил о намерении царя дать подданным конституционные права.

В начале XX века террор революционных партий неоднократно пытался принудить монархию к капитуляции. Были убиты:

1901 год - министр Боголепов

1902 год - министр Сипягин

1904 год - министр Плеве

1905 год - великий князь Сергей Александрович

1911 год - премьер-министр Столыпин.

Как ни ужасен, как ни слеп был этот террор, но его, особенно в сравнении с большевистским, все же можно понять и до некоторой степени простить. В отличие от марксистов народники верили в значение личности в истории, а потому и в то, что убийством повинных людей возможно добиться освобождения народа от непосильного бремени унижения и нужды. Защищали народники террор лишь как последнее средство, допустимое только в случаях, когда ничто иное не могло принести желаемого успеха.

Показательно, что члены террористической организации, убившие Александра II, страстно протестовали против почти одновременного убийства в демократической Америке президента Джемса Кэрфиладель. Морально наиболее ответственные народники-террористы ясно сознавали, что каждый террористический акт является виной, оправдываемой лишь готовностью пожертвовать собственной жизнью.

Психология самопожертвования нередко стояла у террористов "Народной воли" и социалистов-революционеров на первом плане. В своем романе "В розовом блеске" Ремизов описывает молодую девушку, которая всегда думала о своей жертвенной смерти, но ни-

когда не думала об убийстве другого человека. Еще показательнее рассказ известного социалиста-революционера об отказе партии одному из своих членов, решившему, по личным причинам, покончить жизнь самоубийством, захватить с собой осужденного на смерть чиновника; ему было отказано на том основании, что это не будет жертвой, а где нет жертвы, там нет и помощи. О таком же понимании террора говорят и слова рабочего, отказавшегося от возложенного на него выполнения террористического акта: "У меня нет на это права, так как до вступления в партию я вел плохую жизнь - пил и гулял. А на такое дело надо идти с чистыми руками".

Особенно ясное представление о моральном своеобразии добольшевистского террора дают "Воспоминания" Бориса Савинкова, в которых глава "Боевой организации" описывает убийство великого князя Сергея Александровича Иваном Каляевым. Каляев был человеком высокой нравственности, не чуждым тоски по религиозной вере. Он не был христианином, но любил облик Христа и часто носил с собой Евангелие. Он знал, что убийство - грех, и все же чувствовал себя обязанным убить великого князя. Ожидая с бомбой в руке появления великокняжеской коляски, Каляев, увидев рядом с великим князем его жену и детей, не задумываясь ни минуты, опустил уже занесенную руку, решив отложить покушение.

В тюрьме его посетила великая княгиня и принесла ему Евангелие и икону Спасителя. Растроганный, он принял подарки как знак ее благодарности за то, что он пощадил ее и детей. Конечно, не каждый террорист "Народной воли" или партии социалистов-революционеров был Каляевым, но нечто каляевское было свойственно всему террористическому движению народников.

Совсем иное дело террор большевизма. В многолетних дискуссиях между народниками и марксистами, социал-демократы всегда стояли на той точке зрения, что террор нецелесообразен. Это утверждение было, вероятно, одной из главных причин их победы над разочарованными в своей тактике народниками. После победы над временным правительством большевики, однако, резко изменили свое мнение. Не отказываясь от своего убеждения, что применение террора по отношению к отдельным лицам нецелесообразно, они превратили его в весьма действенное средство в классовой борьбе. Громадная разница между народническим и большевистским террором заключается в том, что представители народнического социализма убивали министров в убеждении, что они виновники народного несчастья, большевики же, не признающие свободы воли, а потому и нравственной ответственности человека за свои поступки, изничтожили и изничтожают своих врагов не за содеянные ими преступления, и в порядке ликвидации непригодного для постройки нового мира социологического материала. Дальнейшая, весьма существенная разница между добольшевистским террором народников и правительственным террором большевиков состоит в том, что безвластные народники боролись против всесильного правительства и расплачивались за это жизнью, - большевики же каз-

нили сотни тысяч незащищенных людей в сознании своей неограниченной власти и без всякого риска для самих себя.

Я знаю и помню, что большинство большевистских вождей некогда и сами жертвенно рисковали своей жизнью, что многие из них попали в Петербург прямо из тюрьмы и ссылки. Но это прошлое ни в коем случае не оправдывает их: как некогда преследуемые борцы за свободу, они, придя к власти, должны были бы помнить о ней. Причину их преступного беспамятства надо искать, конечно, в нигилистической метафизике большевистского марксизма.

Октябрьскую революцию неправильно считать, как часто делают, естественным развитием "Февраля". Сформулированные Лениным принципы большевистской партии были провозглашены уже в 70-х годах прошлого столетия, как будет еще показано ниже.

Изучая историю большевизма, нельзя не поставить вопроса: неужели у царского правительства не было никакой возможности вовлечь интеллигенцию в свою работу и, поручив ей выполнение определенных задач по устройству народной жизни, избавить ее от ее действительно "беспочвенных мечтаний". Ответить на этот вопрос нелегко, но не поставить его невозможно. Бессмысленным он может показаться только тем, для кого возможное и необходимое абсолютно совпадают, что заключает в себе отрицание активного участия человека в устройстве мира.

Не разделяя такого пессимизма, можно, думается, утверждать, что своевременное включение идеалистической и жертвенно настроенной интеллигенции в работу государственного аппарата могло бы изменить путь России. К несчастью, царское правительство не смогло переставить стрелку на революционном пути, чем и загнало интеллигенцию в подполье, из которого 20 лет спустя после освобождения крестьян была брошена смертоносная бомба в Александра II. Нездоровым духом подполья, духом утопии, партийно-политической полемики и непониманием реальной действительности объясняется то, что во "Всероссийском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов", образованном в 1917 году, оказалось семь враждующих между собой социалистических партий.

Борьба монархии с западной интеллигенцией и ее либеральным понятием свободы была, однако, обусловлена не только слепой и злой волей, но - в более глубоком плане - и тем, что исповедующая христианство монархия не могла мыслить свободу в отрыве от освобождающей истины, ибо сказано "и познаете истину и истина сделает Вас свободными" (Иоанн, 8, 31-32). Исходя из такого сущностного понимания свободы, монархия и по совести и по разуму должна была считать ее оторванной от всякой истины интеллигентское понимание чистым произволом.

Мое объяснение того, почему синодальная церковь ни разу не возвысила своего голоса в защиту свободы, не есть ее оправдание. Не подлежит сомнению, что если бы она не взяла с самого начала

все свободололюбивое движение под подозрение, как преступление против России, а попыталась бы указать правительству пути осуществления христианской свободы в государственной и социально-экономической жизни, то Россия не дошла бы до революции.

О возможности такого счастливого развития после 1905 года озабоченно думали многие философы, социологи и общественные деятели. Под председательством Мережковского в Петербурге было создано очень активное "Религиозно-философское общество", задавшееся целью организовать регулярные встречи между обеспокоенными политическим положением в России представителями церкви и свободной от узкопартийного радикализма общественностью. Но было уже поздно: центробежные силы клерикальной реакции и партийной интеллигентской непримиримости одержали верх над примиренчеством центростремительных сил.

Провозгласив социальное и философское учение Карла Маркса абсолютной истиной, требующей к себе исповеднического отношения, и превратив тем самым большевистскую партию в лже-церковь, Ленин уже в 1902-1903 году предопределил окончательное лицо революции.

Как было уже сказано, большевизм вспыхнул над Россией не внезапно. У Ленина был ряд предшественников. Самым значительным из них надо считать родившегося в 1844 году Петра Ткачева. Свои общественно-критические и революционно-тактические взгляды Ткачев, называвший себя первым марксистом, защищал в "Набате", издаваемым им с 1875 по 1881 год в Женеве. Его своеобразный анализ социальной структуры России был бесспорно верен. Он первый высказал мысль, что в России нет ни фабричного пролетариата, ни буржуазии, что страдающий народ и деспотическое правительство стоят в ней лицом к лицу, лишённые примиряющего посредничества среднего сословия. Считая при наличии таких условий решительно бесполезным создание массовой революционной организации рабочих, он безоговорочно защищал идею сплочённой, централистически организованной партии, которая, не гнушаясь насилием, приняла бы его не только во время революции, но и после её победного окончания. Совершенно в духе ленинской теории Ткачев предостерегал против разрушения государственного аппарата противника. Ему казалось более целесообразным, победив этот аппарат изнутри, использовать его для постройки нового мира. Эта идея внешне формальной непрерывности государственной власти была полной противоположностью анархизму Бакунина.

Вторым лицом в галерее ленинских предков следует назвать Сергея Нечаева, бывшего скорее практиком революции, чем ее идеологом. Ярый поклонник Макиавелли, идеи которого он, правда, сильно упрощал, Нечаев организовывал маленькие засекреченные кружки революционеров, по пяти человек в каждом, таинственно намекая, что вся Россия минирована подобными кружками. Человек невероятной энергии, но и лишенный всякой морали, он утверждал, что революционеру все позволено и ничего не запре-

щено. Убить ищущего собственных путей партийного товарища, обвинив его в шпионаже, не представляло для него никакого затруднения.

Как ни странно, этот холодный политик был одновременно весьма восторженным человеком, что связывало его с Бакуниным. В программе "Катехизис революционера", составленной Нечаевым при участии Бакунина, на первом месте стоят не экономические, а духовные требования: борьба с Богом, освобождение женщины от брака и государственное воспитание детей. Но еще показательнее этой программы последовательно продуманная Нечаевым тактика революционной борьбы, с выраженным в ней недоверием к народу. Нечаев, как позже и Ленин, утверждал, что народ собственными силами никогда не совершит революции. Дорога к свободе может быть проложена лишь путем насилия над народной волей. По мнению Нечаева, просветительный реформизм и эволюционизм "лишь снотворное для ума и сердца" и потому ни к чему не приводят. Отсюда вывод - не дожидаясь революции снизу, организовать ее сверху.

Носителем этой революции Нечаев представлял себе тайное общество профессиональных революционеров. Образ такого революционера описан в "Катехизисе" с типично бакунинской страстностью. Революционер - это обреченный. Для него не должно существовать ни личных интересов, ни любовных переживаний, ни собственности, ни даже собственного имени. Все его существо должно быть одержимо одной целью, одной мыслью, одной страстью: Революцией... Он беспощадный враг всего цивилизованного мира, он живет в нем с единой целью - его разрушения. Он ненавидит и презирает общественную мораль своей эпохи... Все, что революция поощряет, - нравственно, все, что ей препятствует, - безнравственно.

Третьим, более значительным предшественником Ленина, надо считать анархиста Бакунина*. Бакунин, составлявший вместе с Нечаевым "Катехизис революционера", от которого он впоследствии отказался, был по своему размеру совсем другим человеком, чем Ткачев и Нечаев. Изучая жизнь Бакунина, не знавшего иной родины, кроме баррикад (он принимал деятельное участие во всех революциях и был трижды приговорен к смерти - в Австрии, Германии и России), невольно приходишь к выводу, что политическая революция была для него лишь символом более глубокой борьбы человека с Богом. Правильность такого предположения подкрепляется его восхвалением сатаны ("Бог и государство"), как первого революционера, восставшего против уготованного человеку Господом Богом рабства. Как путь к этому освобождению, Бакунин

* Известно, что непосредственно после захвата власти, большевистское правительство не только теоретически, но и с оружием в руках боролось с анархистами, заставшими в одном из московских домов. Этот факт не отвергает моего тезиса. Ведь большевики арестовывали и ссылали и социал-демократов, несмотря на то, что сами они, как доказано, были выходцами из гнезда социал-демократов. Борьба с отцами и дедами относится, по существу, к революционной психологии.

восторженно приветствовал разрушение. Самые значительные из его речей пылают огнем, испепеляющим все практические планы социалистического строительства. Характерно, что Бакунин всегда и всюду предъявлял одни и те же требования. Все к тому же привязывал он и славянский конгресс в Праге, и саксонских коммунистов в Дрездене: "Вы должны отдаться революции полностью и безоговорочно... Вы должны стать огнем, чтобы творить чудеса... Будьте грозовой тучей всех нас освобождающей революции".

Хотя слово о перманентной революции и не принадлежит Бакунину, нельзя себе представить революционера, для которого оно было бы более характерно, чем для Михаила Бакунина. Мысль о конце революции или хотя бы о ее длительной передышке была для Бакунина непереносимой, что делало его в глазах даже самых близких соратников опасным для дела вождем. Этим объясняются известные слова французского революционера Косидьера: "Что за человек. В первый день революции он нецензурен, но во второй его следовало бы, собственно, расстрелять".

Вдумываясь в сущность бакунинского разрушительства, нельзя не почувствовать, что за его революционной политикой скрывается вера в творческую силу хаоса, а за его атеизмом - мрачная вера в Разум: "Доверимся вечному Разуму, лишь потому всеразрушающему, что он непостижимым образом таит в себе источник жизни и созидания". Это скорее похоже на позднего Шеллинга, чем на Карла Маркса, вместе с которым Бакунин основал первый Интернационал, из которого впоследствии Бакунин был исключен.

Сущность верования русского революционного ордена можно охарактеризовать двумя словами: "Европа и Свобода". В политических идеях Ткачева, Нечаева и Бакунина впервые зарождается предательство этих идеалов, кульминирующее в ленинской концепции большевистской партии. Захват власти Лениным нанес русской интеллигенции смертельный удар. Многие ее представители ушли в эмиграцию. Наиболее значительные и непреклонные из оставшихся в Советской России были сосланы или расстреляны. Остальные примирились к новому миру, лишь немногие - по убеждению, большинство из-за тяжелой нужды. Высший идеал интеллигенции всех партий и направлений - Учредительное собрание, было хотя и создано в 1918 г., но тотчас же и распущено, так как в нем большинство голосов получили не большевики, а социалисты-революционеры (из 707 депутатских мест коммунисты получили лишь 175). С роспуском Учредительного собрания начинается последовательное проведение в жизнь тех антидемократических ткачевских принципов, что были провозглашены Лениным еще в 1902-1903 году.

В отличие от социалистов-народников и социал-демократов европейского образца Ленин не считал, что главная роль в революции должна принадлежать народу, в частности пролетариату. Еще с юношеских лет он твердо верил в то, что лично ему открыта абсолютная истина. Этой истине и надлежит подчинить пролетариат,

склонный ограничиваться чисто экономическими, профсоюзными требованиями. Дело революции может быть выиграно лишь "профессиональными революционерами", крепко спаянными в иерархически построенную и централистически организованную партию.

Такая структура партии вела за собой необходимость строить новую Россию не на демократических, а на бюрократических началах. В качестве переходного строя Ленин выдвигал диктатуру пролетариата. Насколько странным все это показалось даже близким Ленину социалистам, видно из дискуссионного замечания Троцкого на съезде 1902-1903 года: "Ленин хочет, собственно, не диктатуры пролетариата, а диктатуры над пролетариатом". В ответ на ленинскую статью "Шаг вперед, два шага назад" (1904 г.) встречаются еще более резкие слова того же Троцкого: "Если бы Ленин пришел к власти, то он обвинил бы перед Трибуналом все движение пролетариата в умеренности, причем львиная голова Маркса первая скатилась бы под ударом гильотины".

Во главе нечаевской программы стоят, как было уже сказано выше, скорее богоборческие, чем экономические требования. Своим определением веры в Бога, как "труположества", Ленин далеко опередил нечаевский аморализм, чем и объясняются поистине преступные способы борьбы с верой и Церковью, в особенности в первые годы большевистской революции.

Насколько явно в мышлении и действиях Ленина выступают ткачевский фашизм и аморальность Нечаева, настолько трудно уловить в них связь ленинского и бакунинского разрушительства. Бакунинская всеразрушительная тактика была Ленину близка, но почти мистическую веру Бакунина в творческие силы хаоса Ленин, конечно, не знал. Для углубленного понимания бакунинской темы в большевистской революционной тактике не лишне дать себе отчет в том, что праотец разрушения, сатана, именуется Церковью подражателем Господа Бога - *Imitator Dei*. Этой разрушительной имитацией и пользовался Ленин. Для уничтожения Христовой Церкви была создана красная. Для уничтожения старой, кадровой армии была организована "Красная гвардия", милиция, а затем Красная Армия. Ради разрушения старой, для многих коммунистов родной направленной литературы (Горький и его окружение), громогласным Маяковским был создан новый футуристический фронт. Причем характерно, что во всех новшествах оставались приспособленные к новому положению вещей элементы старых форм: ведь даже и коммунистическая партия имитировала церковные образы.

Все сказанное неопровержимо доказывает, что русская интеллигенция трагически заблудилась на своем пути. Ее страстное желание свободы выродилось, как это уже предсказывал Достоевский, в свободоненавистническую деспотию. В первые после большевистской революции годы Москва скорее напоминала Москву XVII века, чем Европу. Да и сейчас, несмотря на американские небоскребы, она далека от свободолюбивого Запада и по своему духу напоминает

скорее раскрепощенную теократию Ивана IV, чем тот демократический строй, за который более ста лет боролась русская интеллигенция.

Утверждение этого, бросающегося в глаза сходства ни в коем случае не является тем, почти слепым отождествлением царизма с большевизмом, которым часто грешат западноевропейские публицисты. По их мнению, большевизм есть, в сущности, нечто иное, как вполне понятное и последовательное продолжение царского режима: уже при царе подчиненная государству Церковь осталась подчиненной ему и при большевизме; характерный для монархии империализм, естественно, удержался и в советском государстве; как царская Россия не признавала свободы совести, особенно в области политики (даже проповеднические сочинения Толстого должны были печататься за границей), так же наследственно не признает ее и большевистская. Словом, все осталось по-старому.

Явное заблуждение подобных полемических сопоставлений можно было бы легко доказать неоспоримыми фактами и точными цифрами. Но дело не в единичных фактах и не в логических доказательствах. Дело в непонимании глубокой разницы между недостатками и преступлениями монархии и недостатками и преступлениями Советского Союза. Разница эта заключается в том, что монархию, исповедовавшую православие, и можно и должно упрекать в содеянных ею тяжелых грехах, так как грех - основная категория христианского сознания. Упрекать же большевизм за греховность его убеждений и действий - бессмысленно, так как последовательное материалистическое сознание не знает понятия греха. В этой неупрекаемости большевизма, который он сам считает своей безупречностью, состоит его тягчайшая вина перед Россией и человечеством. Монархия не давала России свободы по своему нравственному несовершенству, большевизм же держит ее в рабстве, уверенный в абсолютном совершенстве своего научного мирозерцания и своих политических убеждений.

Число интеллигенции в старом смысле в Советской России в настоящее время весьма незначительно. То, что за границей считается новой советской интеллигенцией, является полной противоположностью тому, чем были рыцари интеллигентского ордена. Старые интеллигенты были профессионалами идеологических построений и явными дилетантами в практической жизни. Представители советской интеллигенции большей частью только "спецы". Спрашивается: есть ли у похороненной Лениным русской интеллигенции старого стиля еще шанс на воскресение? Можно ли, варьируя известное изречение, воскликнуть: "Русская интеллигенция умерла, да здравствует интеллигенция!" Подробный ответ на этот судьбоносный вопрос русского будущего завел бы слишком далеко. И потому лишь вкратце: да, старая интеллигенция должна воскреснуть, но воскреснуть в новом облике. Не только России, но и всем европейским странам нужна элита людей, бескорыстно пекущаяся о страданиях униженных и оскорбленных, которых еще

очень много в мире, строящая свою жизнь на исповедании правды, готовая на лишения и жертвы. Вот черты старой интеллигенции, которые должны вернуться в русскую жизнь.

Дух же утопизма, диалектического распорядительства в областях жизни, в которых ничего не понимаешь, и легкомысленной веры в то, что истины изобретаются философами, социологами и экономистами, а не даруются свыше, должны исчезнуть.

Образ Алеши Карамазова, посланца Церкви и монастыря на служение миру, еще не воплощен в русскую жизнь. Это воплощение - задача будущего. Для ее успешного разрешения надо отдавать себе отчет в том, что христианской политики никогда не было и никогда не будет. Но невозможность христианской политики, о которой могут мечтать лишь утописты, не отрицает трезвой политики христиан, задача которой не воссоздание святой Руси, а строительство истинно-гуманной, заботящейся о каждом человеке, ответственной в правовом и моральном отношении, далекой и от злой борьбы интересов и от слепой партийной ненависти демократии.

1959 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812-1870), русский революционный демократ, писатель и публицист, оригинальный философ-мыслитель. Основоположник "русского социализма". Формирование его мировоззрения происходило под влиянием учений Шеллинга, Кузена, Сен-Симона, Прудона, Фейербаха. В развернувшейся в 40-х годах полемике со славянофилами Герцен занимал "западническую" позицию. В 1847 г. эмигрировал за границу. Был свидетелем Революции 1848 г. во Франции и ее поражения, пережил острое разочарование в ценностях буржуазной цивилизации ("С того берега", 1847-1850; "Концы и начала", 1862-1863). В это время формируется его концепция "русского социализма", основой которой должна стать крестьянская община как альтернатива буржуазному ("мещанскому") развитию европейского общества ("Россия", 1894). Поселившись в Лондоне, Герцен посвятил себя издательско-пропагандистской деятельности. Его издания - альманах "Полярная звезда" и газета "Колокол" - оказали огромное влияние на формирование русского демократического общественного мнения. В философии Герцен под влиянием трудов Фейербаха развивал идеи антропологизма, настаивая на необходимости укрепления связи между философией и естествознанием, негативно относился к религии и идее персонифицированного бога. По определению В.И.Ленина, Герцен "вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом". Однако сам Герцен критически относился к "материалистической метафизике", допускал существование объективного разума в основании природы ("Письма об изучении природы", 1845-1846). Но главным в философии Герцена были все же социально-политические идеи. В конце жизни в статье, написанной в форме писем "К старому товарищу" (М.Бакунину), Герцен сомневается в истинности революционного пути и обращается к идеям социального реформизма.

Антологию открывают статьи-письма Герцена, адресованные И.С.Тургеневу, впервые опубликованные в соответствии с замыслом под общим названием - "Концы и начала" в "Колоколе" за 1862-1863 гг. Характеристика в них европейского "мещанства" может быть рассмотрена в качестве исходного пункта истолкования определения интеллигенции как "анти-мещанства".

Письма (1, 2, 5) из работы "Концы и начала", печатаются по тексту: *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1959. Т.16. С.129-149, 167-172.

1. Герцен имеет в виду польское восстание 1863 г.

2. Имеется в виду эпизод из "Божественной комедии" ("Ад") Данте, в котором воры в драке чудесным образом превращаются друг в друга.

3. Говоря о волне национализма, охватившей русское общество

в период польского восстания, Герцен упоминает ноты министра иностранных дел кн. А.М.Горчакова.

4. Имеется в виду генерал-губернатор Северо-Западного края М.Н.Муравьев, прозванный за проявленную жестокость при подавлении польского восстания 1863 г. "вешателем".

5. Хотя адресатом писем "Концов и начал" был И.С.Тургенев, Герцен обращается к обобщенному образу русского западника-идеалиста.

6. Имеется в виду цикл стихов Гёте "Западно-восточный Диван".

7. "Кампо Санто" - знаменитое кладбище на соборной площади в Пизе с многочисленными скульптурными украшениями мастеров школы Джотто.

8. В скульптурном памятнике Роберт Пиль, премьер-министр Великобритании, изображен облаченным в римскую тогу.

9. Генриху IV приписывают высказывание, что он хотел бы видеть по воскресеньям курицу на столе каждого француза. Позднее в русском варианте - "курица во щак" - это афористическое пожелание было повторено Екатериной II.

10. Речь идет об освобождении французских крестьян от личной зависимости без земли и введении частной собственности на землю, что, по мнению Герцена, привело к пауперизации значительной части нации и обогащению "малого числа избранных". В этом он усматривает корни мещанства.

11. Приведена фраза из псалма М.Лютера ("Бог - наша твердыня"), служившего в качестве гимна протестантов во время Реформации.

12. Имеется в виду художник А.А.Иванов (1806-1856).

13. Лев св.Марка - эмблема Венецианской республики, которая стремилась освободиться от власти австрийцев, государственным символом которых был черно-желтый флаг.

14. Герцен имеет в виду политику Кавура, способствовавшего повороту Италии на путь буржуазного ("мещанского" в понимании Герцена) конституционализма, образцом которого считалась тогда Бельгия. Этому пониманию служит и библейская метафора.

15. В русской общественной мысли образ Китая часто использовался в качестве символа социально-политического застоя и уравнительного утилитаризма.

16. Герцен отдает здесь явное предпочтение героям революции 1789 г. с их несбыточными мечтаниями (тип дон-Кихота) перед их преуспевающими внуками ("разбогатевшими французскими мещанами").

17. См. "Былое и думы". ч.5. "Рассказ о семейной драме".

ЛАВРОВ Петр Лаврович (псевдонимы: П.Миртов, С.С.Арнольди) (1823-1900), русский философ, социолог, общественный деятель, публицист. Философские и идейно-политические взгляды Лаврова сформировались в атмосфере сороковых годов,

ознаменовавшихся критическим переосмыслением немецкой идеалистической философии и распространением философии Фейербаха и позитивизма. В общественно-политическом плане это был период распространения под влиянием Н.Г.Чернышевского и А.И.Герцена революционно-демократических идей и позднее их консолидации в политические программы народничества. Лавров был связан с тайным обществом "Земля и воля". После неудачного покушения Д.В.Каракозова в 1866 г. на Александра II он был арестован и сослан под надзор полиции. В ссылке им были написаны "Исторические письма 1868-1869 гг.", воспринятые демократической молодежью как нравственное кредо интеллигенции в борьбе за освобождение народа.

В 1870 г. Лавров бежал за границу, участвовал в Парижской коммуне, примкнул к Интернационалу, не отказываясь, однако, от своих народнических взглядов. Активно работал в заграничной секции "Народной воли", издавал газету "Вперед", пропагандировавшую идеи крестьянской социалистической революции.

В философско-теоретическом плане Лавров по праву может считаться основоположником русской школы культурной антропологии. Он развивает субъективный метод антропологии, настаивая на цельности, самостоятельности человеческой личности, активность которой снимает не только дуализм природного вещества и души, но действительности и идеала. Определение идеала общественного прогресса требует критического отношения к действительности, что является задачей критически мыслящих личностей; переход от идеала к действительности требует поддержки масс. К основным трудам Лаврова по антропологии, кроме "Исторических писем", относятся "Антропологические этюды", "Антропология в Европе", "Цивилизация и дикие племена". Заслуживают внимания и труды Лаврова по философии истории. Основной проблемой, решение которой Лавров ищет в истории человеческой мысли и в общественном движении, является становление критически мыслящих личностей и пути их сближения с народом.

"Исторические письма" были впервые опубликованы в 1868-1869 гг. в еженедельнике "Неделя" под псевдонимом П.Миртов. Отдельной книгой письма вышли нелегально в 1870 г. без указания автора. В антологии представлены письма пятое и шестое, которые печатаются по тексту: *Лавров П.Л. Философия и социология. Избр. произв.*: В 2 т. М., 1965. Т.2. С.87-110.

1. В четвертом письме "Цена прогресса" Лавров развивает тезис, что "за прогресс едва заметного меньшинства заплачено миллиардами жизней, океанами крови, несчетными страданиями и неисходным трудом поколений" (С.80-81).

2. См. русский перевод книги Луи Блана "История французской революции". СПб. 1902. Т.1.

3. Лавров сталкивает здесь две противоположные идеи: Луи Блана о примате общества, построенного по принципам живого ор-

ганизма со строгой субординацией отдельных органов, и индивидуализм физиократов с их принципом *laissez faire, laissez passer* (позволить событиям развиваться естественным путем), полагая, что его концепция позволяет преодолеть обе крайности, подчинив их другу другу.

4. Имеется в виду закон постоянства состава химических соединений, открытие которого приписывается французскому химику Ж.Прусту.

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (1831-1891), русский религиозный философ. Врач по образованию, дипломат по профессии, консерватор по убеждениям, мистический эстет по мировосприятию, религиозный (православный) аскет по призванию - Леонтьев является камнем преткновения при определении его места в истории русской философской мысли. Одни относят его к реакционерам, ставя знак равенства между реакцией и консерватизмом, другие видят в нем пророка русской самобытности, третьи характеризуют учение Леонтьева как разложение славянофильства, хотя он тяготел более к Герцену. Его обличают за то, за что превозносят Ницше, и превозносят за то, за что обличают как реакционера М.Н.Каткова. В философском мировоззрении Леонтьева можно выделить три переходящих друг в друга и вступающих в противоречие потока: эстетизм, историософия, антропологизм. Если через эстетизм в его творчество проникают гуманистические тенденции, то в антропологии, развиваемой на основе строгой православной ортодоксии, он приходит к выводу, что "наивный, покорный авторитетам человек" "ближе к истине", чем свободомыслящий либерал. В этом ключе выдержана публикуемая в книге статья "Как надо понимать сближение с народом?". В историософии Леонтьеву принадлежит идея "триединства исторического процесса", которую пронизывает глубокий "исторический фатализм".

Леонтьев не создал философской системы. Среди его публикаций следует выделить: "Византизм и славянство" (1875).

Статья "Как надо понимать сближение с народом?" была впервые опубликована в 1880 г., печатается по тексту издания: *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и славянство. М., 1885. Т.2. С.159-171.

1. См.: О граде Божием // Творения Блаженного Августина Епископа иппонийского. Киев, 1906. Ч. 3 и 4, кн.10-13.

2. В статье Леонтьев развивает идеи этического пессимизма Эдуарда Гартмана. Этому служат и цитаты из книги последнего "Религия будущего" (франц.).

3. Имеется в виду теория прогресса, как она представлена у Бокия.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (Иванов Разумник Васильевич) (1878-1946), литературовед и социолог. Родился в дворянской семье в Тифлисе, окончил математический факультет Петербургского университета. Печататься начал в 1904 г. в "Русской мысли" (статья о Н.К.Михайловском), затем публиковался в "Русском богатстве", "Русских ведомостях" - писал о И.А.Бунине, А.И.Герцене, В.Г.Белинском, Л.Н.Толстом, Андрее Белом, А.Блоке. Основная работа - "История русской общественной мысли" в двух томах, вышла в 1906 г. и пользовалась большой популярностью. В книге история общественной мысли России представлена как история русской интеллигенции, содержанием которой является борьба интеллигенции с мещанством. Иванов-Разумник был составителем и редактором ряда собраний сочинений и воспоминаний. После Октября 1917 г. примыкал к левым эсерам, работал в их литературных изданиях, в частности в издательстве "Скифы", где поместил свои статьи о Есенине, Орешине, Клюеве.

В период с 1921 по 1941 г. неоднократно арестовывался, сидел в тюрьмах ГУЛАГа, отбывал ссылку. В октябре 1941 г. оказался на оккупированной гитлеровцами территории (г.Пушкин), откуда был вывезен в г.Кониц, где до лета 1943 г. сидел в фашистском концентрационном лагере. За годы пребывания в Германии много писал, однако большая часть из написанного погибла. Несколько очерков литературно-критического характера вошли в книгу "Писательские судьбы", вышедшую на русском языке в США в 1951 г., там же в 1953 г. была опубликована рукопись автора "Тюрьмы и ссылки". Скончался Иванов-Разумник в августе 1946 г. в Мюнхене.

Статья "Что такое интеллигенция?" была впервые опубликована в двухтомном труде "История русской общественной мысли" в 1907 г. Печатается по тексту 4-го издания (СПб., 1914). С.3-20.

1. Имеется в виду направление в социологии XIX-XX вв. (в России - П.Ф.Лилиенфельд), пытавшееся объяснить социальную жизнь биологическими законами на том основании, что ее, как и жизнедеятельность всякого организма, характеризует целесообразность, специализация органов и т.д. В начале XX в. концепция органической школы утратила популярность.

2. Истоки интеллигенции Иванов-Разумник усматривает в идейной борьбе двух церковных партий XV-XVI вв. нестяжателей и "осифлян", представленных Нилом Сорским и Иосифом Волоцким.

3. Речь идет о кружке единомышленников Максима Грека, приглашенного в 1518 г. в Россию Василием III для исправления переводов церковных книг и поддерживавшего партию нестяжателей в православии.

4. Речь идет о шляхетско-польской ориентации группы русских феодалов начала XVII в., во главе которой стоял Салтыков Михаил Глебович, руководивший в 1601-1602 гг. русским посольством в Польше.

5. Имеется в виду просветительская деятельность религиозно-

национальной организации православного монашества ("Братства"), созданной в Киеве ок. 1615 г. Киевское "Братство" открывало школы и типографии, вокруг которых собирались культурные силы общества, а позже (1631) на их основе митрополитом Петром Могилой была основана Киево-Могилянская коллегия, первое у нас высшее учебное заведение.

6. Имеется в виду кружок образованных людей высшего сословия, собиравшийся по инициативе историка В.Н.Татищева, изложившего позднее свои взгляды на образование в "Разговоре о пользе наук и училищ".

7. См. нашу публикацию "Исторических писем" Лаврова в книге (письма пятое и шестое).

8. См.: Арнольди С.С. (Лавров). Кому принадлежит будущее? Из рукописей 90-х годов. М., 1905. С.230.

9. См.: Исторические письма. Письмо девятое.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866-1941). В конце 80-х - начале 90-х годов XIX в. получил признание как один из ведущих поэтов-символистов, религиозный писатель и философ. Известен как автор философско-исторической трилогии "Христос и Антихрист", исследования "Л.Толстой и Достоевский". В 1902 г. выступил одним из инициаторов Санкт-Петербургских религиозно-философских собраний, был одним из наиболее активных их участников, а позже - создателем Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. Уже в первом десятилетии нашего века Мережковский выдвинулся в число лидеров религиозно-философского ренессанса, стал одним из самых печатаемых в России и за рубежом писателей. В то же время он являлся объектом нападков со стороны критиков, обвинявших его в рационализме и тенденциозности литературных произведений. В результате происшедшего после революции размежевания в среде интеллигенции Мережковский оказался среди наиболее непримиримых противников "Вех", столь же резко он выступил и против П.Б.Струве в полемике, развернувшейся вокруг статьи последнего "Великая Россия". В этот же период он активно печатается как публицист, находящийся по своим политическим воззрениям между кадетами и эсерами. Мережковский встретил резко отрицательно приход к власти большевиков и в 1921 г. эмигрировал. В эмиграции продолжал активно публиковаться, но принципиально нового с философской точки зрения ничего не создал. После прихода немцев во Францию занял коллаборационистскую позицию.

Статья "Грядущий хам" - самое известное его произведение по вопросам социальной философии и политики, впервые была опубликована в 1906 г. Печатается по тексту: *Мережковский Д.С.* Полн.собр.соч. М., 1919. Т.14. С.5-39.

1. Здесь и далее Д.С.Мережковский несколько вольно цитирует

статью А.И.Герцена "Концы и начала". См. нашу публикацию в книге (письма первое, второе и пятое). Ссылки на письма, не вошедшие в книгу, отмечены особо.

2. См.: Герцен А.И. Концы и начала. Письмо седьмое.

3. Имеется в виду работа М.А.Бакунина "Бог и государство", которая на русском языке появилась в 1906 г.

4. См.: Письма М.А.Бакунина к А.И.Герцену и Н.П.Огареву. СПб., 1906. С.283-284.

5. См.: Герцен А.И. Концы и начала. Письмо шестое.

6. Бакунин М.А. Бог и государство. М., 1906. С.19.

7. Речь идет об анархистской организации Международным альянс социалистической демократии, образованной Бакуниным в 1868 г. в составе Интернационала. В 1869 г. в результате идеологической борьбы с марксистским ядром последнего Альянс формально был распущен, но практически продолжал свою деятельность.

8. Под "тремя основами" Мережковский подразумевает пресловутую формулу министра просвещения С.С.Уварова "православие, самодержавие, народность", положенную в основу политики "официальной народности".

9. Дрезденская революция - восстание в Дрездене во время прокатившихся в 1848-1849 гг. по Европе революций.

ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940). Начинал свою политическую деятельность как народник, но затем примкнул к социал-демократам. С 1902 г. становится одним из ведущих политических деятелей социал-демократического направления и публицистом. Характерной чертой деятельности Троцкого являлся последовательный и принципиальный левый радикализм. В 1912 г. он был исключен из РСДРП. Но в 1917 г. вступил в нее снова с группой так называемых "межрайонцев" и стал членом ЦК партии большевиков, будучи одновременно председателем Петросовета. После октябрьского восстания стал Председателем Реввоенсовета и наркомом по военным и морским делам. Троцкий занимал этот пост до января 1925 г. В указанный период он стал настолько крупной фигурой, что по популярности и влиянию с ним мог сравниться только Ленин. Тогда же начинается выходить первое издание его собрания сочинений, в котором представлены главным образом статьи на злободневные политические темы. В 1927 г. на XV съезде ВКП(б) Троцкого исключают из партии. Затем он подвергается ссылке в Алма-Ату, откуда в 1929 г. высылается за пределы СССР. В 1938 г. он основал IV Интернационал, существующий и поныне. Убит в своем доме в Мексике агентом ГПУ.

Статья "Об интеллигенции" впервые была опубликована в 1912 г. в "Киевской мысли". Печатается по тексту сборника: *Троцкий Л.* Литература и революция. 2-ое доп. изд. М., 1924. С.280-295.

1. Статья, датируемая автором 1912 г., начинается с характеристики "скверных лет реакции", наступивших после поражения революции 1905 г. Отсутствие в ней какой бы то ни было авторской реакции на "Вехи", вызвавшее большой ажиотаж общественной мысли, позволяет предположить, что она была написана не позже 1909 г.

2. Имеется в виду М.Е.Салтыков-Щедрин.

3. "Речь" - влиятельнейшая кадетская газета, редактируемая П.Н.Милуковым.

4. Имеется в виду двухтомный труд Иванова-Разумника "История русской общественной мысли", методология которого изложена автором во вводной статье "Что такое интеллигенция?". См.: нашу публикацию в книге.

5. Имеется в виду работа Мережковского "Грядущий хам". См. нашу публикацию в книге.

6. Разгоном II Государственной Думы 3 июня 1907 г. датируется обычно начало периода реакции, наступившего после революции 1905 г.

7. Имеются в виду изыскания народовольца Н.А.Морозова, проведенные во время его заключения в Шлиссельбургской крепости, направленные на выведение математического алгоритма исторического процесса.

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874-1948). Родился в Киеве. В начале своего творческого пути прошел через увлечение марксизмом, даже отбыл ссылку за участие в революционном студенческом движении. В своей первой книге "Субъективизм и индивидуализм в общественной философии", снабженной обширным предисловием П.Б.Струве (1901), он выступил с критикой взглядов лидера народничества Н.К.Михайловского с позиций марксизма, хотя и не ортодоксального, за что книга получила резко отрицательную оценку Г.В.Плеханова. Это послужило определенной вехой отмежевания близкой Бердяеву группы мыслителей от марксизма. Выражением этого процесса стал сборник "Проблемы идеализма". В дальнейших работах Бердяева явно наметился переход к религиозной философии, о чем свидетельствуют книга "Новое религиозное сознание и общественность" (1907) и сборник "Sub specie aeternitatis" (1908). Этот процесс завершился участием в программном сборнике "Вехи", появившемся в период политической реакции (1909) и вызвавшем обширнейшую полемику в философской и общественно-политической литературе. "Вехи" открывает статья Бердяева "Философская истина и интеллигентская правда". Работы, посвященные социальным проблемам этого периода, собраны в книге "Духовный кризис интеллигенции" (1910). Окончательно мировоззрение Бердяева складывается к первой мировой войне, что отражает его первая концептуальная работа "Смысл творчества" (1916).

После Октября Бердяев был избран профессором Московского университета, основал Вольную академию духовной культуры. Работы по социальным вопросам этого периода собраны в книге "Судьба России" (1918). Его негативное отношение к революции нашло отражение в статье "Духи русской революции" в сборнике "Из глубины" (1918), в котором приняли участие и другие авторы "Вех". В 1922 г. с большой группой других философов и ученых Бердяев был выслан из Советской России. Дальнейшая его научная деятельность развернулась в Париже. Там им опубликованы основные философские труды, принесшие ему мировую известность: "Философия неравенства", "Смысл истории", "Новое средневековье", "Русская идея", "Опыт эсхатологической метафизики", "Самопознание". Одновременно Бердяев ведет большую общественно-просветительскую деятельность в среде русской эмиграции, издает журнал "Путь". К концу жизни Бердяев эволюционирует в сторону христианско-демократического мировоззрения. Об этом свидетельствуют такие его работы, как "Христианство и классовая борьба", "Истоки и смысл русского коммунизма", "О назначении человека", "О рабстве и свободе человека" и самая последняя его работа "Царство духа и царство кесаря".

Статья "Бунт и покорность в психологии масс" печатается по тексту: *Бердяев Н.А. "Духовный кризис интеллигенции".* СПб., 1910. С.73-83.

Статья "Философская истина и интеллигентская правда" была впервые опубликована в сб. "Вехи", печатается по тексту его 2-го издания. С.1-22.

Статья "Кризис интеллекта и миссия интеллигенции" печатается по тексту: *Новый град. Париж. 1938. №13. С.5-11.*

КИСТЯКОВСКИЙ Богдан Александрович (1869-1920), видный правовед, философ, социолог. Член партии кадетов. Сын известного правоведа А.Ф.Кистяковского. Развивал концепцию естественного права с его утверждением неотчуждаемых исконных прав человека, их независимости от государства: закон выше политической и экономической власти, его задача - подчинение политики и экономики либеральным целям, защите жизни отдельного человека. Либерализм и демократический социализм считал двумя стадиями современного правового государства. Жизненную силу права и его нераздельность с человеческой свободой доказывал, обращаясь к междисциплинарному материалу - историко-культурным, экономическим, социально-политическим и юридическим реалиям. Отстаивал ценность частных методов социальных наук. Наиболее известные работы в этой области - "Проблемы и задачи социальнo-научного познания", "Социальные науки и право". Кистяковский был великолепным знатоком русского права, это послужило причиной того, что Макс Вебер выбрал его своим консультантом при на-

писании работы о политических партиях в России. В философских воззрениях основывался на идеях трансцендентального идеализма, автор книг "Категория необходимости и справедливости", "Категория возможности".

Статья "В защиту права (интеллигенция и правосознание)" впервые была опубликована в 1909 г. в сборнике "Вехи", печатается по тексту 2-го издания этого сборника. С.125-155.

ФРАНК Семен Людвигович (1877-1950). Пережив довольно краткий период увлечения марксизмом, Франк в первой же своей книге "Теория ценности Маркса и ее значение" (1900) выступил как его критик. Был достаточно известным публицистом-философом ("Философия и жизнь", 1910). Активно участвовал в веховском движении. После этого полностью ушел в академическую философскую работу и к политическим вопросам почти не возвращался. В 1915 г. вышла его первая крупная работа "Предмет знания", где Франк развил оригинальный вариант интуитивизма. На его философскую концепцию особенно сильное влияние оказал Вл.Соловьев с его идеей всеединства. Эти темы были продолжены в книге "Душа человека" (1917), серии лекций "Очерки методологии общественных наук" (1922), статьях, собранных в книгу "Живое знание" (1923). Занимал кафедру философии в Саратове, а с 1922 г. - в Москве. Франк отрицательно относился к захвату власти большевиками, принял участие в сборнике "Из глубины" (1918 г.). В 1922 г. в числе других деятелей культуры был выслан из России. В эмиграции написал ряд работ, завершающих его философскую систему: "Духовные основы общества" (1930), "Непостижимое" (1939), "Свет во тьме" (1941, изд. 1949), "С нами Бог" (1941, изд. 1964), "Реальность и человек" (1949, изд. 1956). В то же время Франк писал и популярные философские работы на социальные и культурологические темы: "Крушение кумиров" (1924), "Смысл жизни" (1925), "Основы марксизма" (1926). Автор первой биографии П.Б.Струве

Статья "Этика нигилизма (к характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции)" была впервые опубликована в сборнике "Вехи", печатается по его 2-му изданию. С.175-210.

1. "Санинство" - по фамилии главного героя романа М.П.Арцыбашева "Санин" как синоним аморализма и сексуальной распущенности.

2. Речь идет о знаменитом произведении М.Штирнера, теоретика анархизма, "Единственный и его собственность", в котором гипостазирование "Я" дошло до такой степени, что все, что не укладывалось в рамки "Я" и его интересов, объявлялось ненужным.

3. "Мистические анархисты" - течение в среде русской литературной богемы, возникшее в начале XX в., хронологически предшествовавшее появлению богоискательства. Характерной чертой этого

течения было участие в нем многих деятелей литературы и искусства, придерживавшихся социал-демократической или эсеровской ориентации.

4. Под индивидуалистическим рационализмом следует понимать модель человека, разработанную в философии и социальных науках Нового времени.

5. Под философией реакционной романтики автор понимает то направление в общественно-политической мысли, которое выступило с критикой данной модели человека и вытекавшего из нее политического устройства общества. Как правило, критика велась под знаком возвращения к докапиталистической эпохе.

СТРУВЕ Петр Бернгардович (1870-1944). В молодости стал одним из духовных лидеров русского легального марксизма, приобрел известность как талантливый экономист. Его первая книга "Критические заметки. К вопросу об экономическом развитии России" (1894) сыграла важную роль в становлении русской социал-демократии как интеллектуально-политического течения и в ее борьбе с народниками. Крупные заслуги он имеет и как историк-экономист ("Крепостное хозяйство", 1913). Магистерская диссертация "Хозяйство и цена" (Ч.1, вв.1-2, 1915-1916) поставила Струве в число ведущих теоретиков-экономистов. Струве медленно эволюционировал от социал-демократии к леволиберальному мировоззрению. Будучи автором первых программных документов РСДРП, он через несколько лет начал издавать журнал "Освобождение", собравший вокруг себя многих будущих лидеров кадетов. Вся его эволюция до 1902 г. нашла отражение в сборнике статей "На разные темы" (1902). В период революции 1905-1907 гг. он был одним из виднейших деятелей партии кадетов и издателем журнала "Полярная звезда". После революции интеллектуальное развитие Струве вступает в новую фазу либерализма, концептуально оформившуюся в сб. "Вехи", одним из авторов которого был Струве. Это мировоззрение получило название "веховство". Представленные в настоящем издании работы относятся именно к этому периоду его творчества; позднее он принял участие в сборнике "Из глубины" (1918 г.). Враждебно встретив приход к власти большевиков, Струве принял участие в Белом движении, эмигрировал вместе с армией Врангеля. За границей занимал одну из наиболее непримиримых позиций по отношению к большевикам ("Размышления о русской революции", 1921). Редактировал газету "Возрождение" в первый год ее издания. В начале 30-х годов влияние Струве на политическую и интеллектуальную жизнь эмиграции ослабло. В последние годы он работал над обобщающим трудом по философии, социальной и экономической истории России.

Статья "Интеллигенция и революция" впервые была опубликована в сб. "Вехи", печатается по тексту его 2-го издания. С.156-174.

Статья "Интеллигенция и народное хозяйство" была впервые

опубликована в газете "Слово" от 16 ноября 1908 г., печатается по тексту: *Струве П. Patriotica. Политика, культура, религия: Сб. статей за пять лет - 1905-1910.* СПб., 1911. С.362-369.

1. Под до-октябрьским прошлым имеется в виду время до манифеста 17 октября 1905 г.

2. "Критические заметки" - полное название: "Критические заметки. К вопросу об экономическом развитии России" (1894), первая книга Струве, сыгравшая огромную роль в обосновании идеи развития капитализма в России.

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович (1865-1919). Выдвинулся в число ведущих русских экономистов своей магистерской диссертацией "Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь" (1894). Эта работа явилась существенным вкладом в теорию кризисов и принесла автору также международное признание. В 1895-1899 гг. - приват-доцент Петербургского университета по кафедре политической экономии. В это время он пишет одну из лучших своих работ - "Русская фабрика в прошлом и настоящем", первый том которой вышел в 1898 г. Туган-Барановский активно участвовал в дискуссии о капитализме в России, доказывая, что последний неизбежен. В период революции 1905-1907 гг. вступил в партию кадетов, участвовал как публицист в их изданиях, в частности в "Полярной звезде" П.Б.Струве. Тогда же опубликовал работы "Теоретические основы марксизма" (1905) и "Основы политической экономии" (1909). После них Туган-Барановский становится признанным лидером русской экономической науки. В последние годы своей деятельности занимался теорией и практикой кооперативного движения ("Социальные основы кооперации", 1916). В 1917-1918 г. был министром финансов Центральной Рады в Киеве.

Публикуемая в данном сборнике работа отражает социально-политическую позицию Туган-Барановского в период первого десятилетия XX в., когда он активно выступал в различных журналах с леволиберальных позиций. "Интеллигенция и социализм" была впервые опубликована в сб. "Интеллигенция в России". СПб., 1910. Печатается по тексту этого сборника.

1. Приводится высказывание А.И.Герцена из его работы "Концы и начала".

2. Вехи. М. 1909. С.205.

3. Там же. С. 25.

4. Там же. С.171.

5. Там же.

6. Там же. С.172.

7. Там же. С.173.

8. Там же. С. 85, 87.

9. См.:Каутский К. Интеллигенция и социал-демократия. Пер. с нем. СПб., 1906.

10. См.:Каутский К. Социальная революция. Пер. с нем. Женева, 1903.

11. См.:Мауренбрехер М. Интеллигенция и социал-демократия. Пер. с нем. СПб., 1906.

12. Вехи. С.174.

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (1886-1924), русский философ и юрист, окончил юридический факультет Московского университета, продолжал образование в Берлине и Париже. С 1896 г. приват-доцент Московского университета, читает лекции по истории и философии права; состоял в партии кадетов с момента ее образования, был членом I Государственной Думы, после ее роспуска - директор Московского коммерческого института. В 1917 г. эмигрировал из России. Философская основа правовых воззрений Новгородцева - трансцендентальный идеализм. Являлся редактором сборника "Проблемы идеализма", ознаменовавшего в начале века отход русской общественной мысли от легального марксизма к философскому идеализму. Известность Новгородцеву принесла докторская диссертация "Кант и Гегель в их учении о праве и государстве" (1901) и работа "Об общественном идеале" (1917). Из многочисленных статей, помещенных в разных изданиях, следует отметить программную статью "Нравственный идеализм в философии права" в сборнике "Проблемы идеализма" (1903) и статью "Право и государство", помещенную в журнале "Вопросы философии и психологии" (кн.74-75).

Статья "О путях и задачах русской интеллигенции" была впервые опубликована в 1918 г. в сборнике "Из глубины", печатается по тексту сборника, переизданного в 1967 г. в Париже. С.251-268.

ПОТРЕСОВ (Старовер) Александр Николаевич (1864-1934), видный деятель и теоретик русской социал-демократии. Родился в дворянской, военной семье. Окончил естественный факультет Петербургского университета и два курса юридического факультета. С начала 90-х годов участвует в марксистских кружках. В 1896 г. входит в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В 1899-90 гг., находясь за границей, вместе с В.И.Лениным участвует в создании первой общерусской марксистской (нелегальной) газеты "Искра", а также научно-популярного журнала марксистской ориентации "Заря". На II съезде РСДРП вместе с Мартовым и Троцким возглавил меньшевистскую фракцию. Играл руководящую роль в ряде меньшевистских изданий, в том числе журналов "Возрождение", "Наша заря", в которых вел идейную борьбу против сепаратизма и "кружковщины" большевистской фракции русской

социал-демократии. Видный теоретик европейской социал-демократии.

Статья Потресова "О кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии" печатается по книге: *Потресов (Старовер) А.Н. Этюды о русской интеллигенции.* СПб., 1906. С.266-313.

1. Противопоставление народнической и народовольческой политики и тактики имеет в виду раскол народнического движения. В 1876 г. революционное народничество объединилось в общество "Земля и воля", продолжая идейные традиции народников 70-х годов и их тактику. В 1879 г. в результате разногласий между сторонниками старой тактики (во главе с Г.В.Плехановым) и сторонниками тактики террора (А.И.Желябов и др.) общество раскололось: первые образовали группу "Черный передел", эволюционировавшую позднее марксизму, вторые - тайную террористическую организацию "Народная воля". Разделяя идеи крестьянского утопического социализма, народовольцы в качестве предварительного условия выдвигали требование политической свободы. Исходя из теории "героев" и "толпы", они надеялись добиться свободы народа без его непосредственного участия, путем террора и самопожертвования.

2. "Чигиринская царская грамота" - имеется в виду фальшивый документ, составленный в 1876 г. народником Стефановичем с целью расширения и "легитимации" крестьянского восстания в Чигиринском уезде Киевской губернии.

3. "Рабочая мысль" - газета, орган "экономистов", выходила с 1897 по 1902 г., всего вышло 16 номеров.

4. Книга "Что делать?" вышла в Штутгарте в 1902 г. под псевдонимом Н.Ленин. Все выдержки из книги, цитируемые Потресовым по этому изданию, переведены нами на: Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.6.

5. "Искра" - первая общерусская нелегальная марксистская газета. В ее редакцию входили В.И.Ленин, Г.В.Плеханов, А.Н.Потресов, Ю.О.Мартов и др. "Искра" сыграла большую роль в объединении русских социал-демократов. После раскола на II съезде РСДРП (1903 г.) "Искра" некоторое время выходила под редакцией Ленина и Плеханова. С №52 она становится органом меньшевистской фракции РСДРП.

6. Группа "Освобождение труда" - первая русская марксистская организация, основанная в 1883 г. Г.В.Плехановым в Швейцарии. Группа проделала большую работу по пропаганде марксизма в России. На II съезде РСДРП в 1903 г. она заявила о прекращении своего существования.

7. "Рабочее дело" - журнал "экономической" ориентации, орган "Союза русских социал-демократов за границей". Выходил в Женеве с 1899 по 1902 г. Всего вышло 12 номеров.

8. "...в минувшие дни свободы". Имеется в виду подъем революции 1905 г., кульминацией которой стал "Манифест 17 октября".

ИЛЬИН Иван Александрович (1883-1954), русский религиозный философ, ученый-государствовед, публицист, эссеист. Закончил юридический факультет Московского университета, где учился у П.И.Новгородцева и Е.Н.Трубецкого, под влиянием которого увлекся философией. Формирование его философских взглядов происходило под влиянием Гуссерля, Когена, отчасти Липпса. Собственные философские взгляды Ильина могут быть отнесены к идеалистическому реализму. После защиты магистерского и одновременно докторского диплома "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека" был оставлен профессором Московского университета. После Октябрьской революции Ильин сознательно остается в стране и становится после Л.М.Лопатина председателем Московского психологического общества. В сентябре 1921 г. он был арестован и приговорен к смертной казни за "непризнание Советской власти", замененной высылкой вместе с другими русскими учеными и литераторами из страны. В Берлине, будучи профессором Русского научного института, много занимается публицистикой: участвует в парижских изданиях "Возрождения", "Русского инвалида", "Нового времени" и др., сам издает журнал "Русский колокол", в котором помещает много своих статей. В эмиграции выходит ряд его крупных философских работ: "Религиозный смысл философии" (1924), "О сопротивлении злу силою" (1925), "Путь духовного обновления" (1935), "Основы художества. О совершенном в искусстве" (1937). Ильин рано распознал воинствующий антигуманизм нацизма. Его позиция не осталась незамеченной, все его труды были арестованы гестапо, а ему была запрещена педагогическая деятельность и выступления в печати. В 1938 г. ему удалось эмигрировать в Швейцарию, где он и прожил всю оставшуюся жизнь. Последней его работой стала незавершенная книга "О монархии"

Статья "О русской интеллигенции" печатается по тексту журнала "Русский колокол" (1927. №2. С.1-11).

СТЕПУН Фёдор Августович (1884-1965), русский философ, историк и писатель, родился в семье директора большой писчебумажной фабрики в Калужской губернии. В продолжение семи лет изучал в Гейдельбергском университете философию, историю, политическую экономию, государственное право, историю искусств. В 1910 г. вернулся в Россию, принимал активное участие в русском издании журнала "Логос". Участвовал в первой мировой войне, был ранен. После 1917 г. по рекомендации А.В.Луначарского исполнял обязанности режиссера и заведующего репертуаром "Показательного театра Революции", но после постановки "Царя Эдипа" Софокла был снят с этой должности. В 1922 г. был выслан за пределы России и с этого времени до 1965 г. постоянно жил в

Мюнхене. Был одним из основателей и редактором журнала "Новый град". В 1937 г. был наложен запрет на печатные и устные выступления Степуна. С 1947 г. он заведовал созданной для него кафедрой истории русской культуры. В эмиграции им были опубликованы книги "Жизнь и творчество" (1923), "Основные проблемы театра" (1923), "Бывшее и несбывшееся" в 2-х томах (1956), "Встречи" (1962). Постоянно публиковался в "Современных записках", последнее время в "Новом журнале".

Статья "Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции" была впервые опубликована в 1959 г. в журнале "Мосты", №3; печатается по тексту этого журнала. С.171-188.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

АВБАКУМ Петрович (1620/1621-1682), протопоп. Основоположник и идеолог русского раскола. Автор произведений, в которых излагается доктрина раскольников: "Книга бесед", "Книга толкований", "Житие". Сожжен по царскому указу.

АВГУСТИН Блаженный Аврелий (354-430).

АВЕНАРИУС Рихард (1843-1896), швейцарский философ, один из основоположников эмпириокритицизма.

АКСАКОВ Иван Сергеевич (1823-1886), русский публицист, поэт, общественный деятель. Один из идеологов славянофильства. Редактировал славянофильские издания "Русская беседа", "День", "Москва", "Русь".

АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817-1860), русский публицист, историк, филолог, поэт, один из ведущих идеологов славянофильства.

АКСЕЛЬРОД Павел Борисович (1850-1928), русский политический деятель, социал-демократ, один из лидеров меньшевиков.

АЛАРИХ I (ок. 370-410), король вестготов (с 395 г.), захвативший и разграбивший Рим.

АЛЕКСАНДР I (1777-1825), российский император с 1801 г.

АЛЕКСАНДР II (1818-1881), российский император с 1855 г. Убит народовольцами.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ок. 1220-1263).

АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич (1849-1891), один из первых рабочих-революционеров. В романе "Мать" Горького использованы некоторые детали его биографии, в частности произнесенная им речь на суде.

АЛЕКСИНСКИЙ Григорий Алексеевич (1879-?), русский политический деятель, социал-демократ, примыкал к большевикам. Депутат II Государственной Думы.

АЛМАЗОВ Борис Николаевич (1827-1876), русский поэт, пародист, критик. Автор поэмы "Социалисты", направленной против революционных демократов.

АЛЬБА Альварес де Толедо Фернандо (1507-1582), герцог, испанский военачальник и государственный деятель. Вошел в историю как жестокий тиран.

АЛЬ-ГАЗАЛИ, Абу Хамид Мухаммед ибн Мухаммед (1058-1111), мусульманский философ и теолог. Оказал большое влияние на средневековую европейскую философию.

АЛЬТУЗИЙ Иоганн (1557-1638), немецкий юрист, теоретик права. Один из ранних представителей теории естественного права.

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871-1919), русский писатель-символист.

АННЕНКОВ Павел Васильевич (1812-1887), русский историк литературы, литературный критик, публицист. Известен также как автор "Парижских писем" и "Писем из-за границы".

АНТОНЕЛЛИ Джакомо (1806-1876), итальянский кардинал, с 1850 г. глава Государственного совета Папской области.

АНТОНИЙ (Храповицкий Алексей Павлович) (1864-1936), митрополит, идеолог "воинствующего монашества", церковный писатель консервативного толка.

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769-1834), граф, временщик-реакционер при Павле и Александре I.

АРИСТОТЕЛЬ (384-322 гг. до н.э.).

АРХИМЕД (ок. 287-212 гг. до н.э.).

АРЦЫБАШЕВ Михаил Петрович (1878-1927), русский писатель, имя героя его романа "Санин" стало символом проповеди аморализма.

БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон (1788-1824).

БАКУНИН Михаил Александрович (1814-1876), один из идеологов революционного народничества, теоретик анархизма.

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867-1942), русский поэт, один из ведущих представителей символизма.

БЕБЕЛЬ Август (1840-1913), один из основателей и руководителей германской социал-демократической партии и II Интернационала.

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811-1848).

БЕЛОХ Карл Юлиус (1854-1929), немецкий историк античности.

БЕЛЫЙ Андрей (псевд. Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934), русский писатель и теоретик художественного творчества, один из ведущих деятелей символизма.

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1783-1844), граф, русский государственный деятель эпохи Николая I, шеф жандармов и глава 3-го отделения.

БЕНТАМ Иеремия (1748-1832), английский философ, юрист, один из основоположников социологии, родоначальник утилитаризма.

БЕРГСОН Анри (1859-1941), французский философ-интуитивист.

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874-1948). См. наш комментарий к публикации его статей в книге.

БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770-1827).

БЁМЕ Якоб (1575-1624), немецкий мистический философ-пантеист. Оказал большое влияние на философию романтизма.

БЁРК Эдмунд (1729-1797), английский публицист и философ. Положил начало консерватизму как идейно-политическому течению.

БИРОН Эрнст Иоганн (1690-1772), регент империи в 1740 г.

БИСМАРК Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен (1815-1898), князь, с 1871 г. первый канцлер Германской империи, объединивший страну. Ввел Исключительный закон против социалистов.

БЛАН Луи (1811-1882), французский историк, утопический социалист, деятель революции 1848 г.

БОБОРЫКИН Петр Дмитриевич (1836-1921), русский писатель, сторонник натурального метода в литературе. Известен как писатель-хроникер русской жизни.

БОГДАНОВ (Малиновский) Александр Александрович (1873-1928), русский революционер, член РСДРП. Философ, экономист, врач-естествоиспытатель. Идеолог Пролеткульта.

БОГОЛЕПОВ Николай Павлович (1846-1901), министр просвещения России, реакционер. Смертельно ранен в результате теракта народовольцев.

БОКЛЬ Генри Томас (1821-1862), английский историк и социолог-позитивист.

БОНАРРОТИ (Микеланджело Буонарротти) (1475-1564).

БОНЁР Роза (1822-1899), французская художница.

БОРДЖА (Борджиа). В тексте имеется в виду Родриго Борджиа, ставший папой Александром VI (1492-1503).

БОТКИН Василий Петрович (1811-1869), русский писатель, критик, искусствовед, близкий к западничеству.

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871-1944), русский экономист, философ, богослов, общественный деятель, публицист, с 1918 г. - священник. Один из ведущих представителей русского религиозного ренессанса, совершивший эволюцию от марксизма к религиозному миросозерцанию. Соавтор "Вех", а затем сборника "Из глубины".

БУРБОНЫ - французская королевская династия.

БЮХЕР Карл (1847-1930), немецкий экономист, историк хозяйства и статистик, один из лидеров новой исторической школы в экономической науке.

БЮХНЕР Людвиг (1824-1899), немецкий врач, естествоиспытатель и философ, представитель социал-дарвинизма и ортодоксального ("вульгарного") материализма.

ВАГНЕР Рихард (1814-1883).

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ (Василий Кесарийский) (ок. 330-379), христианский религиозный деятель, теолог, представитель патристики.

ВЕБЕР Макс (1864-1920), немецкий социолог, историк культуры, экономист.

ВЕРДИ Джузеппе (1813-1901).

ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАН Филипп Огюст Матиас (1838-1889), французский граф, писатель, яростный противник и критик буржуазии.

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм (1848-1925), немецкий философ, один из лидеров баденской школы неокантианства.

ВИППЕР Роберт Юрьевич (1859-1954), русский историк.

ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849-1925), русский государственный деятель, финансист.

ВОРДСВОРТ (Уордсуорт) Уильям (1770-1850), английский поэт.

ВОЛЬТЕР Мари Франсуа Аруэ (1694-1778).

ВОЛЬФ Христиан (1679-1754), немецкий философ, представитель рационализма, последователь Лейбница.

ГАЛИЧ (Габрилович) Леонид Евгеньевич (1878-1953), журналист, сотрудник газеты "Речь" - центрального органа партии кадетов.

ГАМБЕТТА Леон Мишель (1838-1882), французский политический деятель, в годы Второй империи выдвинулся как один из лидеров левых республиканцев.

ГАРИБАЛЬДИ Джузеппе (1807-1882), итальянский революционер, лидер повстанцев, боровшихся за объединение Италии "снизу".

ГАРТМАН Эдуард фон (1842-1906), немецкий философ, разработал своеобразную философию бессознательного. В этике вслед за Шопенгауэром развивал концепцию пессимизма.

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831).

ГЕНРИХ IV (1553-1610), французский король с 1593 г.

ГЕРБАРТ (Хербарт) Иоганн Фридрих (1776-1841), немецкий философ, психолог и педагог.

ГЕРМАНИК (15 г. до н.э. - 19 г. н.э.), римский полководец.

ГЕРМОГЕН (не позже 1530-1612), русский церковный и политический деятель, патриарх в 1602-1612 гг.

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812-1870). См. наш комментарий к публикации писем Герцена в книге.

ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович (1869-1925), русский литературовед, историк культуры, публицист, общественный деятель. Со-

автор "Вех", видный специалист в области русской культуры.

ГЁТЕ Иоганн Вольфганг (1749-1832).

ГИДДИНГС Франклин Генри (1855-1931), американский социолог, представитель психологического эволюционизма.

ГОББС Томас (1588-1679), английский философ-материалист, основоположник теории "общественного договора".

ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809-1852).

ГОЛЬБАХ Поль Анри (1723-1789), французский философ, сотрудник "Энциклопедии".

ГОМЕР (между XII и VIII в. до н.э.).

ГОРЧАКОВ Александр Михайлович (1798-1883), князь, государственный канцлер, дипломат.

ГОРЬКИЙ Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868-1936).

ГРИГОРИЙ НАЗИАНЗИН (Григорий Богослов) (ок. 330 - ок. 390), христианский церковный деятель, теолог, представитель патристики, поэт.

ГУССЕРЛЬ Эдмунд (1859-1938), немецкий философ, основатель феноменологии.

ДАЛЬ Владимир Иванович (1801-1872), русский писатель, этнограф, лексикограф. Создатель "Толкового словаря живого великорусского языка".

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (1265-1321).

ДАРВИН Чарльз Роберт (1809-1882).

ДЕКАРТ Рене (1596-1650).

ДЖЕМС Джеймс Уильям (1842-1910), американский философ и психолог, один из основоположников прагматизма.

ДИДРО Дени (1713-1784).

ДИККЕНС Чарльз (1812-1870).

ДОДЕ Альфонс (1840-1897), французский писатель.

ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович (1821-1881).

ЕВЛОГИЙ (Василий Гергиевский) (1868-?), один из руководителей черносотенного Союза русского народа.

ЕКАТЕРИНА II (1729-1796), российская императрица с 1726 г.

ЕЛИЗАВЕТА Петровна (1709-1762), российская императрица с 1741 г.

ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1851-1881), революционер-народник, один из создателей и руководителей "Народной воли". Организатор покушения на Александра II. Казнен.

ЖИЛКИН Иван Васильевич (1874-1958), публицист, политический деятель.

ЖОРЕС Жан (1859-1914), французский социалист, один из ли-

дерев социализма во Франции и Европе.

ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (1849-1919), русская революционерка, видный деятель народнического, а затем социал-демократического движения, после раскола которого вошла в меньшевистскую фракцию. Октябрьскую революцию не приняла.

ЗЕНЬКОВСКИЙ Василий Васильевич (1881-1962), русский религиозный философ, профессор философии и богословия. Известен как историк русской философии. С 1919 г. в эмиграции, в 1942 г. принял священство.

ЗИММЕЛЬ Георг (1859-1918), немецкий философ, социолог, представитель философии жизни.

ЗОМБАРТ Вернер (1863-1941), немецкий историк и социолог, философ-неокантианец.

ИБСЕН Генрик (1828-1906).

ИВАН IV Васильевич (Грозный) (1530-1584), с 1533 г. великий князь, с 1547 г. первый русский царь.

ИВАНОВ Александр Андреевич (1806-1858), русский художник.

ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866-1949), русский поэт, философ и религиозный мыслитель. Представитель и теоретик символизма.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (Иванов Разумник Васильевич) (1878-1946). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ИЕРИНГ Рудольф фон (1818-1892), немецкий юрист, представитель прагматической правовой теории.

ИЗГОЕВ (Ланде Александр Соломонович) (1872-1935), журналист, политолог, один из авторов "Вех". Член партии кадетов.

ИЛЬИН Иван Александрович (1883-1954). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иван Санин) (1439/40-1515), церковный деятель, писатель и публицист, глава иосифлян. Канонизирован Русской Православной Церковью.

КАВЕЛИН Константин Дмитриевич (1818-1885), русский историк, правовед, социолог, либеральный общественный деятель. Представитель государственной школы в исторической науке.

КАВУР Камило Бензо (1810-1861), граф, политический деятель либерально-центристской ориентации. С 1852 г. глава итальянского правительства.

КАЛЯЕВ Иван Платонович (1877-1905), русский революционер, член "Боевой организации" эсеров. Совершил теракт против вел. князя Сергея Александровича. Казнен.

КАНТ Иммануил (1724-1804).

КАРАКОЗОВ Дмитрий Владимирович (1840-1866), член тай-

ного революционного общества, примыкавшего к "Земле и воле". Казнен за покушение (неудачное) на Александра II.

КАРАМЗИН Николай Михайлович (1766-1826).

КАРЯКИН Юрий Фёдорович, современный советский философ.

КАТИЛИНА Луций (ок. 108-62 до н.э.), римский политический деятель, глава заговора, раскрытого Цицероном.

КАТКОВ Михаил Никифорович (1818-1887), русский журналист и публицист. Влиятельный общественный деятель, консерватор. Издатель газеты "Московские ведомости" и журнала "Русский вестник".

КАУТСКИЙ Карл (1854-1938).

КЕРЕНСКИЙ Александр Фёдорович (1881-1970), политический деятель, эсер, глава Временного правительства.

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806-1856), русский философ и публицист. Наряду с Хомяковым основоположник славянофильства.

КИСТЯКОВСКИЙ Богдан Александрович (1869-1920). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (1851-1916), русский историк и социолог, академик Петербургской Академии наук.

КОГЕН Герман (1842-1918), немецкий философ, лидер марбургской школы неокантианства.

КОЗЛОВ Алексей Александрович (1831-1901), русский философ, представитель персонализма.

КОЛЬБЕР Жан Батист (1619-1683), французский государственный деятель эпохи Людовика XIV. Сыграл огромную роль в развитии французской промышленности и торговли.

КОНТ Огюст (1798-1857).

КОНФУЦИЙ (Кун-Цзы) (ок. 551-479 до н.э.), древнекитайский философ, учение которого (конфуцианство) оказало огромное влияние на жизнь китайского общества.

КОРНЕЛИУС Ганс (1863-1947), немецкий философ, представитель махизма в философии.

КОТОШИХИН Григорий Карпович (1630-1667), подъячий Посольского приказа, писатель. Один из первых русских диссидентов.

КОШЕЛЕВ Александр Иванович (1806-1883), русский общественный деятель и публицист, представитель славянофильства.

КРАУЗЕ Карл Кристиан Фридрих (1781-1832), немецкий философ, основатель пантеизма.

КРИЖАНИЧ Юрий (ок. 1618-1683), хорват. Сторонник идеи "славянского единства" на базе Московского государства.

КРОПОТКИН (Крапоткин) Петр Алексеевич (1842-1921), князь, русский революционер, теоретик анархизма. Ученый-географ, геолог.

КУРБСКИЙ Андрей Михайлович (1528-1583), князь, воевода. Опасаясь преследований со стороны Ивана IV, бежал в Литву. Известен по переписке с Иваном Грозным.

КЪЕРКЕГОР Сёрен (1813-1855), датский философ-иррационалист, писатель, теолог. Основоположник субъективной ("экзистенциальной") диалектики.

ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823-1900). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ЛАКОРДЕР Жан Батист Анри (1802-1861), французский католический проповедник.

ЛАНСИР (Лендсир) Эдвин Генри (1802-1873), английский художник-анималист.

ЛАО-ЦЗЫ, Ли Эр, легендарный древнекитайский мыслитель, автор одноименного трактата, положившего начало даосизму.

ЛАССАЛЬ Фердинанд (1825-1864), деятель немецкого рабочего движения, социал-реформист. Под влиянием его идей была составлена "Готская программа".

ЛАФАРГ Поль (1842-1911), французский социалист, последователь Маркса.

ЛЕВАССОР Пьер (1808-1870), французский комический актер.

ЛЕНИН Владимир Ильич (Ульянов) (1870-1924).

ЛЕОПАРДИ Джакомо (1798-1837), граф, итальянский поэт-романтик.

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814-1841).

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (1831-1891). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831-1895), русский писатель, которого принято относить к "почвенникам".

ЛИППС Теодор (1851-1914), немецкий философ и психолог, по своим взглядам близкий к школе Гуссерля. Разрабатывал концепцию "вчувствования".

ЛОЙОЛЛА Игнатий (1491(?)-1556), основатель ордена иезуитов.

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711-1765).

ЛОПАТИН Лев Михайлович (1855-1920), русский философ-персоналист, друг Вл.Соловьева, одна из самых ярких фигур русской университетской философии.

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович (1825-1888), государственный деятель России, сторонник буржуазных реформ и либера-

лизации общества.

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870-1965), русский философ, создатель оригинальной версии интуитивизма.

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875-1933), с 1917 г. нарком просвещения.

ЛУРЬЕ Семен Владимирович (гг. рождения и смерти неизвестны), русский публицист, печатался в журнале "Русская мысль".

ЛЮТЕР Мартин (1483-1546).

ЛЯПУНОВ Прокопий Петрович (ум. 1611), русский политический деятель эпохи Смутного времени.

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1869-1957), русский политический деятель, кадет.

МАКСИМ ГРЕК (Михаил Триволис) (ок. 1475-1556), церковный и общественный деятель, писатель, переводчик. Сыграл большую роль в распространении влияния греко-византийской православной культуры в России.

МАКИАВЕЛЛИ Никколо (1469-1527).

МАРКОВ (2-ой) Николай Евгеньевич (1866-?), один из лидеров крайне правых политических кругов, организатор "партии народного порядка".

МАРКС Карл (1818-1883).

МАРТОВ (Цедербаум) Юлий Осипович (1873-1923), видный деятель революционного движения в России, с 1900 г. член РСДРП, с 1903 г. - лидер меньшевистской фракции РСДРП, член редакции "Искры". В 1920 г. эмигрировал из России.

МАРТЫНОВ (Пиккер) Александр Самойлович (1865-1935). участник российского революционного движения, журналист, совершил эволюцию от народничества, через "экономизм" к меньшевизму.

МАТВЕЕВ Артамон Сергеевич (1625-1682), боярин, русский государственный деятель, дипломат. Был близок к царю Алексею Михайловичу, известен своей образованностью.

МАХ Эрнст (1838-1916), австрийский физик и философ, один из основоположников эмпириокритицизма (махизма).

МАЦЦИНИ (Мадзини) Джузеппе (1805-1872), лидер республиканско-демократического крыла итальянского национально-освободительного движения, глава правительства Римской республики 1849 г.

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893-1930).

МЕНДЕЛЬСОН Мозес (1729-1786), философ, представитель умеренного крыла немецкого Просвещения.

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866-1941). См. наш

комментарий к публикации его статьи в книге.

МЕСТР Жозеф Мари де (1753-1821), граф, французский религиозный философ-масон, представитель консерватизма. С 1802 по 1817 г. на дипломатической службе в Петербурге, где пользовался большим влиянием.

МЕТТЕРНИХ (Меттерних-Винебург) Клеменс (1773-1859), князь, австрийский государственный деятель и дипломат. Один из организаторов Священного союза.

МИЛЛЬ Джон Стюарт (1806-1873), английский философ, экономист, политический деятель, основатель английского позитивизма.

МИЛЬТОН Джон (1608-1674), английский поэт, политический деятель, мыслитель.

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859-1943).

МИНИН Кузьма (?-1616).

МИНСКИЙ (Виленкин) Николай Максимович (1855-1937), русский писатель, один из основателей русского символизма. Принимал активное участие в общественной жизни. После 1917 г. эмигрировал.

МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич (1855-1884), революционер-народник, один из организаторов "Земли и воли" и "Народной воли". Участник покушений на Александра II. Приговорен к вечной каторге. Умер в Петропавловской крепости.

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842-1904).

МОГИЛА Пётр Симеонович (1597-1647), митрополит киевский и галицкий. Деятель украинской культуры, основатель Киево-Могилянской академии.

МОЛЕШОТТ Якоб (1822-1893), немецкий физиолог и философ. Представитель крайнего материалистического мирозерцания.

МОНТЕСКЬЕ Шарль Луи (1689-1755).

МОРОЗОВ Николай Александрович (1854-1946), русский революционер-народник, член "Земли и воли". Участвовал в деятельности I Интернационала. Узник Шлиссельбургской крепости, освобожден в 1905 г. Почетный член АН СССР.

МЫШКИН Ипполит Николаевич (1848-1883), революционер-народник. Вел активную революционную работу. Расстрелян за протест против тюремного режима.

МЮНЦЕР Фома (Томас) (ок. 1490-1225), вождь и идеолог восставшего крестьянства и городских низов в период Реформации и Крестьянской войны в Германии.

НАДЕЖДИН Николай Иванович (1804-1856), русский журна-

лист, историк, этнограф. Издавал журнал "Телескоп". Находясь под влиянием философии Шеллинга, способствовал ее распространению в России.

НЕСМЕЛОВ Виктор Иванович (1863-1920), русский религиозный философ. Один из предшественников религиозного экзистенциализма, автор двухтомного сочинения "Наука о человеке".

НЕЧАЕВ Сергей Геннадиевич (1847-1882), русский революционер, организатор тайного общества "Народная расправа" крайне экстремистского толка. Автор "Катехизиса революционера".

НИЛ СОРСКИЙ (Майков Николай) (ок. 1433-1508), русский церковный и общественный деятель, глава нестяжателей. Канонизирован Русской Православной Церковью.

НИЦШЕ Фридрих (1844-1900).

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (1886-1924). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

НОВИКОВ Николай Иванович (1744-1818), русский просветитель, писатель-сатирик, издатель. Узник Шлиссельбургской крепости.

НЬЮТОН Исаак (1643-1727).

ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1853-1920), русский литературовед, языковед.

ОГАРЕВ Николай Платонович (1813-1877), русский революционер, друг и соратник Герцена.

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич (1823-1886).

ОУЭН Роберт (1771-1858).

ПАЛЬМЕРСТОН Генри Джон Темпл (1784-1865), английский государственный деятель.

ПУЛЬСЕН Фридрих (1846-1908), немецкий философ и педагог, близкий к учениям Шопенгауэра и Фехнера.

ПЕРОВСКАЯ Софья Львовна (1853-1881), видный деятель революционно-народнического движения, член Исполкома "Народной воли". Организатор и участница покушения на Александра II. Казнена.

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (1793-1826).

ПЕТРАШЕВСКИЙ (Буташевич-Петрашевский) **Михаил Васильевич** (1821-1866), русский революционер, утопический социалист. Петрашевский и члены его кружка приговорены к смертной казни, замененной каторгой.

ПЁТР I (1672-1725), царь с 1682 г., император с 1721 г.

ПИЛЬ Роберт (1788-1850), премьер-министр Великобритании, отменил непопулярные хлебные законы.

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840-1868).

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846-1904), с 1899 г. министр внутренних дел и шеф жандармов. Убит по приговору боевой организации партии эсеров.

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (Бельтов) (1856-1919).

ПЛУТАРХ (ок. 46 - ок. 127).

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827-1907), русский государственный деятель, крайний консерватор. Обер-прокурор Святейшего Синода. Имел большое влияние на Александра III и Николая II.

ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович (1578-1642).

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич (1796-1846), русский писатель, публицист и историк. Сторонник либерализма, издавал журнал "Московский телеграф".

ПОТЕМКИН Григорий Александрович (1739-1791), князь Таврический, генерал-фельдмаршал, государственный деятель, сподвижник Екатерины II.

ПОТРЕСОВ Александр Николаевич (1869-1934). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ПРУДОН Пьер Жозеф (1809-1865), французский социалист-реформист, сторонник мелкотоварного производства и безденежного товарообмена.

ПРУСТ Жозеф Луи (1754-1826), французский химик, установивший закон постоянства состава химических соединений.

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович (1870-1920), русский политический деятель ультраправого направления, один из наиболее ревностных представителей черносотенного движения.

ПУФЕНДОРФ Самуэль (1632-1604), представитель немецкого Просвещения XVII в. Один из крупнейших представителей школы естественного права.

ПУХТА Георг Фридрих (1798-1846), немецкий юрист, представитель исторической школы права.

ПУШКИН Александр Сергеевич (1799-1837).

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749-1802).

РАДЛОВ Эрнест Леопольдович (1854-1928), русский философ-идеалист, историк философии.

РАЗИН Степан Тимофеевич (ок. 1630-1671).

РАСПУТИН Григорий Ефимович (1872-1916), фаворит последней царской семьи. Убит монархистами.

РАФАЭЛЬ (Рафаэлло Санти) (1483-1520).

РЕМБРАНДТ Харменс ван Рейн (1606-1669).

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877-1957), русский писатель-авангардист.

РИЛЬ Алоиз (1844-1924), немецкий философ, представитель критического реализма.

РОБЕРТИ (Де Роберти де Кастро де ла Серда) Евгений Валентинович (1843-1915), русский социолог и философ, представитель позитивизма.

РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856-1919), русский мыслитель, один из основоположников религиозно-экзистенциального мирозерцания.

РУССО Жан-Жак (1712-1778).

РЯЗАНОВ (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938), участник революционного движения в России с 1889 г. Член РКП(б) с 1917 г. В 1921-1931 гг. - директор Института Маркса и Энгельса. В 1931 г. репрессирован.

САВИНКОВ Борис Викторович (1879-1925), видный деятель партии эсеров, один из руководителей ее "Боевой организации". Литератор, известный под псевдонимом Ропшин.

САВИНЬИ Фридрих Карл фон (1779-1861), немецкий юрист, глава исторической школы права.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (Салтыков) Михаил Евграфович (1826-1889).

САМАРИН Юрий Фёдорович (1819-1876), русский религиозный философ, историк. Один из основоположников славянофильства.

СЕН-ЖЮСТ Луи Антуан (1767-1794), деятель Великой Французской революции, один из самых крайних лидеров якобинской диктатуры.

СЕН-СИМОН Клод Анри де Рувруа (1760-1825).

СЕРАФИМ Саровский (1760-1833), святой, один из самых почитаемых в русском православии старцев.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Романов), великий князь, сын Александра II. Московский генерал-губернатор. Убит в результате теракта И.П.Каляева.

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич (1853-1902), министр внутренних дел и шеф жандармов. Убит по приговору боевой организации партии эсеров.

СИЭС (Сийес) Эммануэль Жозеф (1748-1836), аббат, деятель Великой Французской революции.

СКОВОРОДА Григорий Саввич (1722-1794), украинский странствующий философ-мистик, поэт, педагог.

СМИТ Адам (1723-1790).

СОКРАТ (ок. 469-399 гг. до н.э.).

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853-1900), русский фило-

соф, определивший своим творчеством лицо всей последующей русской философско-религиозной мысли.

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (род. 11 декабря 1918 г.), русский писатель.

СОРЕЛЬ Жорж (1847-1922), французский философ, теоретик анархо-синдикализма.

СОФОКЛ (496-406 гг. до н.э.).

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953).

СТЕПНЯК (Кравчинский) Сергей Михайлович (1851-1895), русский революционер-народник, писатель.

СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич (1862-1911), русский государственный деятель. Инициатор радикальных реформ в России, способствовавших ускорению ее развития по капиталистическому пути.

СТРУВЕ Пётр Бернгардович (1870-1944). См. наш комментарий к его статьям, публикуемым в книге.

СУХАНОВ (Гриммер) Николай Николаевич (1882-1940), революционный деятель, эсер, с 1917 г. социал-демократ (член ВЦИК, меньшевик). Оппонент В.И.Ленина.

ТАМЕРЛАН (ТИМУР) (1336-1405), эмир, великий завоеватель, объединивший под своей властью ряд царств Средней Азии.

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (1686-1750), русский государственный деятель, историк. Сыграл большую роль в становлении отечественной историографии.

ТВЕРИТИНОВ Дмитрий Евдокимович (1667 - ум. не ранее 1741), русский религиозный мыслитель начала XVIII в., проповедовал идеи, близкие Реформации.

ТИХОМИРОВ Лев Александрович (1852-1923), революционер-народник. Член "Земли и воли", "Народной воли". Позднее отошел от революционной деятельности и закончил свою жизнь монархистом.

ТКАЧЁВ Пётр Никитич (1844-1885), один из идеологов революционного народничества, сторонник заговорщических методов борьбы.

ТОКВИЛЬ Алексис (1805-1859), французский социолог, историк и политический деятель. Один из наиболее авторитетных представителей консервативной общественно-политической мысли.

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1910).

ТОМАЗИЙ Кристиан (1655-1728), немецкий юрист и философ-просветитель, сторонник школы естественного права.

ТРАЗИБУЛ, афинский полководец, освободивший в 411 г. до н.э. Афины от господства тирании олигархов.

ТРОЦКИЙ Лев Давидович (1879-1940). См. наш комментарий к его статье, опубликованной в книге.

ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич (1863-1920), князь, русский религиозный деятель и правовед. Брат С.Н.Трубецкого, друг Вл.Соловьёва и интерпретатор его учения.

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Николаевич (1862-1905), князь, русский религиозный философ, друг и ученик Вл.Соловьёва, автор оригинальной трактовки идеи всеединства. Первый выборный ректор Московского университета.

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович (1865-1919). См. наш комментарий к его статье, опубликованной в книге.

ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818-1883).

ТЮРГО Анн Робер Жак (1727-1781), французский государственный деятель, философ-просветитель, экономист школы физиократов.

ТЮТЧЕВ Фёдор Иванович (1803-1873).

УАЙЛЬД Оскар (1854-1900).

УСПЕНСКИЙ Глеб Иванович (1843-1902), русский писатель революционно-народнической ориентации.

ФЁДОРОВ Николай Фёдорович (1828-1903), русский мыслитель-утопист, развивал идеи антропокосмизма.

ФЕДОТОВ Георгий Петрович (1886-1951), русский религиозный философ, историк. В 1925 г. эмигрировал во Францию, затем в США. Там опубликованы основные его работы.

ФЕОДОСИЙ КОСОЙ (гг. рождения и смерти неизвестны), один из лидеров русского раскола XVI в. После 1553 г. бежал в Польшу, где также оказал большое влияние на формирование учения антитринитариев.

ФИЛАРЕТ (Дроздов Василий Михайлович) (1782-1867), видный русский церковный и общественный деятель. Участвовал в создании Манифеста 1861 г. об отмене крепостного права.

ФИХТЕ Иоганн Готлиб (1762-1814).

ФЛОБЕР Гюстав (1821-1880).

ФОНВИЗИН Денис Иванович (1744 или 1745-1792), русский писатель-просветитель.

ФРАНК Семён Людвигович (1877-1950). См. наш комментарий к публикации его статьи в книге.

ФРАНКЛИН Бенджамин (1706-1790), американский просветитель, государственный деятель, ученый. Один из авторов Декларации независимости США и Конституции 1787 г.

ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (Джованни Бернардоне) (1181 или 1182-1226), католический религиозный деятель, основатель ордена

францисканцев. Канонизирован Римской католической церковью.

ФРИЗ Якоб Фридрих (1773-1843), немецкий философ, сторонник психологического антропологизма.

ФРИЧЕ Владимир Максимович (1870-1929), советский государственный деятель, член РКП(б). Литературовед, искусствовед, деятель культуры. Позднее его работы были оценены как "вульгарный социологизм".

ХАЛТУРИН Степан Николаевич (1856/57-1882), один из первых рабочих-революционеров. Организатор "Северного союза русских рабочих". Член Исполкома "Народной воли". Участвовал в покушении на Александра II. За участие в убийстве одесского военного прокурора повешен.

ХВОРОСТИНИН Иван Андреевич (г. рожд. неизвестен - 1625), русский политический деятель и писатель. Фаворит Лжедмитрия I. Оставил после себя сочинения с характеристикой Б.Годунова, Лжедмитрия, В.Шуйского и др.

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1804-1860), русский религиозный философ, поэт. Основатель славянофильства.

ЧААДАЕВ Пётр Яковлевич (1794-1856).

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873-1952), русский революционер, один из организаторов партии эсеров, член ее ЦК.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828-1889).

ЧЕХОВ Антон Павлович (1860-1904).

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828-1904), русский юрист, философ права, публицист, общественный деятель. Основоположник "государственной школы" русской историографии. Один из основоположников русского либерализма.

ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич) (1882-1969).

ШАЛЯПИН Фёдор Иванович (1873-1938).

ШАТОБРИАН Франсуа Рене (1768-1848), французский писатель. Один из основных представителей консервативного романтизма.

ШЕКСПИР Уильям (1565-1616).

ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич (1824-1891), русский революционер, публицист, литературный критик.

ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854).

ШЛЕЙЕРМАХЕР Фридрих (1768-1834), немецкий протестантский философ и теолог, один из основоположников герменевтики.

ШОПЕНГАУЭР Артур (1788-1860).

ШПЕТ Густав Густавович (1879-1940), русский философ-идеалист, представитель феноменологии. Историк русской философии.

ШТИРНЕР Макс (Каспар Шмидт) (1806-1856), немецкий философ-младогегельянец. Своей книгой "Единственный и его собственность" заложил философские основы анархизма.

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878-1976), русский политический деятель правого направления, один из лидеров националистов, публицист.

ЭНГЕЛЬГАРДТ Александр Николаевич (1832-1893), русский агроном и публицист. Член "Земли и воли". Находясь в ссылке, написал известные "Письма из деревни".

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820-1895).

ЭРН Владимир Францевич (1882-1917), русский религиозный философ неославянской ориентации.

ЭРТЕЛЬ Александр Иванович (1855-1908), русский писатель, близкий народовольцам.

ЮРКЕВИЧ Памфил Данилович (1826-1874), русский философ и педагог. Учитель Вл.Соловьева. Создатель оригинальной версии христианского платонизма.

ЯКОВЕНКО Борис Валентинович (1884-1948), русский философ-эмигрант, представитель "трансцендентального онтологизма". Автор нескольких книг по истории русской философии.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Русские источники современной социальной философии	3
ГЕРЦЕН А.И. Концы и начала.....	26
ЛАВРОВ П.Л. Исторические письма.....	45
ЛЕОНТЬЕВ К.Н. Как надо понимать сближение с народом?.....	61
ИВАНОВ-РАЗУМНИК. Что такое интеллигенция?	73
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д.С. Грядущий хам.....	81
ТРОЦКИЙ Л.Д. Об интеллигенции.....	105
БЕРДЯЕВ Н.А. Бунт и покорность в психологии масс.....	117
БЕРДЯЕВ Н.А. Философская истина и интеллигентская правда	125
КИСТЯКОВСКИЙ Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание).....	141
ФРАНК С.Л. Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции).....	164
СТРУВЕ П.Б. Интеллигенция и революция.....	190
СТРУВЕ П.Б. Интеллигенция и народное хозяйство	204
ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ М.И. Интеллигенция и социализм.....	209
НОВГОРОДЦЕВ П.И. О путях и задачах русской интеллигенции	225
ПОТРЕСОВ А.Н. О кружковом марксизме и об интеллигентской социал-демократии	241
ИЛЬИН И.А. О русской интеллигенции.....	275
БЕРДЯЕВ Н.А. Кризис интеллекта и миссия интеллигенции	281
СТЕПУН Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции.....	286
Примечания	303
Именной указатель.....	319

Научное издание

Интеллигенция. Власть. Народ

АНТОЛОГИЯ

Утверждено к печати Институтом философии РАН

ИФ "Наука – философия, право, социология и психология"

Руководитель фирмы М.М. Беляев.

Редактор Л.Ф. Пирожкова. Художник Т.В. Болотина. Художественный редактор

В.Ю. Яковлев. Оператор Е.Н. Платковская

ИБ № 206

Подписано к печати 24.05.93.

Формат 60 × 90 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр. отт. 21,3.

Уч.-изд. л. 24,9. Тираж 6000 экз. Тип. зак. 3 3 6 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Наука"

117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Компьютерный набор и изготовление оригинала-макета

осуществлены в Институте философии РАН

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»

199034, Санкт-Петербург, В-34, 9 линия, 12



Интелекція. Власть. Народ.

